

РУССКОЕ  
ЗАРУБЕЖЬЕ

Дмитрий САВИЦКИЙ



РУССКОЕ ЗАРУБЕЖЬЕ

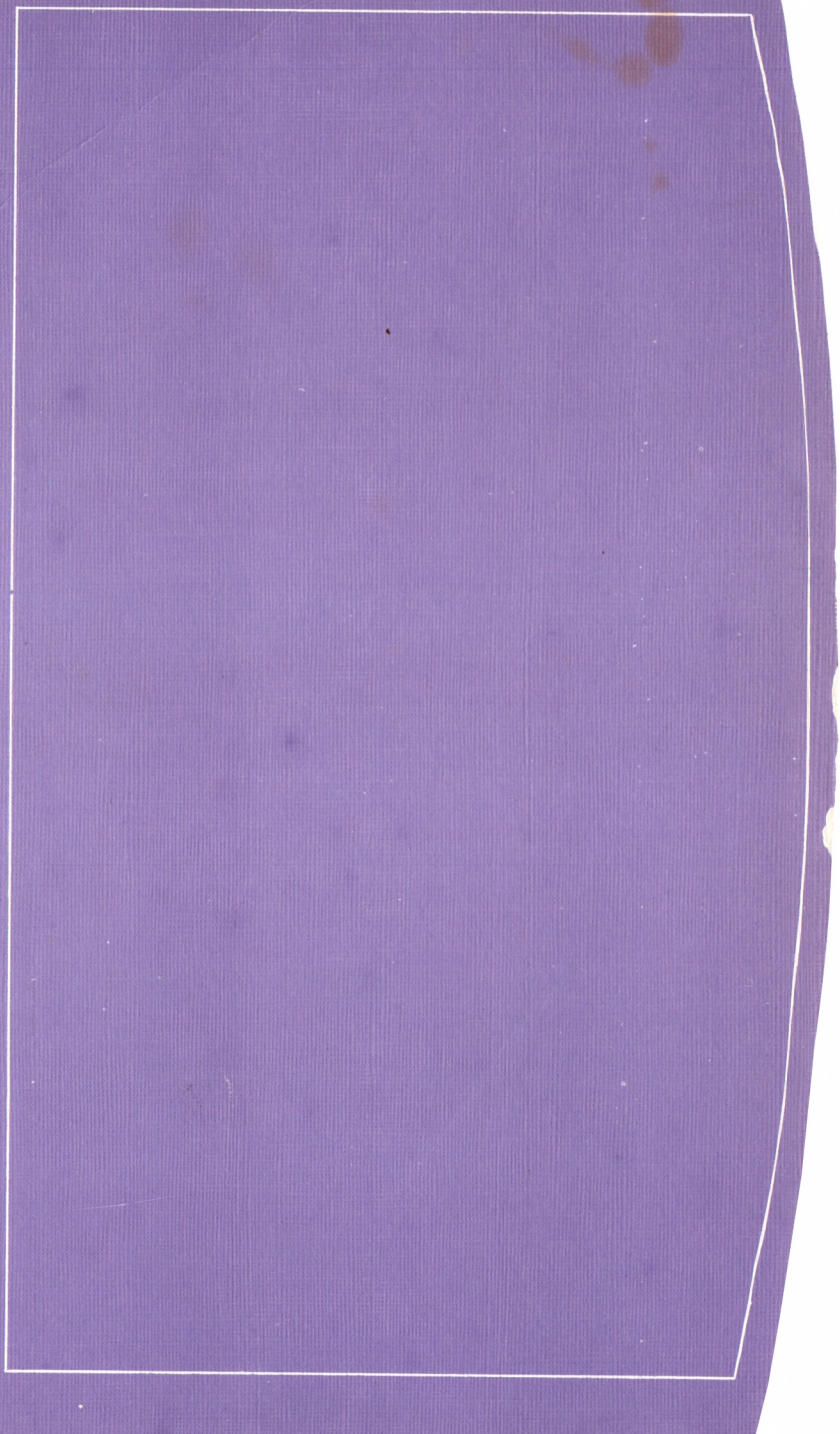
Дмитрий  
САВИЦКИЙ

НИОТКУДА С ЛЮБОВЬЮ  
ВАЛЬС ДЛЯ К.  
РАССКАЗЫ  
СТИХИ

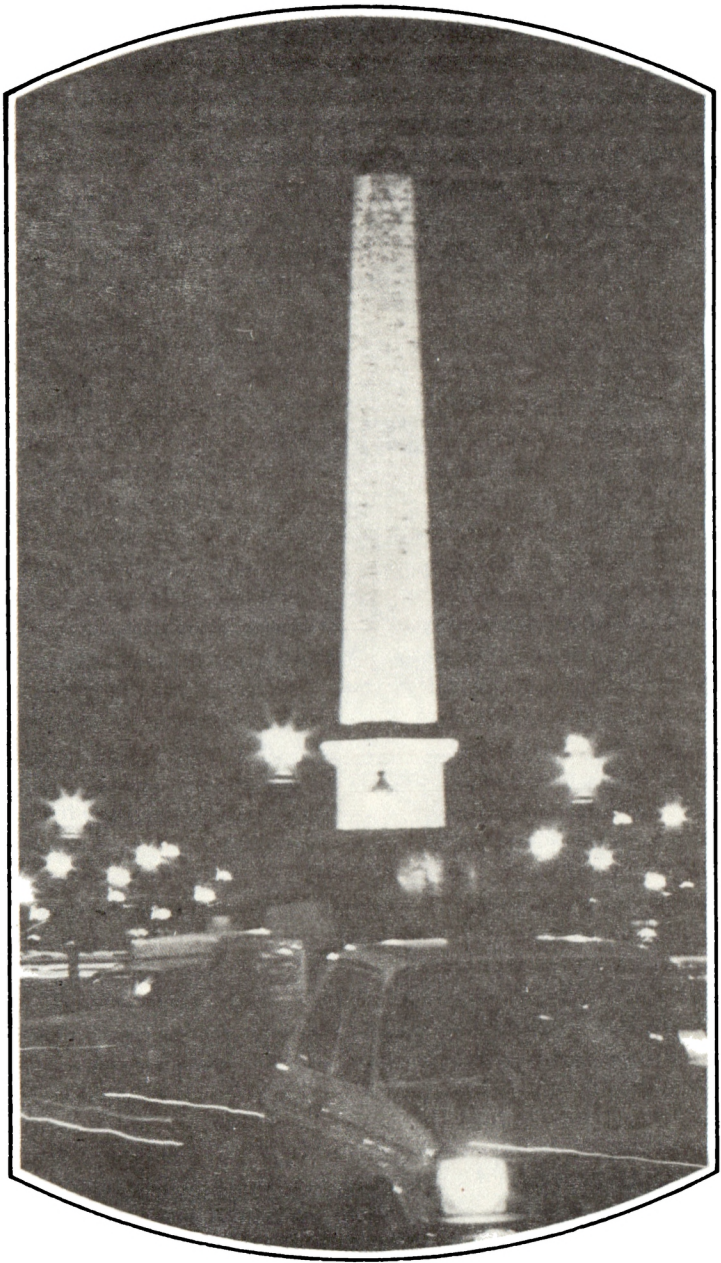
РУССКОЕ ЗАРУБЕЖЬЕ



РУССКОЕ ЗАРУБЕЖЬЕ



**РУССКОЕ  
ЗАРУБЕЖЬЕ**



**РУССКОЕ ЗАРУБЕЖЬЕ**

Дмитрий  
**САВИЦКИЙ**

**НИОТКУДА С ЛЮБОВЬЮ  
ВАЛЬС ДЛЯ К.  
РАССКАЗЫ  
СТИХИ**



МОСКВА  
«РАДУГА»  
1990

ББК 4.Фр  
С 13

Редактор Н. МАТЯШ

**Савицкий, Дмитрий**

С 13 Ниоткуда с любовью. Сборник. Серия «Русское зарубежье». — М.: Радуга, 1990. — 415 с.

Нелегкий путь к самому себе, поиски внутренней свободы и независимости, сложность человеческих взаимоотношений — основные темы произведений русского писателя, живущего во Франции, художественный почерк которого отличают яркая самобытная образность и тонкое чувство слова.

Сборник, в который включены произведения разных лет и разных жанров, впервые представляет широкому читателю этого интересного автора.

С 4702010000-595 КБ-08-44-90  
030(01)-90

© Дмитрий Савицкий

ISBN 5-05-002710-1

*При оформлении книги использованы фотографии Д. Савицкого*

## ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА

Судьбы русской литературы в XX веке складывались непросто, подчас трагично, и мы только начинаем постепенно осознавать, сколько нравственных и художественных потерь за нашей спиной, только сейчас, с запозданием на целые десятилетия, возвращаем себе достояние, от которого так долго отказывались. Нет нужды перечислять вернувшиеся к нам сегодня имена — они, без сомнения, знакомы всем по многочисленным журнальным публикациям. Благодаря им мы можем говорить теперь о русской литературе XX века как едином целом, представить ее себе во всей полноте и разнообразии, за главное полагая не то, где жил писатель, а его внутреннюю глубинную связь с отечественной литературной традицией.

До сих пор шло открытие в основном старшего поколения, но на Западе сегодня живет и работает немало сорокалетних писателей, книги которых для нас пока по большей части неизвестны. Это интересный и своеобразный пласт современной русской литературы, продолжающей развивать лучшие традиции национальной культуры. Каждый из этих писателей шел своим путем; нередко они акцентировались на стилистических поисках, далеко не со всеми оценками и выводами мы можем согласиться, но книги их — неотъемлемая часть нашего духовного богатства и вполне заслуживают того, чтобы быть изданными на родине авторов, равно как и советский читатель заслуживает право самостоятельно судить о них.

Именно поэтому издательство «Радуга» начинает публиковать серию «Русское зарубежье», куда войдут произведения писателей так называемой «третьей волны». Открываем мы ее сборником Дмитрия Савицкого.

## ОТ АВТОРА

Когда-то, в той жизни, от хода нынешней крепко отгороженной зеркальной, но пуленепробиваемой стеною — то ли берлинской, то ли кремлевской, то ли китайской кладки,— ранним серо-розовым утром на берегу Эвксинского Понта (переведенного, естественно, на французский в моей книге как Эвксинский Мост) наблюдал я нравоучительную сцену. Невидимая глазу небесная сакура, корявым стволом уходящая в чернозем ночи, отряхнула высоко над морем свой цвет, и на береговую линию, на грязно-лиловые складки пепельных киловых холмов, на асфальт променада, крыши прибрежных дач, а главное — в ленивые, кровью восхода напитанные волны моря посыпались розовые лепестки. Падая на грубую гальку пляжа, усыпая морскую даль вплоть до дальних буйков, розовые лепестки теряли свой трепетный одолженный цвет и превращались в лимонной окраски, из набоковских запасников вывалившихся бабочек. В течение трех минут пляж и море были покрыты этим трепещущим на суше и замирающим в волнах сухим снегом. Десант этот — эта перелетная туча — по звездам, при огарке луны, проделал путь через море, из Турции, а до этого, быть может, из Северной Африки, чтобы невесомо рухнуть на коктейльский пляж и на три четверти погибнуть.

Эта сцена со свистом реактивного истребителя вернулась ко мне однажды зимним днем на американском берегу Атлантики. С океана шли шеренгами хокусаевские<sup>1</sup> воины и гибли, разбиваясь о деревянные сваи

---

<sup>1</sup> Хокусай, Кацусика (1760—1849) — японский живописец и рисовальщик, мастер цветной ксилографии.— *Здесь и далее примечания автора.*



широкого прогулочного настила. Кони-Айленд издали бахвалился своей железной арифметикой: нулями чертовых колес, опрокинутыми тройками русских гор, решетчатыми единицами то ли парашютных вышек, то ли виселиц. Одесский пенсионер, закутанный в ватное моссельпромовское пальто, с заячьей шапкой на оттопыренных пунцовых ушах, небритый и овеванный сигаретным дымком, лежал, пуская слезу, в шезлонге. Свист реактивного посланца из прошлого оборвался отрывкой взрыва, и круглая, как из прошлого века, черная бомба, мягко подскочив на досках брайтоновского променада, разорвалась радужной сценой коктейбельского утреника. Взрывная волна того воспоминания контузила меня надолго, и время от времени я с содроганием разглядываю, как облезшие струпья рыбной лавки на углу улицы Дня и Монмартра вдруг превращаются в гирлянды мокрых, вздрагивающих лимонниц.

Я вижу их в жизни, в ином облачении, мучнисто-грузных на том же Брайтон-Бич — все еще по-харьковски или же по-ростовски одетых, розовощеких от океанского ветра переселенцев. И они рухнули на это дугою выгнутое побережье Америки, лишь заведя после толстой наморщенной океанской кожи первый кряж суши. Встречал я их и там, где свобода омывается несвободой, в Вене, все еще тяжело дышащих, с воспаленными глазами и одышливыми рассказами. Долетевшие до Парижа, до Копенгагена или Осло чувствуют себя, быть может, чуть лучше, но, что ни говори, крылья их потрепаны и местами просвечивают. Одним повезло с ветром, другие в беспамятстве рухнули на крышу проезжавшего сельской дорогой школьного автобуса. Причуды воздушных путей занесли и бросили одиночек с небесных высот в крупным планом вдруг надвигающиеся сонные деревни, в заросшие пыльной сиренью и сплетнями города, в горные поселения, вдруг оборачивающиеся дюжиной, круговой порукой звездных миллионов сбитых вместе вилл, наспигованных до крыш электроникой и антиквариатом.

Короче, на Брайтон-Бич, разглядывая разряженный, протянутый мне полицейским тридцать восьмого калибра «Смит-и-Вессон», я понял, что *отныне пишу для унесенных ветром*. Дабы убрать застывшего было Атлантику копа<sup>1</sup>, замечу, что мы изучали на пару фауну прибрежных ресторанов...

Вспоминается мне и продолжение коктебельского сна — тот же день, но уже с подтеками заката и легким восточным ветром — низовкой, как его называют местные рыбаки. Пока слух пытается справиться с искореженной музыкальной фразой, настойчиво повторяемой невидимым тапером, зрение упирается в воистину гофмановского кота из писательской столовки. Отъевшийся на котлетах по-пушкински, зверюга лениво играет с полураздавленными тварями: он то подносит к детскому своему ротуку с прикушенным языком трепещущее крыло, то брезгливо отдувается, стараясь избавиться от приставшего к лапе элерона. Местная публика, несмотря на жару, в воду не входит — потемневшие лепестки крыльев образуют сплошную ряску. И лишь безногий инвалид, заплыв метров на пятнадцать, качается на волнах отрубленной головою вождя — сходство, особенно в лучах низкого солнца, разительное.

Зачем они оставили берег Африки? Розовые дюны и слоистые, как американские ликерные коктейли, закаты? Что подняло их в воздух — ветер какой надежды или тревоги? Я не любитель массовых выступлений, забегов, заплывов, перелетов. И все же, я пытаюсь понять их общее утомление... И тогда, завидев финиш, эту зазубренную бухтами утреннюю землю, — стоило ли рушиться вниз в восторге изнеможения? Ведь до Библейской долины оставалось не больше тысячи взмахов крыльев...

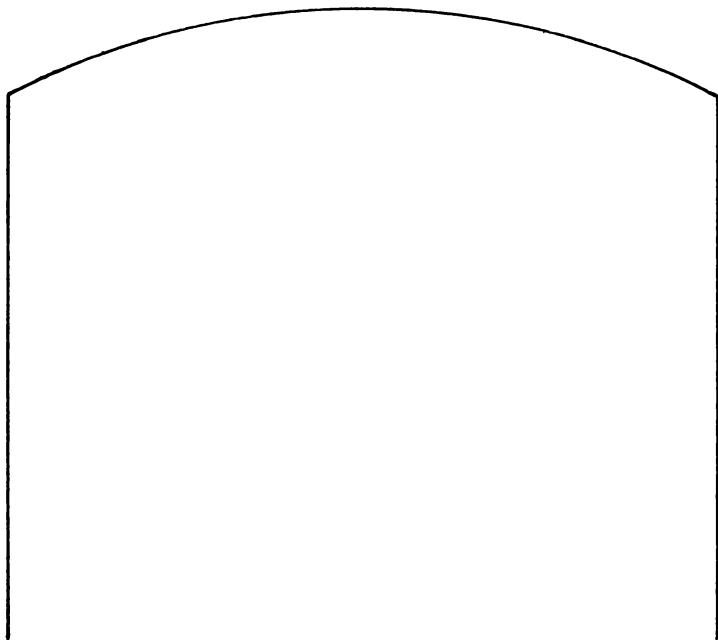
---

<sup>1</sup> От англ. cop (разг.) — полицейский.

**РУССКОЕ  
ЗАРУБЕЖЬЕ**

# Никоткуда с любовью

РОМАН



*Что нас толкает в путь? Тех — ненависть к отчизне,  
Тех — скука очага, еще иных — в тени  
Цирцеиных ресниц оставивших полжизни —  
Надежда отстоять оставшиеся дни.*

.....

*О, ужас! Мы шарам катящимся подобны...*

*Шарль Бодлер. Плаванье<sup>1</sup>*

---

<sup>1</sup> Перевод М. Цветаевой.

## Ольге

*«Единственным его приобретением за последние месяцы была устойчивая бессонница. Серый остов собора в окне поджигал закат. Розовое, шутя, в полчаса менялось с голубым. Разгорались костры ночных ресторанчиков. Борис одевался, хлопал по карманам, проверяя ключи, нащупывая в пистоне джинсов облатку лекарства — в последнее время шалило, не в ту сторону стуча, сердце, — гасил свет, отчего исчезнувший было собор наезжал, сшибая плечом стайку звезд на окна, прихватывал под горло перевязанный пакет с мусором и выходил пройтись перед сном.*

*Пакет он оставлял у ворот, в обществе таких же угрюмых удавленников. Стук ножей и вилок сопровождал его, пока он огибал развороченную стройкой дыру Чрева. Столики ресторанов доживали последние недели под открытым небом. Он пересекал скучную прямую Риволи и спускался к реке. Пахло гнилью, бензином, из иллюминатора яхты тянуло подгорающим маслом, накрапывал Шопен. Пробегала, бесшумно суча ногами, тень породистой собаки. Совсем близко в мутных волнах проплывала длинная баржа. На корме шептались огни двух сигарет. Ночь внятно дышала, кто-то невидимый то ли стонал, то ли смеялся на каменной скамейке, и однажды из-под моста на него выпрыгнул худощавый подросток с ножом в руке. Удивляясь себе, Борис нож легко отнял и бросил в воду. Секунду он стоял в замешательстве, не зная, что теперь делать: ударить или уйти. Но парень сам втянулся назад во тьму моста, и та*

сожрала его без остатка, а Борис по крутой лестнице, со всхлипывающим сердцем, вскарабкался наверх и, уже перейдя Сену, сообразил, что парень шутил, требуя жизнь или сигарету.

Он пил пиво на шумной веранде в разноязыком гомоне. Появлялся горластый толстяк, обвязывался цепями, щелкал замками, страшно хохотал дырою рта. Цепи с бутфорским грохотом спадали. Вертялый красавчик со смоляной матадорской косичкой и шрамом через всю щеку, хлопая в ладоши, освобождался от грязно-белой рубахи. Подергав отросток ремня, он благоразумно оставался при кожаных джинсах и долго, стоя на коленях, пил вздорожавший бензин. Борис видел фальшивую работу его звериного кадьяка, хихикала пьяная простушка, скользил наклонно, наплевав на закон притяжения, официант с круглым подносом над головой, язык рыжего пламени взвивался к зеленому небу, высвечивая черепа булыжников, трупы окурков и шляпу пожирателя огня с чешуей монет на истлевшей подкладке.

Первое время после Москвы Бориса забавлял этот уличный театр: циркачи, шарлатаны, музыканты. Но, решив не возвращаться в Союз, сразу потяжелев, он провалился уже серьезно в новый мир и остыл к чудесам улицы. Официально он гостил у родственников — седьмая вода на киселе, выездная виза была лотерейным выигрышем, везением, чьей-то ошибкой — и сохранял советский паспорт. На самом же деле он попросил политубежища, ждал ответа и жил в пустующей комнатухе нового приятеля, владельца русского ресторана «Тысяча вторая ночь». Впрочем, все было новым, с иглолочки, и кололось немилосердно. Курчавая бестия, делившая с ним летом все, что делилось на два, вечно подкуренная, вечно с фотокамерой, выстригающей из будней золотые прядки, исчезла с долговязым флейтистом в юго-западном направлении. Вестей от нее, кроме ночных, утром недействительных, не было.

От нее остался пакет снимков: размытая движением толпа в берегах солнечной улицы, женские, грехом обугленные, тела с обидными, все разрушающими деталями и отличный портрет нефритого молодого человека с чересчур живыми туберкулезными глазами — это и был флейтист.

*В ванной Борис нашел выгоревшие красные трусики и грустный тампон, так никогда и не использованный по назначению.*



*Он расплачивался, мучительно стараясь правильно сосчитать до сих пор непривычные деньги, и со все нарастающей ненавистью к жаркой подушке, ускользающим простыням, к этой верной, поджидающей его бессоннице брел напрямик через два моста домой.*

*Часть ночи он лежал в некрепком тумане полусновидений: усталость тянула на дно, но уступчивое прежде лоно сна обладало теперь упругой сопротивляемостью. Он тратил последнее терпение, уговаривал себя, елозя, зарываясь с головой под подушку, и наконец скользил по наклонной в рваную мглу, все с большей скоростью, все сильнее теряя себя дневного, растворяясь, счастливо наполняясь собственным отсутствием, как вдруг, в бледнеющей тьме, совершенно трезво открывал глаза.*

*По ночам его слух обретал географию. Где-то у Коммерческой биржи зарождался скачущий сжатый звук. Чем ближе он был, тем сильнее разрастался, пока не заполнял всю ночь клокочущим ревом. Дрожали стекла в окнах, мотоцикл сворачивал в конце улицы и исчезал около почтамта. С домашним перестуком в улочку вкатывалась тележка, несколько раз за ночь свершавшая короткий маршрут из пекарни к бессонным ресторанам. Медленно, со стрекозиным трепетом, проползало под окнами такси. Обязательное пьяное пение, не способное взяться за руки, спотыкающимися мужскими голосами проходило от угла до угла. Пели по-немецки. Одиночки по-французски. Исключений не было.*

*Борис вставал и, несмотря на влажную духоту, закрывал окно. Пил воду, ложился опять. Зажигался огонек комара. Пикировал, делал развороты, шел на снижение, щекотал где-то у щеки. Нужно было выждать, дать ему приземлиться и, когда от наглого покалывания становилось невтерпеж, прихлопнуть. Парижская ночь аккуратно поставляла ему одного, от силы двух кровопийц.*

*Под утро он все же рушился в розоватое болото сна. Но пленка, отделявшая его от мира, была так тонка, что он чувствовал все подробности законной жизни, всю пульсацию дома. Соседи сверху возвращались в пять. Она, однажды виденная на лестнице вислозадая блондинка, журчала в ванной прямо над головой. Затем, после плохо скоординированных звуков, перебиралась к окну, где, судя по всему, стояла старая, разбитая кровать. Муж ее реализовывался в покашливании и в однообразном напористом раскачивании матраса. Она фальшиво постанывала, ни разу не сбившись хотя бы на крошечное крещендо. Кровать умирала, над головой опять плескалась вода, а снизу с улицы уже раздавались тупые удары тесаков, взвизгивание ножей, шмяканье туш на деревянные выскобленные столы. Ночные разделщики мяса, мягко бранясь, танцевали в черных резиновых сапогах, в тяжелых искровавленных фартуках на усыпанном опилками полу. Как-то на рассвете Борис спустился выпить пива: в оцинкованные короба были навалены сердца и почки, розовая пена стекала на мостовую, а чуть подальше, ближе к собору, банда детей с засученными рукавами потрошила огромных серебряных рыбин, с хрустом извлекая перламутровые жабры, перекладывая тяжелые ломти траурной хвоей папоротника. Водосточная решетка была забита глупо погибшими тошнотворно-розовыми криветками.*



*Ровно в восемь, когда сон, сжалившись, подсовывал плохо отснятый фильмик из детства: обморок дачной аллеи в Салтыковке, очки велосипеда в дровяном сарае и все куда-то идущую в лиловом летящем платье мать, — ровно в восемь с двух сторон ударили отбойные молотки, все тряслось, как у дантиста: шел ремонт соседних домов. Веселый этот ад разрастался, на улицу врывалась помоечная машина и с танковым скрежетом что-то пожирала, урча и отплезываясь.*

*Он еще проваливался урывками на пять минут, на полчаса — время совсем перепутывалось, — и, когда наконец*



оставлял измученную постель, было около одиннадцати; в индийском магазинчике внизу тренькал колокольчик, он распахивал окно — красная пожарная машина задом пяттилась в гараж, золотошлемные бойцы, запутавшись в кольцах чудовищно напрягшегося шланга, изображали Лаокоона, кричал, задрав голову, никуда не глядя, стекольщик, и Борис шел в ванную и, охая, залезал под ледяной душ.

После кофе он оживал, но ненадолго. Бессмысленно перебирал бумаги на столе, перепечатывал что-нибудь позавчерашнее, мимоходом правил, выкидывая эпитеты и утяжеляя глаголы: чтобы продвинуться в тексте, нужен был разгон, разогрев. Наконец что-то сдвигалось, и он исписывал ворох страниц крупным скачущим почерком, уговаривая себя не раздражаться и не обращать внимания ни на сирену пожарников, ни на грохот рушащихся перекрытий в соседнем доме. Он старался не перечитывать написанное, но за очередной чашкой кофе, не выдержав, сначала урывками, а потом по порядку прочитывал, морщился, сникал, собирался сесть и перепечатать, исправив неровности, и вдруг все бросал на завтра, мрачнел и думал о кружке холодного пива.

Несколько раз этой осенью он вдруг засыпал посреди дня как был, одетым, и это смахивало на короткий оглушительный обморок. Тогда, вынырнув обратно, взмокнувший, со слипшимися волосами, он необычно оживал, бросался звонить по совершенно ненужным номерам, прибивал квартиру, стирал, делал неожиданные заметки, отправлял целую голубятню писем.



Так или иначе, к октябрю задуманное эссе было окончено, переписано дважды, переведено невесть откуда взявшейся студенткой и отдано в журнал. Зарядили дожди. В их характере было желание взять на измот. Мир слинял до однообразного серого марева. Стены собора промокли и почернели. Жалкие исхудавшие голуби жались по карнизам. Камин дымил. Денег на дрова не было, и теперь, по вечерам,

он отправлялся на охоту за топливом. Весело и быстро прогорали ящики из-под апельсинов. Вспыхивали грудастые красавицы. Тлели караваны дромадеров. Если везло, притаскивал чурку с соседней стройки. Тогда огонь занимался не на шутку, и под унылый шепот дождя он читал, лежа на полу у камина, книгу за книгой, запретное дома, в России, чтиво. Вместе с дождями вернулся и сон. Теперь он спал по восемь-десять часов, погружаясь так глубоко, что, просыпаясь, приходилось всплывать сквозь целые пласты, слоистые этажи сна.

Кончались последние одолженные родственниками деньги. Дожди унесло ветром, один за другим распахивались свежие голубые дни. Утром вызолоченного до мелочей, до дверных ручек, до пуговиц продавца газет дня маленькая переводчица принесла журнал с напечатанной статьей. «Мост назад,— читал он, положив русский текст рядом и угадывая французские слова,— строится в крошечной тьме; сорвавшихся вниз не хоронят. Но культура современной России не может быть восстановлена иным путем. Без осознания своего исторического и культурного прошлого невозможно шагнуть в настоящее. Революция уничтожила в первую очередь именно носителей исторической памяти, создателей культурной традиции. Она кричала о строительстве с нуля, о взлетной площадке в будущее и, расчистив бульдозерами страну от гор трупов, создала пустыню духа... Эмиграция не поиск удобства, не побег в нормальное, несуществующее, общество. Для новых русских это попытка второй жизни. Неофициальная культура сантиметр за сантиметром все же реконструирует прошлое. Мост висит уже над бездной, но его строят русские и с той, и с этой стороны. Будет ли когда-нибудь уложен последний пролет? Обнимутся ли люди над пропастью преодоленной исторической лжи? Не знаю. Может быть, если новый взрыв не разнесет в щепки кропотливый труд последних десятилетий... Эмигрировать — все равно что совершить самоубийство с расчетом на скорую помощь. Гораздо надежнее, когда тебя просто выкидывают из здания светлого будущего: звон разбитого стекла и вопли означают заодно и ожидающую внизу бригаду врачей. Но в обоих случаях жизнь со сломанной спиной — это прижизненное распятие. Скрепки

*в позвоночнике держат не спину, а развалившийся мир. Новое самосознание начинается все так же — с боли...*



*Журнал был из новых, читаемых, странных. За успехом маячила обреченность: люди были слева, деньги справа. На фотографии Борис был похож на младшего брата — та же кривая ухмылка, прищуренный глаз. Но вывеска парижской булочной на заднем плане рокировку исключала.*

*Ожил телефон. Звонили соседи по прошлой жизни. О существовании одних на новом берегу он и не догадывался, о других и вовсе забыл. Мыча что-то в трубку, выгадывая время, мучительно роясь в захлавленном углу памяти, среди миниатюрных пирушек и трамвайных встреч, он вытягивал за хвост спотыкающийся заснеженный переулок на Старом Арбате, кривой особнячок — запах мастики, оттаивающие на вешалке шубы, священнодействующий наверху рояль — все это существовало, а вот супруги Маклаковы, в два голоса протискивающиеся в трубку, никак не воплощались. «А помните, Борис Дмитриевич,— (он и отчество не запомнил!),— вы еще обронили шарф и я возвращался?..» Приходилось соглашаться, договариваться о встрече, записывать русскими буквами плохо звучащий французский адрес — ничего, потом найду по плану — и накануне звонить, ссылаясь на дядю из Цинциннати, простуду, неожиданную беременность, выступление в клубе эксгуматоров-любителей — одним словом, безбожно лгать, чувствуя головокружение и тоску.*

*Супруги Маклаковы со Скрыбинским музеем вытащили на свет Божий, сами того не зная, призрак молодого человека в волчьей ушанке. Припоминая его, Борис пропустил автобус. Стоял, бессмысленно таращась в лиловую лужу, пытаюсь увеличить удаляющуюся сутулую спину. Соскальзывало. Память не срабатывала, и приходилось все прокручивать сначала. Спина приближалась, наезжал торчком стоящий воротник легонького пальто, глыбы грязного льда обозначали февраль. Подкатывал из парижской действительности автобус, Борис садился, арбатская кариа-*

тида с сифилитически облупленным носом сгущалась в вечеряющем воздухе, мелькал Бульмиш, нужно было сходить, и, уже огибая Люксембургский сад, раскрывая упрямый, не в ту сторону выгибающийся зонтик, он вспоминал, с идиотской улыбкой останавливался, спазм памяти ослабевал, и волчья шапка с облегчением удалялась навеки, и с грохотом рушилась преувеличенно стеклянная метровая сосулька. Это был болезненно-наглый однокурсник, навсегда заигравший синий томик Камю, цена на которого на черном рынке подскочила до пятидесяти рублей и покупать не было никаких сил.



Звонили и совсем неизвестные личности. Не всех удавалось переключить на более доступный английский. Они внятно и однообразно сожалели, спрашивали, сколько лет во Франции, уже порядком, скоро год, что же вы еще не говорите, только в булочной, жаль, говорят, у русских талант к языкам, не у всех, а мы-то надеялись пригласить вас выступить, но не по-английски же?.. Из Онфлера, из оккультного, судя по словечкам, общества пришло письмо — в статье Борис упоминал Распутина, Гурджиева, Макса Волошина, русских масонов, — просили быть в следующую пятницу. Какой-то молодчик позвонил из Канады. Голос был напористым, вопросы идиотскими. Продолжалось это недолго, с неделю, с маленьким рецидивом после перепечатки статьи в Америке.

Он старался не пить, в крайнем случае стаканчик, не более, но, как-то лавируя между собакой и волком, был либо по-собачьи тосклив, либо по-волчьи зол, а в итоге к полуночи изрядно навеселе. Если так можно было назвать его мрачное ёрническое через три языка протискивание.

Он уже подумывал о серии статей для одной левой полусредней газеты: продолжение темы, разработка деталей, ему давали карт-бланш на целых восемь номеров, как неожиданно в два дня подписал контракт с молодым, но уже известным и оборотистым издательством, получил аванс и на той же неделе, стараниями хозяина ресторана, на дохлой двухсилке переехал.

От прежних жильцов осталась целая плантация пальм, цветов, в стеклянной колбе плавал папирус, пыльные водоросли плюща ползли по стенам. В белых пустых комнатах гулял сквозняк. Во всех трех тускло мерцали зеркала и чернели каминны, но разрешение было лишь на один, второй нужно было чистить, а в третьем жила жилистая телеантенна. На барахолке он приобрел новенький невинный матрас, рыжее верблюжье одеяло. Все это устроилось на полу напротив узаконенного огня, а французские приятели привезли тяжелый раскладывающийся стол и пару хромых стульев. Штор не было, но неширокий балкон палубой шел вдоль всей квартиры и на ночь закрывались скрипучие жалюзи со струпами облезающей краски.

Однажды по дороге с рынка он неожиданно для себя купил мощный приемник и теперь ночами, пока трещали все те же марокканские ящики или стреляло выуженное из канала Сен-Мартен мокрое полено, он обшаривал мир, сантиметр за сантиметром, и засыпал под бесконечный речитатив убийств, крушений, переворотов, похищений и угроз. Маленькие стремительные экскурсии на просторы родины вызывали неизменную тошноту: все то же величаво-фальшивое звучание голосов, сводки о перевыполнении плана и отчеты о забастовках и подорожаниях на Западе. По заявкам передавались вальсы Штрауса, доярка из Чувашии интересовалась этюдом Листа, вползало бархатно-стальное сообщение ТАСС об очередном запуске на орбиту экипажа из чукчей и кубинцев, и Борис переходил на средние волны, нащупывая то парение Девиса, то тяжелые пассажи Монка.



Консьержка подсовывала под дверь письма и унылую русскую газету, и этот мышинный звук будил его по утрам. Пишущая машинка, некогда побывавшая на экспертизе в Лефортово и малой скоростью наконец добравшаяся до Парижа (одоженный древний «ремингтон» был с благодарностью возвращен старичку белогвардейцу, вполне младенцу, судя по нескольким неудавшимся разговорам), устроилась на столе,

заваленном теперь россыпью постаревших за последний переезд фотографий, рядом со стопкой отвратительно белой бумаги. С утра он просиживал над контрабандным прошлым, разглядывая лица друзей, щели переулков, трамвайные рельсы, полинявшие пляжи, праздничные, с зарослями бутылок, столы. Подтаявший пласт прошлого с трудом удерживала от последнего обвала какая-нибудь загорелая рука, лежащая на плече московской приятельницы,— все, что осталось от ее ухажера, или крест колокольни, повторяющий крест окна, у которого негром застрял неопознаваемый профиль. Он завел ящик с карточками и, путая бывшее с выдуманым, заселил их именами, биографиями, чертами характера, происшествиями. Книга еще не была начата, а толпа ожидающих уже теснилась на входе, сплетничала по ночам, жаловалась на обстоятельства и вычеркнутые знакомства.

Соотечественников он не видел, да и не жаждал. И лишь странные ошибки во вдруг спотыкавшемся русском языке толкали его на редкие встречи. Но друзья по Москве и Питеру, перебравшись в Париж, узаконили немисливо разнужданный тон, за которым сквозило разочарование и неуверенность. Селились они все ближе к Латинскому кварталу, вечера просиживали в одних и тех же забегаловках и, с небольшими вариантами, пережевывали заплесневелые, все более неузнаваемые истории из бывшей жизни. Большинство, уехав, нигде не приехало, и из незахлопнувшейся двери прошлого тянуло сыростью и неодолимой хандрой.



В среду, стоя в ярко освещенной ванной комнате, Борис с удивлением обнаружил, что виски его оголились и волосы, сквозь которые еще недавно с трудом продиралась гребенка, дымчато просвечивают и остаются в пальцах, если дернуть посильнее. Он криво усмехнулся зеркалу, криво усмехнувшись в ответ. Маленькие ножницы, которыми он поправлял усы, мелко дрожали. Напустив горячей воды в ванну, он лежал и пытался сообразить, когда же начал лысеть отец. Но от отца в памяти осталось лишь что-то

виноватое: скомканный взгляд, вывихнутый жест. Смешная поначалу мысль — я старею — наливалась тяжелой угрюмостью, и от волглого жара вспотевшей враз комнаты, от удушливого пара и рыжеватой воды ему стало плохо. Пять лампочек над помутневшим зеркалом поплыли, уменьшаясь, во тьму, дыхание, расширившись, остановилось совсем, и он, боком выплеснувшись из ванной, залил пол водой и больно ударился затылком о стену. Несколько расплывшихся минут он сидел, сотрясаемый крупной дрожью, на кухне надрывался телефон, из-под двери тянуло холодом — он открыл ее слабым ударом пятки — чернеющий ручеек убежал в коридор, и на белом кафеле, шипя, оседала пена, и мелко колочись остатки несмытых волос...



Был день вернисажей, свежий, хорошо проветренный, с затянувшимся хэпенингом заката, с розовыми в густеющих сумерках мостами, с иголкой самолета, тянущей расплывающуюся нитку воздушной пряжи, с шарами фонарей, с медленным потоком машин на левом берегу, со взрывами бешеных мотоциклов, ленивыми свистками постовых, с черными в сумерках, медленно падающими листьями платанов.

Они встретились на Одеон. Птички мира спали на заляпанном Дантоне. Крепко обтянутые джинсами мальчишки, позвякивая связками ключей, хороводились у подножия памятника. Двое фликов<sup>1</sup> в растопыренных пелеринах проверяли документы у животастого клошара, уже устроившегося поживать с бутылкой красного в руке.

Она появилась совсем не с той стороны: улыбающаяся, коротко стриженная, в чем-то мягком зеленом. Ее крошечная машина была запаркована в переулке, и Борис на секунду остановился — она возилась с ключами, зацепившись в сумке за нитку бус, — у витрины магазина хирургических инструментов: когти стальных крючков, пилки и ножи лунного цвета, зажимы — тяжбы плоти и смерти.

<sup>1</sup> От франц. *flic* (разг.) — полицейский.

Выставка была совсем рядом, и все было бесконечно знакомо: толпа, запрудившая тротуар, скопище безадресных улыбок, пластиковые стаканчики в руках: «Старик! Лет сто...», пара навьюченных кофрами фотографий, чья-то рука, лезущая здороваться, с жаром вlepленный неизвестной тетей в самое ухо поцелуй — на каком языке она говорит? — пустое, но кипучее оживление. Уже разбрелись по соседним кафе, обменивались телефонами, выуживали из-под ног играющих детей, договаривались встретиться попозже где-нибудь на Сен-Жермен. Протиснувшись в галерею, Борис никакой живописи не нашел. Со стен свисали разломаченные веревки, окровавленная рубаха была распята над чистеньким зеркалом, заглянув в которое он прочел — ЭТО ТЫ! Работало несколько магнитофонов одновременно, наговаривая нарочито невпопад один и тот же текст.

Борис добрался до столика, налил два стакана скотча, добавил для нее льда. Пили на улице, сидя на капоте чьей-то машины. Пара бродяг, уже изрядно набравшись, со своими стаканами переходила из галереи в галерею. «Она шлюха,— раздавалось из-за спины,— а он прохвост. Они скупают все по дешевке, а потом в Нью-Йорке...» Знаменитый критик, абсолютный двойник Карла Маркса, шевеля подкрашенными губами, поучал стайку одинаково неулыбчатых очкастых поклонниц и гладил сальный загривок заспанного блондина. «Скорая помощь», захлебываясь плачем, медленно пробиралась сквозь толпу, напрочь стирая все остальные звуки.



Они перебрались в Маре. Накрапывало. Тянуло гнилью. Сержант полиции на углу шептался с воки-токи. В крошечной галерейке на черных кубах сидели оплывшие, словно сделанные из горячей жвачки фигурки. Мелькнула (между двумя стаканчиками) мысль, что уродцы в шляпах и карлицы в капотах плавятся не по прихоти похожей на них, в серебряное завернутой художницы, а из-за давящей растущей духоты.

Борис, плотно прижатый к французенке, вдруг с дур-



ным смехом понял — она подняла бровь, — что обронил ее имя, напрягся, но память была загорожена пустяками, всмотрелся в ее разгоряченное лицо, стало щекотно от бобрика ее волос, она притиснулась ближе, было жарко, и безразлично спросила: «Çа va?¹ Ты бледный!»

Ехать больше никуда не хотелось, но под крупно скачущим дождем они доплыли до американского центра на Распае, прищавтавались, потолкались и там: несколько сотен развешанных под потолком госпитальных халатов. Выпив с долговязой худой американкой, живущей между Бостоном и Иерусалимом, они уже повернулись уходить, как вдруг Борис, вздрогнув раньше, чем понял, увидел у столика с закусками старинного московского приятеля — сгорбленные плечи, седые лохмы, но он, несомненно, он! — протягивающего официанту пустой, отчетливо дрожащий стакан. Борис не знал, что Осинский уехал, и теперь, глядя, как рука в несвежей манжете тянется к зарослям бутербродов, конечно же вытаскивая нижний, отчего все рушится и ползет набок, испытывал не замешательство, а дурноту мгновенных перемещений. Но подойти, поздороваться, обнять он не мог по той же причине, по какой невозможно занять денег во сне.



Снова плыли через весь город, разбрызгивая синие маслянистые лужи, спотыкаясь о светофоры, потягивая из прихваченной бутылки остатки шампанского. Ее колено глазело из скачущей тьмы, ее рука шевелила детскими пальчиками на набалдашнике рукоятки скоростей, словно собиралась что-то сказать. Потом сквозь густые заросли дождя, сквозь его малиновые (киношка) и изумрудные (китайский ресторанчик) ветви бежали к подъезду; она сняла тубельки; карабкались на самый верх по винтовой лестнице, оставляя темные, невпитывающиеся следы. Пока она рылась в сумочке, второй раз за вечер ища рыбку, недающуюся связку ключей, он опять ощутил летящую со всех сторон стискивающую сердечную дурноту. Он раскрыл рот, но

¹ Все в порядке? (франц.)

отпустило и лишь перебрало из жара в холод, и ткнулся губами в ее шею. Она обернулась, слишком порывисто обвила его мокрыми руками, слишком энергично впилась мягкими раздающимися губами. Целуя, она косила незакрытый глаз, и он вспомнил: Даниэль, Дани...



Ужинали при свечах, молча, с неуклюжей неизбежностью разглядывая друг друга. Был момент, когда он хотел встать и уйти, но пропустил, запылся сам в себе, и в следующий миг они уже лежали на полу среди разбросанных подушек и он помогал ей избавиться от узких намокших трусиков. У нее были детские неразвитые соски и неожиданно упругий животик. Борис вяло втиснулся в нее, ее маленькие пальчики лихорадочно помогали ему, стал разбухать и набирать силу, но тут она так фальшиво задыхалась, задушила, гортанно заворковала, что он съезжился опять и все попытки сосредоточиться ни к чему не привели. За окном — он встал, стягивая через голову уцелевшую на теле рубашку, — мокро горели веранды кафе, по круглой площади медленно ехала битком набитая открытая машина, дождь изнемог. Но еще плыли, встречались и расходились зонты, съезжались в дверях бара; гарсон в светлом пиджаке курил, стоя под деревом; большая грязная собака мочилась на пожарную колонку. Тусклый купол Пантеона на мгновение напомнил Исаакий, но все сошло на нет, опять растворилось во влажных прикосновениях, задыхало.



Рука, высвеченная огнем сигареты, потянулась куда-то, клюнула клавишу магнитофона, музыка оборвалась. Два голоса, в Москве это обозначало бы драку, сплетаясь, ворвались в окно. Даниэль что-то говорила, с силой выпуская дым в потолок. Он устал, тра-та-та, так бывает, много пили, не беги в голову, ты такой нервный, мне и так хорошо. Она улыбалась из своей подсвеченной тьмы. Он взял

ее руку и потянул вниз. Она слабо сопротивлялась, но он нашел и зарыл ее глубоко, и с силой провел, и, вынув, провел опять, но она боялась, и пальцы ее каменели. Жирный кот вспрыгнул на подоконник. Она встала, соорудила из воздуха халатик, запахнулась. «Вымою посуду. Не люблю, когда остается на утро». Комната кланялась, ползла, подсовывала знакомиться проступающие предметы. В конце коридора хлопнула дверь ванной.пустила воду, чтобы заглушить свою скромную струйку. Вернулась. Пересекла лужайку ковра. «Последний бокал. Не спи. Я вернусь». Лет через десять...

Борис встал, натянул джинсы. Мокрые. У зеркала допил вино. Волосы сбились. Может быть, из-за радиации в армии? Чушь! Зажег ночник, включил магнитофон, добавил громкости. Все мы теперь спим под музыку, написанную для церкви. Моралист чертов... Кот высунулся на улицу. Дать под зад? Пусть учится летать... Котопсы — помесь кошки с собакой...

Отворил дверь в коридор. Нащупал замок. Вернулся. Поднял с пола пиджак. Журнал с его статьей размок, нелепо торчал из кармана.



Какие-то деньги у него были. В кафе напротив он сел в неосвещенный угол и заказал большую фрюмку кальвадоса. Сквозь лапчатую тень листвы светило ее окно. Он ждал недолго: секунду, высунувшись, она кланялась улице, потом створки сомкнулись и рекламная чепуха мгновенно пристроилась на стеклах. Борис допил кальва, расплатился и кривой улочкой пошел вверх, выбирая ближайший мост через реку.



...Желтый, табачного настоя, свет возвращался. Стойка с лужицей пива, толстощекая хозяйка, заросли бутылок, зеркало, полное прохожих и машин. Включился и звук — ленивая гитара, игровой автомат, хриплый шепот. Зеле-

ноглазый сенегалец с высоко забинтованным горлом, выкладывая столбиками мелочь, считал деньги. Из зеркала, открыв дверь в черное — чья-то голова отъехала прочь от туловища, — вышло пьяное, неизвестного пола, существо. Но звук плыл, а зрение плохо наводилось на резкость. Борис странно тихим голосом кликнул хозяйку и спросил кофе. Все же он вынырнул. Откуда? До этого был провал, забегаевки левого берега, визг тормозов, свет фар, лающий, в волосы цепляющийся ветер возле реки, плывущая прочь из города пивная бутылка. Было сердце, плещущееся в ушах, сошедшее с ума, исчезающее, возвращающееся с тупым грохотом.

Черная куртка в зигзагах молний перестала кормить монетами автомат, наступило перемирие. В окно залетел и лопнул смешок. Борис, выдавив из облатки таблетку, запил ее обжигаящим кофе, припомнив (фотография: полицейский со свистком в зубах склонился к карапузу с леденцом в руке), что нужно было свистеть в нее, как в свистульку, то бишь сосать.

Улица лезла в небо. Он карабкался, высоко поднимая ноги. Ветер, выскакивающий из проулков, был по-ночному свеж. Воздетый криво шпиль собора (шпиль собора?), ветрянка звезд, лестница крыши, сжалившись, заняли обычные места, улица улеглась на место. Горы шелковистых обрезков из швейных мастерских устилали путь. Голоногие, цокающие вслед языком, со скромно опущенными ресницами, с шевелящимися ртами, с вываленными наружу напудренными грудями, строго одетые по моде шестого округа, белые, по-северному белесые, шоколадные, лиловые, с мальчишками вперемежку, стареющие, начинающие, утыканные светляками сигарет, звякающие браслетами — представительницы самой древней профессии подпирали стены. «Купец торгует селедкой, дева торгует чревом...» Тянуло кипящим маслом из арабского магазинчика на углу, мочой из подворотен, крепкими духами, потом. Огромный грузовик, с тысячей горящих глаз в кабине, с трудом протискивался по улице. Растегнутый до пупа солдатик качался под фонарем. Двое негров уговаривали блондинку, но та не соглашалась и мотала головой. В провалах длинных проходняшек дико и голо горели лампы. Где-то били часы. Девочка в светлых кудряшках потянула Бориса за рукав. «Пойдем?»

Он пошел. Черные чулки, дымящаяся сигарета на отлете, короткая шубка — по длинному, все заворачивающему налево коридору, а потом сидел в кресле, и комната была совсем не такая, как он себе представлял. Она дернула застежку на груди, выпуская погулять две влажные розовые твари, и, пока она трудилась, стоя на коленях, он рассматривал бронзовую даму с горячим абажуром над головой, складки тяжелых, никогда не раздвигаемых штор, приоткрытую ванную с толпой склянок и баночек на умывальнике и с большим кроваво-красным полотенцем, мокро лежащим на полу. Вдоль кровати шло узкое зеркало, и на стене напротив криво была приколота афишка: крошечный господин осторожно приоткрывал складки гигантской вертикально вытянутой пасти.

Он гладил светлые кудряшки, сквозь которые пробивалась совсем детская жалкая макушка. На шее девицы дрожала золотая цепочка, на пол, выскользнув, упала связка ключей. «Были бы деньги,— думал Борис,— можно было бы остаться до утра. Заспать к чертовой матери весь этот бред...» Над головой что-то грохнуло, хлопнула дверь и застучали каблучки, перебиваемые глухим тяжелым шарканьем.



Такси остановилось у Северного вокзала. Светало. Он с трудом вывалился наружу. Панический страх разрастался и заволакивал мир все стремительней. Что-то подсказывало ему, что на вокзале не так страшно, что должны же быть люди, что кто-то вызовет врача и можно будет наконец-то выключиться, чтобы не стучало так быстро, чтобы перестало трясти и знобить, чтобы нитка, натянувшаяся слева, перестала дергать. Было поздно (то есть рано, безразлично подумал он), и сердце росло и наливалось тоскливой болью, лопалось, пускало розовую горячую пену, лопалось, и он оседал все ниже и ниже, ловил воздух раззеванным ртом, а совершенно равнодушная громада вокзала, наоборот, поднималась все выше и выше, и пустая улица так глупо, так ненужно продолжала переключать светобор.



Патруль подобрал его через полчаса. Молоденький усач перевернул его на спину, обшарил карманы и вытащил бордовый советский паспорт. Из участка дежурный позвонил в посольство — на кой черт связываться с советчиками, парень может загнуться по дороге в госпиталь,— и вскоре пришла машина с вежливыми, прекрасно по-французски изъясняющимися господами.

Посольский врач в халате, из-под которого вылезали длинные мохнатые ноги, ввел иглу в вену, про себя отмечая, что до сих пор радуется одноразовым западным шприцам, и, опустив голову, просидел еще минут пять, то нащупывая ускользящий пульс, то колдуя присоской стетоскопа. Ритм выровнялся, но все еще были перебои, и нужно было идти наверх за электрокардиографом. «Слушай,— позвал его человек из-под настольной лампы,— может, я просто позвоню его родственникам? Пусть забирают». И он полез в картотеку. Но второй сотрудник, изучавший вытасченный из кармана пиджака журнал, сверявший фотографию на мятой странице с провалившимся лицом привезенного, остановил его и, подойдя к столу, протянул журнал: «Узнаешь?» Врач поднял голову, переспрашивая, и дежурный, задвигая ящик картотеки, сказал: «Дурак! Сидел бы тихо, раз выпустили... Вдарился умничать... Хоть бы псевдоним взял поумнее, а то — Борисов...» И он снял трубку телефона, приходилось будить посла: по поводу статьи и автора было недвусмысленное решение Москвы.



«Слушай, Коля,— сказал посол врачу за завтраком,— ты мне за него отвечаешь. Пусть дышит на ладан, но пусть дышит. Слышишь?»

В баночке альпийского меда увязла муха.



На авиационной выставке в Бурже шел последний день. Разгулявшийся ветер рвал флаги. Рабочие уже начали разбирать трибуны. Журналисты, бизнесмены, военной выправки любопытствующие укрылись в просторном баре первого этажа. Через затемненные стекла окон было видно, как двое пилотов в серебристых комбинезонах, оба черные, проверяют крепления нового американского контейнерного вертолета. Все, кроме остова с двигателем и кабины, менялось за несколько минут. Серийный «конкорд», опустив клюв, выруливал на дорожку. У легкого частного «джета» (малиновый лак, белый зигзаг, шофер только что передал пилоту чемоданы-близнецы и теперь разворачивал «роллс») две одинаковые пары, склонив головы и широко разевая рты, прощались. Мужчины были в одинаковых узких пальто, дамы в шубках и разлетающихся шарфах. Смахивало на пародию, на съемки заранее провалившегося фильма. Полицейский лениво футболил пачку из-под сигарет. Бензовоз загородил всю сценку. Музыка в баре вполсилы играла бестселлер семидесятых — «Назад в СССР» «Битлз».



Советский Союз на ярмарке был представлен широко, но, кроме полуспортивного «джета» на четырнадцать мест и пожарного вертолета, демонстрировались лишь серийные модели. Катастрофа со сверхзвуковым «ТУ» здесь же, в Бурже, несколько лет назад вынудила министра авиации быть осторожнее. Его заместитель только что закончил небольшое прощальное путешествие за облака с делегацией французской компартии. Товарищи вернулись навеселе: в небесах Франции пили ледяную водку, закусывая черным хлебом с икрой.

Да и сам шедший на убыль денек не был трезв. Посольская машина под красным флагом, остановившаяся у ворот, выпустила наружу трех мужчин, и таможенный чиновник, проверяя паспорта, улыбнулся — все трое были сильно под мухой. Он вернул паспорта и, обождав, посмотрел

им вслед: русские могли пить километрами, но без всякого понятия — пиво с водкой, коньяк на аперитив. На приеме в день открытия краснощекий партиец тянул скотч как шампанское, а шампанское опрокидывал залпом. Гусиная печенка шла у них с водкой, семга с красным вином. «Впрочем,— сам себя урезонил таможенник,— откуда им знать? Рады и тому, что Бог пошлет...» Советские представители шли прямо через поле к полуспортивному самолету. Один из них, тот, что посередине, был настолько пьян, что почти висел на руках у товарищей.



В салоне было два отсека — Бориса усадили в первом. Через иллюминатор он видел темнеющее летное поле и рыхлый сухой виноградник вдали. Солнце уходило дальше на запад, поджигая редкие облака, соскальзывало в сторону пролива. Тьма вставала с востока сплошным фронтом. На эту густеющую тучу ночи и нацелил свой клюв самолет.



Его больше не опекали. От слабости и лекарств, которыми его кололи все эти дни, он был совершенно деревянным. Потная рубашка примерзла к спине. Ровно дул пластиком пахнущий сквозняк. Чужой костюм резал в паху, горбился, вывихивал спину. Репетиция скорых лефортовских шмоток. Тело тупо леденело, но он не в силах был хоть что-нибудь сделать. Все движения, кроме самых грубых, давались с трудом. Особенно сводило мышцы лица. Когда выходили из машины, Борис попробовал напрячь хоть что-нибудь, хоть повалиться или крикнуть — молоденький полицейский, расставив ноги, стоял всего лишь в двух шагах, — но вместо этого лишь разинул рот, и по спине промчалась отвратительно крупная дрожь, тупо взорвавшаяся в темени. Все было как во сне, когда невозможно проснуться: все тот же прозрачный пуленепробиваемый колпак кошмара. Посольские мальчишки держали его нежно и сильно. Проходя контроль, один из них, тот, что слева, с опереточной фамилией



Клюковкин, даже обнял за плечи, обдав водочным запахом (специально пили в машине, подъезжая к аэропорту, хотели лить и в него, но врач не позволил). Когда же он попробовал подогнуть колени, то почти повис в воздухе, и таможенник, здоровенная камамберная роза, сам ему улыбнулся, возвращая паспорт. Клюковкин серпастый молоткастый перехватил.



Прогревали моторы, выфуливали. Зажглись прожекторы, линии-указатели. Ночь сгустилась, придавило, пошли на взлет. Франция, опрокинувшись, уходила из-под крыла. Гасли фальшивые рубины и аквамарины рекламы, прятались в бархатных складках ночи горящие спирали развилки. Окна бегущего поезда превратились в пунктир, в жалкое многоточие, исчезли... Заглянул Семенов, второй посольский конвойный. Лет ему было от силы двадцать семь, но в посольстве все, кроме хозяина, тянулись перед ним. Он двигался и разговаривал с непринужденностью европейца, по телефону легко перепрыгивал с языка на язык. Лишь иногда рука его сбивалась, взяв сигарету по-солдатски, в кулак, но тут же исправлялась, заиграв пальцами с отлично подрезанными ногтями. Семенов достал с полки и бросил ему на колени одеяло. Просверлил еще своими оловянными зенками. Ушел. Все тело ныло, будто били, не переставая. Но его не трогали. Лишь накричал, матюгаясь, посол, да помогли врачу вводить лекарства: один держал голову захватом так, что перед глазами кровью наливался и пропал низкий потолок, а двое других тянули за руки. Держали где-то в подвале, похожем скорее на убежище. Кровать и телевизор. Больше ничего. С ярмаркой им повезло. Ждали лишь закрытия. Хотя в таком бункере можно держать всю жизнь. Считай, своя Лубянка. Что будет впереди, Борис не думал. Что-то до омерзения знакомое. Измена родине. Шлепнуть не шлепнут, но пятнашка строгого обеспечена. Может быть, захотят театра. Выступления на заводе «Компрессор». Был на корню куплен ЦРУ: Цецилия, Ребекка, Урсула. Отравлен пропагандой, совращен мнимыми прелестями.

*Прошу отправить в иной мир первым же поездом. Бурные аплодисменты. Гневный рокот. Врач сказал: «У тебя полетел клапан...» Митральный? Декомпенсация? Учитывая неостановимое развитие лагерной медицины, можно высчитать скорый финал. Год, от силы два. Вот и вся история. «История моей глупости,— сказал он.— Моей глупости и вашей подлости. Суки. Сучье племя. Вашу мать! Чего вам не живетя? Чего вы мудрите, остолопы?! Сучье племя! Козлы!..» Слабенькое бешенство даже не могло разогреться. Хороши нынче препараты. Сам в себе, как в чужом доме. Чуть-чуть свет тлеет. Уголек среди пепла. Он мерзко хихикнул. «Мне влили чужую кровь». Слишком красиво. «У меня передовая советская моча вместо крови». Уже лучше. «Меня накачали жидким дерьмом. Чтобы приобщить к остальным». Так оно и есть. Именно так.*

*В глазах было совершенно сухо. И пусто. И все же одна горячая дура выползла на свет Божий и поползла куда-то в ухо.*



*Тошило. Над крылом самолета висела, соскальзывая, звезда. Откинул кресло, но спать не мог. Лежал, не допущенный участвовать в собственном кошмаре. Но во всем — и внутри и снаружи — жила пульсация. То надвигалась и обещала залить таким горячим бредом, что все лопнет, то отпускала и трезво долдонила: лучше не будет, не проваляшься, смыться не удастся. Словечки, в которые наряжались его скачущие мысли, словно принадлежали кому-то другому. Скомканные, приклатненные, он таких не употреблял.*

*Уборная была за спиной, в хвосте. С большим трудом — хрустнуло колено — встал и побрел. Во втором отсеке дремали. Вытянув ноги, раскрыв рты. Клюковкин скосил глаз, роняя газету, вялым пальцем показал — там. Раздвинув тяжелую штору в идиотских цветочках, Борис вышел на площадку. Слабо горел свет. Две двери, правая в уборную. Он толкнул — из зеркала на него вывалился совершенно незнакомый человек. Замороженное скошенное лицо. Неожиданно*

*маленькие глаза. Новость: мочиться было больно. Тупо, но больно. Все же юмор — везут на казнь, точат каменный топор, моют партийную плаху, а он со свеженьким триппером с Сен-Дени. Контрабандой. Поморщился. Застегнул. В Лефортово закатят лошадиную дозу антибиотиков. Шатнуло. Схватился за открывшуюся дверь. Удержался. Перед глазами увидел надпись: АВАРИЙНЫЙ ВЫХОД. Стало ватно тихо. Выключились моторы. И очень, очень спокойно.*



*Он выглянул в салон. Никто не шевелился. Лишь над Клюковкинским расплзался дымок сигареты. Повернулся. Ручка, похожая на рычаг, которым переворачивают мир. Знакомая серенькая советская пломба. Потянул. Ни с места. Повис всем телом. Напряглась шея, на секунду включился звук двигателей. Отскочила пломба. Сил не было. Руки были как мертвые. Весу в теле не осталось совсем. Выползла мысль: а что, если откроется? Не думать. Взялся левой рукой за кисть правой — стронулось. Как в кино появилось большими буквами: РАЗГЕРМЕТИЗАЦИЯ... Зачем-то спустил воду в уборной. В промежутке резиновый шаг. Вернулся. Плоско прижался к двери и лег на ручку. Щекам стало мокро. Лоб залил пот. Ровно шумели моторы. Вернуться и спать. В нише увидел квадратную кнопку. Наверняка связана с кабиной. Нажал. Ручка тихо пошла. Консервный нож вскрывал вечность. По проходу кто-то мягко шел. Стиснул зубы. Поехало. Напрягся и рывком сдвинул охнувший мрак в сторону. Прости, Господи! Ночь взорвалась, ударила: в эту последнюю дверь, когда все решено, не нужно ломиться — она открывается сама».*



Писалась эта книга капризной нескончаемой зимой.

Я перебрался за город в конце ноября, а через неделю подмосковный поселок пошел ко дну, утонул

в снегах, прикинулся невидимкой. За ночь крыльцо совсем заваливало снегом, и дверь приходилось вышибать плечом. Однажды, собираясь на станцию за хлебом, я не рассчитал силы и вылетел в густой утренний мрак, сверзнулся со ступенек и подвернул ногу. Это падение и решило участь героя книги. Парижа я не знал, никогда в нем не был, да и сам Борис последние три главы просился в покойники. Так что хромал я в то утро вдоль заснеженных, раздваивающихся на черное и белое заборов в самом лучшем настроении.



Киса Зуйков, однокашник и пилот гражданской авиации, за пьянку вытуренный из ВВС, весьма кстати попался мне в электричке через несколько дней и кое-что объяснил про аварийные двери, разгерметизацию и, между прочим, сказал, что выпрыгнуть не так-то легко: дверь нужно вышибать чуть ли не взрывом. Мы выпили с ним в буфете Белорусского вокзала по двести грамм дрянного красного, а потом, наискось перейдя улицу Горького, в дежурном гастрономе отоварились четвертинкой. На углу маячил патруль, через дырку в заборе мы просочились во дворик детского сада и, сидя на качелях, медленно раздавили чекушку из горла. «Слушай, Киса,— кричал я, взлетая к пустым небесам,— а если я очень хочу выпрыгнуть?» Он посмотрел на меня своими огромными сияющими зенками — фиалки, чернила, черт его знает что — слезы всех девиц нашего класса — и сказал: «Давай купим еще по маленькой и пару пива, тогда, если очень хочешь, прыгнем на пару».

Пива, конечно же, не было, и, прихватив водку, мы поплелись к метро, где всезнающий Киса впихнул меня через служебный вход в тусклый закуток с тремя столиками, запахом капусты и толстенной бабой, как новогодняя елка обвешанной гирляндами сосисок. Она состригала их маникюрными ножницами и, подозрительно нас разглядывая, бросала в кипящую воду. «С

какой линии?» — наконец спросила она. «Мажино!» — вытаращился на нее Киса. «Что?» — застыла баба, но Киса показал ей издалека свою партийного цвета книжечку, и она заткнулась, и выудила из кастрюли по паре сосисок, и выставила пива, и больше не встревала.

Это был буфет для ремонтников, машинистов, уборщиц. Портрет вождя тускло плыл в клубах пара. «Знаешь гениальное изречение наркома путей сообщения товарища Кагановича? — спросил Киса. — Паровоз движется по рельсам путем трения... Загороди-ка...» Я закрыл его спиной, и он плеснул по стаканам водку, и мы крякнули, и в лампочке прибавилось света. Киса вечно знал какие-то трюки, потайные ходы. Когда мы просиживали штаны на одной парте, он на спор жевал бритвенные лезвия «матадор», а потом урока три подряд выковыривал из языка осколки. «Помнишь,— сказал он, расплзаясь в улыбке,— как мы лазили подсматривать?» Еще бы! Мы были смертельно влюблены в новую училку по географии, Наталию Васильевну. Эта кинозвезда рассказывала нам про трущобы Нью-Йорка, освобождающийся Ганг, а мы строчили любовные записки и на переменке засовывали в карман ее душистого пальто. Летом весь класс вывезли на работы в колхоз, на скучные промокшие поля. Мы должны были слиться в трудовом экстазе с подгнившей на корню хрущевской кукурузой. Жили мы в бараке деревенской школы, и как-то вечером Киса предложил лезть на чердак, откуда через щель была видна комната учительницы. Во влажной тьме зло гудели комары, через слуховое окно наливалась ночь и орала лягушки, и мы по-шпионски пробирались на ощупь под балками чердака. Щель желто светилась. Затаив дыхание, мы заглянули и увидели завуча по кличке Козел, ненавистного всем старикашку, который, сидя в изножье кровати, зевал и чесал голый обвислый живот. Его тонкий, кошмарно длинный член свисал вниз. У ног стояла заткнутая газетной пробкой бутылъ самогона, а по подушке были разметаны медвянисто-золотые волосы Наталии Васильевны.

Это она однажды на уроке по Амазонке, рассказы-

вая о девственных дебрях, вдруг остановилась и спросила: «Дети, а кто знает, что такое «девственный»?» Никто не знал, а она хохотала грудным счастливым смехом, и мне навсегда занозило память.



Распрощались мы через час у турникета метро. Киса старался идти прямо, как балерина. Контролерша впи-лась в него щучьим взглядом, но он лихо ей козырнул и махнул мне рукой на прощанье. Под утро у него был рейс в Читу. Летал он всегда бухой.



Дачный поселок зарылся в сне. Звуки обросли мехом и не царапали слух. По ночам что-то вздыхало в саду, влажно задевало окна. Воздух после Москвы был сладок, и от него кружилась голова. Я работал у окна и часто, забывшись, подолгу глазел, как разгуливают по снежному насту вороны, как скандалят на рябине воробы. Рыжий брюхастый кот крался вдоль забора. Время двигалось рывками. Полдня оно стояло на месте и вдруг, ранним вечером, срывалось вскачь. Кровавый закат, сизые дымы, растопыренный черный сад — все это тоже вдруг срывалось с места, мягко несло куда-то, прихватив с собою отрезанную голову над забором, фонарный столб в виде буквы «л», далекий гребень леса, вцепившийся в растрепанную тучу, и ночь падала неожиданно, накрывая тяжелыми юбками с прорехами звезд присмиревший поселок, и снова все останавливалось, замирало и тянулось, потягивалось, и ход старинных часов с трудом продирался в этом плотном зимнем веществе. Даже дневной взрыв реактивного самолета, от которого рушились сосульки и раздражались овацией крыл вороны, и тот, казалось, намертво был вправлен в тяжелую раму зимы.



На даче был телефон, в который нужно было кричать так, как будто сила голоса или высота вопля могли протолкнуть какую-то проволочную пробку посередине. Был древний, времен крестовых походов, телевизор с круглой, дистиллированной водой наполненной линзой. Диктор, близнец Киссинджера, расплывался флюсом и, не попадая пальцем в переносицу, поправляя очки и ругал брата. Кровать тоже принадлежала прошлым эпохам — бронзовые шары и башенки немилосердно пели, оповещая мышей в погребке, что заезжий барин повернулся на бок.

На даче была обычная дровяная печка и газовое отопление. Возле письменного стола обитало огромное, кое-как набитое пружинами кожаное кресло. Напротив полстены занимал похожий на шкаф приемник. Круглое окошко со шкалой зажигалось хилым светом, и, нашаривая станцию, я чувствовал себя по крайней мере пилотом фанерного самолета: трещал мотор, кололись спицы прожекторов, внизу был Лондон, Би-Би-Си сквозь хронический бронхит глушения передавало новости.

За ночь машинка замерзала. В ватном узбекском халате я прыгал между печкой и плитой, на которой грозился сбежать дрянной кофе, а потом между печкой и тостером; и пока хлеб подгорал — остывал кофе, а после завтрака, зарядив лист черновика на еще живую изнанку, я сильно лупил по клавишам, слева направо, справа налево все четыре строчки букв, пока машинка не оживала, конечно же кроме какой-нибудь одной, взявшей отгул «п» или «н». Тогда вместо даты можно было ставить в углу «День н», отмеченный в тексте такими шедеврами, как «Икакого дома ет», — сказала она улыбаясь...».

Ключи от этого скрипучего терема мне дала дочка атомного, от шнурков до лысины засекаченного академика, высоченная дылда со смеющимися в любое время дня глазами. Она играла на виолончели, носила ее под мышкой как скрипку, могла достать в городской отцовской квартире любую крамольную книгу и пила

водку стаканами, отчего ее и без того деревенский румянец разгорался еще пуще. Кроме прочих достоинств, она непроходимо ругалась интеллигентского сорта матом, но на самом деле была застенчива, как мышка, и сентиментальна, как все великанши.



Мы встретились на какой-то вечеринке. То ли день рождения, то ли просто пьянка. Часа в два ночи, когда гости стали расплзаться, вытаскивая из общей свалки в прихожей шарфы и шубы, я отправился на кухню, где, по словам кимарящего в ванной молодого человека, еще оставалась выпивка. Юноша не соврал, и, повернувшись к загроможденному грязной посудой столу, дабы найти рюмку, я обнаружил белобрысую особу с нахальными, немного навывкате глазами. Она улыбалась. Я показал ей бутылку, и она кивнула: всегда за. В ту ночь Москва мокро чернела за окном, как проявляемая фотография. Совсем рядом, через реку, горели кремлевские звезды. «Красный свет,— сказал я,— обозначает остановку движения или бордель». Алена — имя было подарено позже, после короткого замыкания наших бранных тел,— что-то плела про мачизмо<sup>1</sup>, выуживая из банки двумя пальцами и снова роняя тоскливый огурец. Табачный дым волнами наплывал из коридора. Наконец она привстала за вилкой, и я поперхнулся — было в ней под два метра роста. «Ты что,— спросил я как идиот,— баскетболистка?» — «Еще один! — Она втиснулась назад в свой угол.— Ничего другого вашему брату на ум нейдет. Испугался? Я учусь в консерватории, у профессора Кима». — «А... — я все не мог остановиться.— Возвышаешься над коллективом...»

Мы пропустили еще по стаканчику, и, почти засыпая, не знаю для чего, я спросил: «Пойдем? Поздно...» — «Куда? — удивилась она.— Это моя квартира».

---

<sup>1</sup> От *исп.* macho — самец; термин, обозначающий агрессивное проявление мужского начала.





Я хотел вытащить пьяного мальчонку из ванной, но она опередила меня, надавала юноше по щекам, спеленала и вытолкала за дверь. Грянул звонок. «Это не мое пальто», — пожаловался молодой человек. «Других нету», — отвечала Алена, — бери что дают». Юноша закачался в дверях, повернулся уходить и вдруг, теряя равновесие, по-рыбы разевая рот, выдавил: «С тебя Родину-Мать нужно лепить. В натуральную величину». Дверь прихлопнула его. Алена, сидя на полу, плакала по-бабьи, без всяких надежд на скорую эмансипацию. «Меня мужики боятся, — всхлипывала она, — даже на улице не пристают... Я не виновата...»

Заснули мы, когда уже вовсю громыал день. Луч слабого солнца, сломавшись, вскарабкался с ковра на кровать. Свежий воздух, напитанный запахом прелых листьев, натекал в форточку. Наглый голос патрульной машины под скрип тормозов гремел вдоль по улице: «Двадцать четыре-одиннадцать, возьмите влево... Освободите проезжую часть!» И вслед за перепуганными взъерошенными звуками разливалась напряженная шуршащая тишина. Закрыв глаза и проваливаясь, я видел, как черная глыба правительственного лимузина по замершей в столбняке улице несется к Кремлю.



Ключи она предложила сама. Сказала, что на даче никто не живет. Отец редко приезжает в столицу, а матери нет дела. Что лучше, когда кто-нибудь живет и топит, иначе дом промерзает насквозь. Что на чердаке есть яблоки и соленья. Что когда-нибудь она навестит это вдохновенное захолустье, но, конечно, сначала позвонит. Что я сумасшедший, но и она тоже. Что не нужно думать об электричестве и дровах — отец платит на пятилетку вперед.

Мы стояли на Арбате у дверей овощной лавки. Моя шея ныла: разговаривая, я должен был задирать

голову. Прохожие текли мимо, расплываясь в улыбках.

Я сказал ей, что буду работать как зверь. Что это очень кстати. Что в постели все одного роста. Что, когда она, позвонив конечно, придет, я нанесу на ее всхолмия и долины указатели, знаки поворотов и ограничения скоростей.

Мы хохотали под совершенно голым студеным небом.



Париж появился тоже не с бухты-баракхты. Я сидел без копейки, когда Борису приспичило сваливать на Запад. Проводить его в аэропорт и там бросить? Заставить удаляться по проклятому коридору Шереметьева в немыслимое Зазеркалье? Ну нет! Стукачи, солдатики внутренних войск, иностранцы в шубах, валютные крали, таксисты, фарцовщики... Хорошенький хор, поющий прощальную арию, раскрыв ноты Уголовного кодекса...

Оставался последний трешник, когда позвонила Елена и предложила писать текст к ее фильму. «Какому фильму?» — удивился я. «Старик Кащеев,— был ответ,— два месяца обжирался лягушками в Париже. Отснял длиннющий фильм про традиции коммунаров, красный пояс, черные подвязки и прочую муть. Эдакий бородатый коммунистический бордель. Шлюхи поют «Интернационал» в приемной венеролога, пролетарии всех стран уединяются. В его фильм влезет не больше половины. Обрезки он отдает мне. Нужно слепить что-нибудь безобидное, видовое. Просек? Ты пишешь текст».



В Останкино я работал впервые. Телецентр строили долго, оборудование и отделка были заграничными, но, как всегда, чего-то недокупили или кто-то намудрил

с поставками, и в огромном здании не работали воздушные кондиционеры. Днем еще кое-как тянула по трубам хилая вентиляция. У ее решеток висели самодельные бумажные занавесочки. Когда шевеление газетных полосок прекращалось, начиналась паника. Но по ночам и эту вентиляцию отключали. К трем утра мы совершенно взмокали, и приходилось спускаться вниз на улицу подышать. «Сволочи! — рычала Елена. — На нашем этаже уже три инфаркта было. И все молодые. У начальства же все фурычит нормально». Она выросла в знаменитом детдоме, где начальство однажды дружно пошло под топор. Что они там вытворяли с малолетками, рассказывать она не любила, но про директора говорила: «Маркиз дед-сад...» Была она мужиковата, крепко сбита, вечно в брюках, окончила два факультета: философский и кинематографический. Коллекционировала чудаков, знахарок, наивных философов, задвинувшихся художников... С ее легкой руки друзьям удавалось посмотреть то, что никогда не вылезало на официальный экран. «Слушай, — рассказывала она, — он клевый чувак, был в дикой депрессухе. Жена, китаянка, времен дружбы народов, умерла от рака. Пил как на работу ходил. Опустился. Стал забывать простейшие вещи. Тогда ее мать, старше его лет на 15, стала с ним жить. Теперь у них потрясающая любовь. Он написал трактат о пуговицах. Не смейся. Каждое общество застегивается по-своему. У египтян были заколки, костяные палочки, у персов чуть ли не бубенцы...» Я не знал, про кого она говорит, все ее рассказы составляли для меня одну бесконечную ленту одинаково сумасшедших историй. «Пусть напишет вторую часть. О том, что расстегиваются все одинаково. Это наведет его на очень несвежие мысли...» Она бросила курить, поэтому затягивалась от моей сигареты. «А бородач в соседней монтажной? — продолжала она в лифте. — Ты его видел? Он монтирует какую-то сказку второй год! Никак не может сложить вместе своих леших и богатырей... По-моему, он давно поплыл... Сказал на совете, что спящая красавица безнадежно фригидна... Думаешь, мы закончим до Нового года?»



Рядом с телецентром был громадный парк имени одного из вампиров. Пруд давно уже подмерз, но в полынье еще плескались утки. Шпана гремела диковинными игровыми автоматами. Милиционеры запихивали в машину вдребезень пьяного дядю с разбитым лицом. Удравшие с работы телевизионщики опохмелялись из больших запотевших кружек и крыли чем попало главного — с первого числа были запрещены для женщин брюки, а сильному полу было велено сбрить бороды. «Маразматик! — неслось из пивного бара. — Он что, хочет на колени позырить? Я бы ему зад показал, лишь бы успокоился. Кремлевский родственничек... Все ему море по колено...» Кружился мелкий сухой снежок.



Нам было по пятнадцать. У Кисы чернели лермонтовские усики. Я курил дедовскую трубку. Мы выходили прошвырнуться по Броду. Навьюченные, пугливо озирающиеся колхознички пробирались в нарядной толпе столичных фланеров. Грузинские мальчишки хватала за руки блондинок. Узбекский король пик жирно вываливался из такси. Две неопытные девчушки, согласившиеся выпить с белобрысыми близнецами-лейтенантами, мялись у дверей «Российских вин». У телеграфа длинный пикап криво стоял в запрещенном месте: знаменитый поэт ловил на ржавый крючок официальной славы очередную простушку; лицо его было деланно равнодушно. Мягко вздыхали тяжелые двери подъездов. Генеральские жены и любовники балерин спускались вниз купить букет черемухи или шоколадный торт «Отелло». В неожиданных прогалинах тишины раздавались удары кремлевских курантов.

Где-нибудь у витрины Елисеевского магазина Киса хватал меня за руку: «У газетного киоска. Парочка. Она в шляпке, он с портфелем. Давай дальше...» Это

была игра. Я должен был описать, как выглядела худосочная дама в сиреновом мятом платье, как ее супругник возился с портфелем, запихивая в него журнал с розовощеким пороссячьим президентом; портфель кусал пальцы, журнал корчился, морщился и гримасничал царь Никита на обложке «Огонька». Игра включала в себя все: проехавшие машины, их марки, прохожих, витрины магазинов, кошек и собак, детские велосипеды, цветочные клумбы, инвалидные коляски, пуговицы пузатого генерала... Она уплотнялась до еще более мелких деталей, требовала цвета, цифр, и с первого плана перескакивала в провалы переулков, миражи проходных дворов, оазисы скверов. Иногда, поспорив, мы летели на полквартала назад и, ошарашивая какую-нибудь приличную даму в изъеденной молью накидке, набрасывались на ее товарку. «Что я тебе говорил? — вопил Киса.— Крашенная в зеленом! И шеи совсем нет!»

Игра кончилась, когда я бросил школу и ушел из дому. Но привычка осталась. Я легко раскладывал на детали целые фильмы; пугал мать подробным описанием сервировки стола у тетки Евдокии на прошлой Пасхе; запоминал не адреса, а повороты улиц, спины заборов, надписи на них, гроты подъездов, морды лифтов... Привычка оборачивалась и против меня. В самые неожиданные моменты почти со щелчком включалась память и с садистской настоятельностью подсовывала лицо с совершенно лысыми глазами (обмороженное окно электрички, день, когда я узнал, что у матери рак) или упорно повторяющийся эпизод с дракой во дворе: длинный алкаш, загребая руками, падал на черный лед и его череп с арбузным треском раскалывался — от расплывающегося пятна на льду шел ровный пар.

Во время первых столкновений с Галиной Борисовной умение схватывать окружающее не раз выручало меня. К сожалению, многие из них прекрасно знали игру и были оттренированы не хуже.



Разобрать по крупицам парижские отрывки не составляло труда. Я не думал о незаконченной главе. Днями и ночами просиживая за монтажным столом, я пытался проломить железобетонный целлулоид и просочиться в мир, запертый на замок. Что можно было найти в буках про Париж? Ни черта! В лучшем случае Эйфелеву хреновину с Триумфальной аркой. Но жизнь улиц, кафе, рынков, набережных, ночных заведений, смеющихся толп, бесконечных потоков машин,— жизнь, которая хлынула с крошечного экрана, была под запретом. Во времена Никиты на экран проскочило несколько хроникальных западных фильмов. Появилась марсианская Америка. Мелькнул и Париж. Но толстощекого ниспровергателя ниспровергли. Фильмы исчезли. Писатели, дотошно и сладко описывавшие гнилой Запад, получили по шапке. Их книги исчезли из библиотек. Для торжества оглупления нужно было лишь одно: не знать. Еще лучше было знать то, чего нет. И уж обязательно — заставить замолчать тех, кто знал. Корявая истина сонных будней. Все это впервые пришло мне в голову. До этого я пользовался словом «бред». Теперь становилось понятным, почему любой снимок из заграничной жизни действовал как замедленный взрыв.

Я работал над доцензурным материалом. Возможности, хоть в далеком будущем, своими глазами увидеть иной мир не было. Для этого нужно было начинать мутировать: вступать в партию, терять рудиментарные признаки, делать карьеру, проявлять лояльность, пить с шефом и, ругая в узком кругу всеобщее непотребство, медленно приближаться к щели в чугунном занавесе. Шестое советское чувство в полутемной монтажной работало на всю катушку — я впитывал мельчайшую влагу, сочащуюся через поры запретов. Как и другие, я реконструировал запрещенную реальность лабораторно.



Целый месяц из жалких драгоценных лоскутков мышили парижское одеяло. Не хватало парадных планов. Судьба самых живых сцен была недвусмысленно под угрозой цензуры. Уже были выброшены в корзину уличные рынки с их немислимим выбором жратвы и, по той же причине, ночные ресторанчики под вангоговским небом. Елена останавливала какой-нибудь крупный план, и мы с полчаса гадали над снедью: что есть что? Это было так далеко от жизни, как дореволюционная поваренная книга. Мы знали, что были людьми Оруэлла,— книга, за хранение которой давали трешник, была прочитана; джина «Победа» не было, зато был коктейль «Красная Москва» и котлеты «Залп Авроры».

Несколько отрывков не проходили из-за дрожания и соскальзывания — оператор был вечно пьян. Я раздобыл карту города и красным отчеркивал опознанные места. Довоенный посол, подмороженный пятнадцатью годами Сибири, согласился однажды прийти и прокомментировать материал. Слово он сдержал и сидел с погасшей трубкой, и губы его тряслись, и он безрезультатно тыкал пальцем то в выходящих из метро горожан, то в накренившуюся панораму Трокадеро. Щеки его намокли, и, когда речь прорвалась, это был французский, захлебывающийся поток французских слов. Единственное, что мне из него удалось вытянуть,— имена неизвестных мест. Выговаривал он их так, что они били крыльями и гулили; пришлось подсунуть блокнот. Мы сидели рядом: он, оплакивающий свою молодость на лиловых бульварах, и я, честно воруящий строительный материал. Посол, так и не вернувшийся в лоно родного языка, уходя, сунул мне синенький гид «Эр-Франс» и дореволюционную брошюрку с отличными мертвыми фотографиями. Позднее, когда улицы и площади перестали кружиться у меня перед глазами, когда публика расселась по местам и гарсоны забегали как заводные, я пришел к выводу, что ничего, кроме форм машин и фасонов

шляп, не изменилось. Толпа все с тем же замороженным видом плыла мимо террас Сен-Жермен, так же, обнявшись, стояли парочки на мостах, и у решетки сада бродяга китайским драконом пускал огонь изо рта. Это был город, из которого выкли время.



Никита жил за гостиницей «Пекин», за его гэбэшным западным крылом. Великий недоучка, он во все влез понемногу. В английский язык и теннис, верховую езду и каратэ, электронику, медицину и джаз. Он был шармер кавказских кровей, хорошего роста, персидской мягкости, с громадными кулачищами и солиднейшим удом. Никита одевался по-американски, а поэтому знал всех фарцовщиков центра. От корифея Понта, сдавшего однажды макаронникам целую пачку облигаций сталинского займа, до новичков с Тишинского рынка, где дипы отоваривались парной телятиной и фуфловыми сувенирами. В столице нет ни курсов каратэ, ни джазовых клубов, ни доступных теннисных кортов. Нет в столице и батников, блейзеров, гейзеров и шузни с разговорами. Никита жил на несуществующей территории, но, если говорить серьезно, на поверхности в Москве вообще ничего не происходит, весь город давным-давно зарылся под землю. Отцы-правители, псы-опричники или юродивый люд — все живут не открыто и громко, а по секрету и как-то боком... Хорошая японская фамилия — Как-То-Боком... Но стоит лишь однажды покинуть плоскую, залитую отвратительно желтым светом московскую сцену и нырнуть за тяжелый пыльный занавес, как сразу появляются пряничные дачки с саунами, подвальчики, набитые семгой и икрой, уютные гостиные, размалеванные Малевичем и кондовым Кандинским, конечно же — теннисные корты, глухие джем-сэшн<sup>1</sup>, девочки на продажу, мальчишки-кого-прирезать?

<sup>1</sup> От *англ.* jam session — совместная импровизация; традиционные творческие встречи джазовых музыкантов.



платные гуру, чемпионы черного пояса, плантации конопля, банды гениальных поэтов, скромные научные семинары по ведьмоводству, личные советники господинна лажевой промышленности и так далее, до среднеазиатской мафии, до альтернативного правительства, до самосожженцев на Красной площади.



Язык Никиты был великолепен. Это была сорокаградусная настойка русского мата на гербовых пуговицах, срезанных с пиджака заезжего коммивояжера во время балета в Большом. «Я срубил такое дерево!» — означало ни мало ни много новую девицу, заарканенную вчера на Броде. Брод был Бродвеем, то есть верхней частью улицы Горького. Про таланты отловленной девицы высказывалось следующее: «Дети, эта герла факается аки тигрица...» Но он был ребенком по сравнению со своими младшими братишками, пасущими иностранный люд у дверей гостиниц, в закрытых ресторанах, в брюхах такси. Многие из них, быстро набирающие деньги, быстро садящиеся, быстро заменяемые точно такими же новичками, были невесть почему с Украины. Тогда смесь украинско-русско-английского сленга с цветными блестками французского давала такие перлы, что лингвисты всего мира попросту теряли время даром, вычисляя новоречь механического апельсина третьей мировой заварушки. «Чувак, — мог сказать какой-нибудь кудрявый Стасик, — как у вас шузы шайнуют! Класс, чувак, формадабль! Уступите? Промежду-апропо: есть вайтовые трузера в блэковую страйповочку...»

Никитку, студента Института международных отношений, сбила на лету великая, как он ее называл, женщина. «Она, — пояснял бывший студент, — заставила меня взять лампу и обследовать всю ее топографию миллиметр за миллиметром. До этого, — продолжал он, — я не греб баб, а бегал стометровки. Главное было — отстреляться. Эта же ведьма научила меня

замедленному спуску с Джомолунгмы. Мы не вылезали из койки неделями. Ее муж, лифтер в правительственном доме, а на самом деле обладатель одной из самых роскошных в Союзе коллекций старинных монет, давно отученный от ревности, тут кругами забегал по городу с выменянным у Игоря Олина за кожаную куртку грузинским кинжалом, завернутым в «Литгазету». Кончилось тем, что у увядающей красотки начался невроз сердца. С болью меж ребер и тоскою меж ног она была увезена в больницу своим нумизматом. Газетку с кинжалом он забыл на столе. Меж ее лиловых складок я навсегда похоронил,— заканчивал Никита,— надроченные юностью комплексы. Мерзавка пыталась вернуться. Я жил тогда с Нинкой-балеринкой, которая вертелась, как пропеллер. Теперь Нинка, господа, сидит и будет сидеть еще три года: девушка была из несерьезных, ушла из квартиры всемирно неизвестного тенора с часиками на лодыжке... Мадам ловила меня в лофтах<sup>1</sup> и лифтах. В итоге мы встретились в метро. Последний поезд бегал по кольцу. Она уселась на меня сверху в расстегнутой шубе. Снег таял на ее лисьей шапке и, стекая по шее и груди, смешивался с тяжелой розовой пудрой. Проскакав четыре станции, она кончила под голос водителя: «Поезд идет в парк, освободите вагоны...»



Отца его, занимавшего высокий пост, «по ошибке» шлепнули бериевские мальчишки незадолго до хрущевского переворота. Из института его вышибли все за ту же пьянку. Он подрабатывал грузчиком в магазине для дипов, то есть был человеком бесценным, но все больше и больше склонялся к переводу неконвертируемой родной валюты в грины и фунты лиха. Мать его предпочитала жить в Армении, и правильно делала: в московской квартире был форменный притон. Малооде-

<sup>1</sup> От *англ.* loft — чердак.

тые девицы со скучным видом слонялись из комнаты в комнату; никому не известный тип отливал на кухне в раковину, ссылаясь на то, что ванная занята. И правда, из ванной доносились звуки не то мордобоя, не то очередного соития. Входили и уходили озабоченные личности с жирными свертками. Надрывался скелет телефона — корпус били так часто, что хозяин больше его не менял.

Время от времени все затихало. Никита, чисто выбритый, в белоснежном дырявом халате сидел под торшером, перетягивая струны максплеевской ракетки. Домработница тетя Клара, помнившая Никитку еще бесштанном карапузом, охая, мыла пол. Магнитофон, тоже без корпуса, прокручивал курс английского языка. Холодильник был забит пакетами с молоком. Вытащенные из-под кровати сверкали гантели. На стене, приклепленный, висел подробнейший план благотворительных акций. Там значились и небольшие пробежки вокруг Патриаршего пруда, и посещение тетки Маргариты в партийной богадельне, и выплата долгов, и письма матери, и даже нечто из ряда вон выходящее, звучащее как «шавасана», — в полдень и перед сном... Так продолжалось неделю, от силы две, а потом, в один прекрасный вечер, квартира каруселью срывалась с места.

Двадцать четыре часа в сутки вход к Никитке был свободный. Дверь не запиралась. Оставшиеся от роскошной жизни ковры и фарфор постепенно исчезали в комиссионке. Хорош был Никитка в драках: в нем вдруг вспыхивала мальчишеская удаля, и так как больше всего в нем было ног, то ими он и дрался. Правда, мало кто лез против его кулачищ. Бить его старались втроем, вчетвером. В серьезных случаях, когда выскальзывал вдруг из рукава пускающий лунные зайчики с того света нож, Никита со вздохом сожаления вынимал из заднего кармана крошечный в его ладони браунинг — все, что осталось от легендарного папаши. Публика линяла, не подозревая, что в обойме прописана одна-единственная, выдохнувшаяся, быть может, пуля.

Накатывали армянско-грузинские родственники: сделать в столице закупки, наладить связи для подрастающих детей, перекупить лотерейный билет с машиной. Привозили корзины немислимых для зимней столицы фруктов. Кухня заваливалась виноградом, орехами, урюком. Чистейшая, домашней перегонки, чача завозилась всегда в одной и той же пятилитровой канистре. Горьковатое вино, сыр сулугуни, похожий на заплесневелый манускрипт хлеб лаваш собирали друзей. Никита готовил в огромной кастрюле мимоходом выдуманное блюдо, отправляя к шипящим в масле помидорам скончавшихся в малолетстве цыплят, орехи и сливы. Друзья щипали с уважением кинзу или тархун, дурели от шестидесятиградусной чачи, а Никитка, большим пальцем ноги запуская на всю катушку Фрэнка Синатру, из рук очередной девицы принимал серебряную чарку. Был он ходячим кладбищем талантов и, словно судьбе назло, тратил себя впустую.



Я нашел его в спальне. мрачно уставясь в потолок, он смолил козью ножку травы. «Разгоню всех,— прорычал он.— Квартиру запрю. Писюшек отправлю к китайцам. Хочешь курнуть?» Я затынулся. Трава круто забирала. «Чего мрачный?» — спросил я. «А-а-а,— был ответ,— пойдем тьянем». Мы перебрались на кухню. «Ты джин без тоньки могёшь?» Мы врезали по можжевеловой. Смех сквозь слезы, история его на этот раз была проста: он решил восстановиться в институте. Созвонился с отцовскими приятелями, которые в свою очередь созвонились с ректором института. Тетя Клара отутюжила фланелевые брюки, пришила пуговицы на пальто. Никита, напялив для солидности роговые очки с простыми стеклами, набив портфель порнягой, которую он собирался сдать старичку-страдателю в буках на Средтенке, отправился на переговоры. Все было чин чинарем. Ректор вспоминал отца, чуть ли не дороги Смоленщины, пускал слезу, клялся, что понимает, что сам был

«зелен и переперчен»... Никита поддакивал, протираал очки и в нужный момент вставлял, что давно в завязе, что много занимается, что проблем с ним не будет. Пришел секретарь парторганизации, тот самый, которого Никитка перед исключением лорнировал после собрания о международной напряженке — в те времена у него водился лорнет из перламутра на шелковом шнуре. Старый хрен постарел, но, судя по остановившемуся вдруг на протираемых очках взгляду, идиотскую шутку не забыл. Пришел и секретарь комсомольской организации — лощеный хмырь из новеньких: галстук цвета протухшей семги, набриолиненный пробор. Декан, он же ректор, он же маршал Советского Союза, объявил им, что студент Лисаян будет восстановлен в гражданских правах после отбытия трехлетней ссылки. «Время было около семи вечера,— продолжал Никита,— и мы всей кодлой спустились вниз. Я стоял паинькой со взрослыми дяденьками и делал умное лицо. И вдруг сзади меня обдало винным перегаром и мягонькие ладошки закрыли мне глаза. Твою мать! Пронзительный голосок Алиски на всю площадь грянул в мое ухо: «Ба-а-а-а-бец подкрался незаметно! Угадай!» Я чуть не прибил ее на месте. Обернулся — стоит и качается в расстегнутой шубе, на сиськах полукилограммовый крест; жирно намазанные губищи, которыми она отсосала пол-Москвы, расплзаются. «Мальчики,— говорит,— аца хоца!.. и водочки!..» Все. Привет институту. Хотел я ей карточку, дуре, попортить, а потом плюнул — судьба-злодейка...»



Зашел фарц по кличке Понт. Лебединога цвета пальто, волчья шапка размером с аэродром. Понт не пил. Он сел, аккуратно сложив ножки, вынул из пачки «Мальборо» «Яву», щелкнул «зиппо», заправленной коптящим бензином, и сообщил: «Взял бундеса у «Берлина», ченжнул еловых на гриновые, но еле ноги сделал — пасут нынче по-черному». — «Тебе чего,— спросил Ни-

кита,— сдать надо или у тебя мировая скорбь и тебе бабца надо?» — «Именно», — отвечал Понт. «Сисясто-го?» Понт опять кивнул. «Скромный наш герой...» — сказал Никита и карандашом набрал номер. Не подошли. «Нет твоей Козы, трахается или спит». Коза была продавщицей из овощного. Давала хоть в телефонной будке. Ей было чуть за двадцать, но она уже расплзлась, как старый чулок. «А Лидка?» — вздохнул Понт. «Лидку я разогнал, — сказал Никита, — она нашему участковому, даде Ване, триппака устроила забесплатно. Может, и ты хочешь?»



Иногда Никитка брал меня «на посмотреть». В первый раз это была драка. Знаменитый Семен по кличке Берем-и-Едем вызвал Никиту на драку. Спорили на двести рублей. Уговор: ногами не драться. Мы встретились в подземном переходе на Охотном ряду. Берем-и-Едем был упакован в кожаное пальто, бандитская его рожа расплывалась в улыбке. Специализировался он на перепродаже западной электронной техники. От калькуляторов до холодильников. И на ремонте, которого в столице мира не было и в помине. Кличка Берем-и-Едем появилась из его привычки клеить девиц. На улице, в метро, в гостях, увидев подходящий кадр, Семен, не задумываясь, вклинивался без предисловия: «Ну что? Берем бутылку и едем ко мне?» «А что время тратить? — удивлялся он.— Результат один и тот же всегда, только трепа вагон с прицепом...» Когда-то он скооперировался с Никитой — шло доставание и перепродажа сигарет, скотча, оливкового масла, колбас, печенья и шоколада из валютки. Потом братья-разбойники не поделили какую-то пригородную королеву, про которую Никитка сказал, что из нее вполне можно было настрогать штук шесть вполне годных бабенок, и вся любовь...

Дрались во дворе на Петровке, возле стены бывшего императорского яхт-клуба: косой снег, мгновенно

смывшаяся, от греха подальше, парочка, тусклые желтые окна. Потом заедали снежком разбитые губы, смеялись, курили. Выходило, что никто не победил. «Я тебе, честно говоря,— хрипел Никита,— по старой памяти и врезать-то прилично не могу...» Берем-и-Едем снова нацепил на пальцы честно снятые кольца и повел нас в котельную напротив. Кисло пахло трубами, за столом сидел человек с воспаленными глазами и ветхозаветной бородой. «Гений! — сказал Берем-и-Едем,— нечеловеческих сил гений. «Войну и мир» пишет...» Гения я знал, раньше он зарабатывал, вкалывая эксгуматором — внештатным, потому что на этом месте числилась здоровенная ряшка, за десятку дававшая долбить январскую земельку хилым студентам-гуманитариям. Гений продержался на трупах несколько зим и накупил из-под полы кучу великолепных, посадочных книг. Я приходил к нему выкупать выкраденного у меня Ницше. Гений не торговался и отдал за половину не существующей официально цены. Писал он рассказы из деревенской жизни: избы, Фёклы, волки, жирно распаханная земля, лешие и председатели колхозов в состоянии хронического запоя. В деревне он никогда не был. «Но тянет, старик, к земле,— объяснял эксгуматор,— неодолимо тянет...» Мужики у него говорили в рассказах несуществующим величаво-неграмотным языком. Теперь, оказалось, он и вправду писал «Войну и мир», вернее, переписывал Толстого, меняя князей на секретарей обкомов и Наполеона на Гитлера. «Потрясающе проявляются, старина, параллели!» — уверял он.

Дуэлянты умылись ржавой водицей, гений заварил чайку и выставил нам свой единственный стакан. Сам он пил из крышки графина. Ни Семен, ни Никита к чаю не притрунулись, жгло разбитые губы. Криво усмехаясь, похлопывая друг друга по плечу, они договаривались о поездке в Среднюю Азию за серебром. «На рынке в Бухаре до сих пор можно за гроши купить тонну браслетов и колец. Если в Москве хорошо перепульнуть...» — разгорался Берем-и-Едем.



В Никите пропадал актер. Из окна его старенькой «победы» я наблюдал, как он в длинном, глухо застегнутом пальто, с «никоном» на груди (пустой чехол), поджидал кого-то у дверей гостиницы «Россия». Время от времени он посматривал на часы и поджигал гаснущую на ветру «партагас». Дежурные мальчишки из отдела по борьбе с валютчиками подкатывались к нему прикурить или спросить время — типичная мулька, чтобы по акценту выпытать, кто перед ними. Никита был безупречен. Кавказская мягкость движений ничего общего не имела с легко опознаваемым полиомиелитом сов. Его малость синкопированный английский, конечно же, гарантировал наличие в дырявом кармане штатского паспорта. Агенты сваливали. Удобнее разваливаясь в его драндулете, я вспоминал лекции по маскировке. «Главное, мэн,— поучал Никитка,— это носки и шузы. Обычный начинающий, как только разделет своего первого иностранца, тут же напялит джинсы и с наглым видом топает на второй заход. Вестимо, тут же и получает по черепу. На тебе могут быть какие угодно брюки или пальто, но шузы, носки и галстук должны быть стопроцентными». Я ему советовал открыть школу. «Не-е-е, старый,— отвечал он,— меня тошнит от молодого поколения, они основали самоструг и ходят в самодельных «лейвисах» с нашитыми на жопу настоящими этикетками или в домашнего производства блейзерах<sup>1</sup>, в которых за километр без очков узнаешь липу. Мы же настолько хорошо знаем родную фанерную продукцию, что, даже не понимая, в чем дело, отличаем самый дерьмовый западный шов от отечественного, потому что он принадлежит другой технологии... Когда-нибудь появится какой-нибудь грешный и опишет наши идиотские страсти и увлечения западными шмотками, любой нездешней дрянью и объяснит нам самим, что это всего лишь навсего

---

<sup>1</sup> Клубный пиджак.



способ смыться из гнилой, запертой со всех сторон совреальности...»

Что касается самоструга, он же самострел, Никита был прав. Домашние полулегальные портняги наловчились шить «под Запад»: джинсы, американского фасона рубахи, кепи, сумки... Появились люди, умеющие отливать гербовые пуговицы, из драных кошек шьющие нездешние шубы, из контрабандной кожи — куртки и пиджаки. «В Москве стали лучше одеваться», — сказал французский журналист. Ха-ха! Лучше! Мы наполовину раздели заезжих иностранцев, наполовину сами состряпали западный маскарад.



Ждать приходилось недолго. Никита вдруг как старому приятелю улыбался потерянного вида шведу, заросшему волосами, секунду они трёкали, поглядывая на маковки церквей, и под любовной опекой агентуры отправлялись на променад. Я заводил остывшие останки и переезжал на другой угол. Никита появлялся откуда-нибудь из подворотни, на лету, принимая его за иностранца, прилеплялся сопливый любитель жвачки, Никита посылал его куда подальше, «кто не работает, тот не жует», и мы катили, проверив хвост, в ресторан «Пешт», где перед входом маялась очередь скучных богатеев, не знающих, как сунуть швейцару трешник. Никита проходил через соседний подъезд отеля, толкая меня перед собою, как бедного родственника. Через минуту мы уже сидели за столиком с по-деревянному накрахмаленными скатертями, а через пять нам уже тащили водочку, икорку, жирно-золотистые балыки и дымящуюся адски наперченную солянку. Официант Сеня с напрочь пропитым лицом трясущейся дланью разливал по хрустальным рюмкам водку под ненавидящими взглядами соседних столиков: население ожидало заказа добрый час. В разгар пиршества Никита бросал салфетку и уходил в уборную, где облегался от выпитого, а заодно и от двухсот долларов, перекуплен-

ных у шведского сторонника немедленного разоружения. Официант брал зелень по курсу от трешника до четырех — в зависимости от ситуации на Лубне и в Белом доме. В дальнейшем Сеня пулял грини клиентам, отправлявшимся на обреченный Запад. Члены делегаций, участники обществ по борьбе с ..., просто тузы, имеющие шанс выбить визу, особой проверке не подвергались. Возвращались они с товаром: что-то для себя, что-то на продажу. Проданное окупало рестораны и утети. Мельница вертелась отлично, но Никита не любил уличную работу. В дальнейшем на него работали центровые девочки, приводившие в гости свеженьких иностранцев. Любители приключений тянули водочку, как «кюрасо», присматриваясь к раскрепощенным навеки Светам, Нинам и Тамарам, а друг дома Никита, достаточно поговорив о нефтяном кризисе и закате Европы, грязной политике и чистой материи, устраивал свой небольшой ченж<sup>1</sup> или договаривался о новой встрече, обещая, с трудом конечно же, раздобыть икону, лапти или истинного Фаберже. Договорившись, он сматывался, командуя румянощекиим акулам: «Ближе к телу, красавицы. Стране нужна твердая валюта...» «Ты балда! — поучал он меня. — Что ты гниешь за несчастные пару сотен целый месяц? Работай со мной: у тебя же есть кое-какие связи с дипами? За один заход заработаешь столько, что можешь хоть год жопу греть в своем дерьмовом Коктебеле, ну?» Он спохватывался, что треплется в ресторане, перескакивал на что-нибудь безобидное, а я, закосев с мороза, рассматривал старого приятеля — Бена, наркомана, звезду, кретина, который на небольшом помосте за концертным «стейнвеем» лабал для себя одного что-то из Питерсона. Бен — Вениамин Иванович — кончил консерваторию, но после того, как его жена осталась на гастролях («на вечных», — острил он) в Японии, сел на иглу. Рахманинов и Скрябин, которых он играл на выпуске, были прямой дорожкой к кулу<sup>2</sup>, и, попадись он вовремя

---

<sup>1</sup> От *англ.* change — обмен.

<sup>2</sup> Направление в современном джазе.

понимающим людям из Гринич-Вилледж, он сделал бы феерическую карьеру. Увы, Бен попался не им, а старому педриле дяде Моне, который сделал из него ресторанного тапера, морфиниста и кокаинщика. Моня вскоре уселся и стал лагерной дамой, а Бен остался ресторанной принадлежностью, как большая хрустальная люстра, купеческие фрески или бассейн с живыми карпами, которых отлавливали сами посетители, что было, конечно, глупостью, потому что карп через трубу в кухне опять попадал в бассейн, а посетитель получал разогретую рыбешку трехдневной свежести. Разговаривать с Беном было бесполезно. Зная, что сестра моя работает в госпитале, он иногда звонил и глухо сообщал: «Старик, мне конец. Без шуток. Достань хоть одну...» Каюсь, дважды я передавал ему морфин из домашней аптечки сестры...



Ближе к полуночи Никита стал собираться. Понт давно ушел. «Если хочешь дешево купить доску, поехали со мной,— предложил Никита.— Серый привез из деревни целый багажник, хочу запастись...» Я отказался. Одевшись, уже в дверях я спросил: «Слушай, у тебя не осталось что-нибудь из пластинок? Дэйвис, Джимми Гюфри? Кёрк?» — «С ума сошел! — Никита складывал четверо огромную сумку.— Давно все съедено и пропито. Пропили, голубчик, все золотые шестидесятые — от Колтрейна до Коулмена...»



Выкроив вечер, я отправился в Сокольники. Там в военном городке жил маленького роста офицер. Уже в чине капитана, уже бросивший пить, уже собирающийся жениться в третий раз. На спинке кресла висел мундир с синими петлицами, а вся квартира, от прихо-

жей до спальни, была заставлена волшебной-нездешней звукоаппаратурой и пластинками. Капитан был одним из самых знаменитых коллекционеров джаза. Ни эти «акайи» и «дюали», ни пластинки никогда не появлялись в продаже. Однако капитан прекрасно знал, когда и где Телониус Монк играл с Коулменом Хокинсом, в каком клубе это происходило и что сказал по этому поводу толстяк Мингус. Он знал, какая фирма выпускает лучший шэлок, что пишет «Даун Бит»<sup>1</sup> о союзе Орнетта Коулмена с пламенным скрипачом Дэвидом Айзенсоном и через сколько минут, придя с русского мороза, можно было без риска поставить промерзшую пластинку.

Я не любил капитана, но у нас было что-то вроде союза. В столице было меньше двух десятков сумасшедших меломанов, обменивавшихся редкими дисками, джазовой литературой и сведениями, где раздобыть иглу или магнитофонную головку. Почти у всех представителей необъявленного клуба были свои ходы на Запад. Папаша капитана многие годы жил на берегу речушки Гудзон, впадающей, как известно, в Каспийское море. Он не любил Колтрейна и Паркера. Он любил охоту на акул из скорострельной винтовки, и он любил сына. Естественно, он хотел, чтобы сын работал в той же лавочке. Чемоданы с пластинками были платой за мундир с синими погонами. Как-то капитан признался, что его коллекция не тянет на первое место. На первом, по его словам, был Косыгин. «Представляешь, — говорил он, — премьер играет на тенор-саксофоне...»

Я ушел, унося завернутую в газету «Испанскую леди» Джона Хэнди. Я поклялся играть ее только западной иглой. Я обещал вернуть Хуаниту-Кармелиту в состоянии полной невинности. Лучшей пластинки для фильма и нельзя было придумать. Но впереди была приемная комиссия.

---

<sup>1</sup> Джазовый ежемесячник.



Первый вариант текста был зарезан. Увы, я написал его верлибром. Толстозадая заместительница главного лежала в кресле, покуривая что-то американское. Аккуратный мальчик с испуганными глазами, ее секретарь, тербил удавку галстука. Его безукоризненный пробор был похож на заживающий шрам: розовый след от кухонного тесака. Она, голосом, от которого в воздухе оставались жирные пятна, подавала реплики. «Здесь живет наш спецкор Лисицын. А это около Северного вокзала, куда наш поезд приходит... А это, Гудзуев, смотрите, «Тати», давка как в ГУМе, все наши здесь покупают»... Гудзуев, когда заглядывал ей в глаза, весь светился, но, отвернувшись, каменел и украдкой зевал. Я сидел на краю ванны, под ногами была гравийная дорожка, вокруг были расставлены барабаны, стиральные доски — просмотр шел в цехе звукозаписи. Голос мой мерзко срывался. Я пытался читать солидно, с достоинством, но с ужасом слышал какие-то волчьи завывания.

На втором просмотре Гудзуева уже не было. Партийная богиня возлежала молча. Фильм шел двадцать две минуты. Когда зажегся свет, она впервые повернулась ко мне, разлепила пошире заплывшие глаза и сказала: «Вы автор? Слушайте, не надо эту чепуху про «жизнь, вынесенную на сцену улицы»: нашему зрителю это неинтересно. Тунеядцы просиживают зады день и ночь по кафе и ресторанам. Дайте больше контраста, простых людей... Неважно, что их нет в материале, обыграйте их отсутствие... Студентов категорически снять. Сами знаете, что они недавно творили...» — «Но,— заикнулся было я,— как же снять про сцену? Вот ведь и у Бальзака... Какое там! Еще у Монтеня! Париж ведь большой уличный спектакль, деревенские нравы столицы...» — «Когда вы последний раз были в Париже?» — вместо ответа спросила она, грузно выходя из кресла.



За неделю до Нового года фильм приняли. Изменять ничего не пришлось. Улица осталась сценой, и парижане сидели в счастливом *dolce farniente*<sup>1</sup> на плетеных стульях бесчисленных террас. Джон Хэнди пилил свой сакс, как цыган на ярмарке скрипку. Я получил гонорар, мы распили в баре с Еленой и режиссером из соседней монтажной бутылку крымского шампанского, того самого, от которого гарантированно разламывается голова, и режиссер, оказавшийся славным малым, поведал нам свое киногоре. Он делал фильм и вправду второй год — что-то вроде «Спящей красавицы» в сибирском варианте. Проблема заключалась в том, что сказку политизировали и добрый молодец, который в нормальном фильме разбудил девицу, постучав кое-чем о хрустальный гробик, теперь был заменен эдаким комсомольцем XIV века: с пламенными глазами и речами. Он-то и должен был сагитировать девицу не сачковать, а проснуться к чертям собачьим и приступить к активному участию... «Кроме прочего,— грустно сказал режиссер,— меня попросили исключить всех отрицательных героев. Когда же я сказал, что драма, а значит, и действие не могут строиться без конфликта, мне указали, что времена меняются и конфликт вполне возможен меж положительными героями». Нашим детям на ваших фильмах воспитываться, сказали ему, а чему их могут научить колдуны, ведьмы и лешие? «Резон,— сказала Елена,— у нас тоже есть для вас, дядя, история. Видели наш Париж? Так вот, сегодня уже рассказали анекдот: «Сидят двое в кафе. Один говорит: «Опять в Париж хочется». А второй спрашивает: «А ты что, уже был?» — „Нет,— первый отвечает,— уже хотелось...“» «А действительно,— сказал режиссер,— из вас кто-нибудь был?» Мы с Еленой заржали: «Нет, конечно...» — «А я был,— грустно сказал режиссер,— и вернулся на неделю раньше. Не выдержал...» — «То есть как?» — обалдела Елена. «Так,—

---

<sup>1</sup> Сладком ничегонеделании (*итал.*).

сказал режиссер,— это все равно что из тюряги выйти на полчаса. У меня в Москве осталась жена и ребенок, да я и не собирался делать ноги, но шляться среди нормальных людей в этом сумасшедшем городе и знать, что ты обязан вернуться и что, скорее всего, никогда опять не получишь шанс... Даже не так... Ты гуляешь, как на веревочке... К тому же мы должны были ходить группой, вся делегация. Круговая порука. Если что случится, отвечают все. И мы, как идиоты, друг за другом смотрели. Денег нам поменяли в обрез — ходишь как идиот и облизываешься. Все есть, и ничего нельзя. Один кретин из Новосибирска, не знаю, как его примазали к делегации Мосфильма, разглядывая жратвой забитую витрину, заявил, что это пропаганда, показуха... Но главное — люди, которым до наших проблем... которые делают, что хотят... Короче, я сослался на давление, и меня быстренько отправили назад. За решетку, мерд<sup>1</sup>, как говорят французы».



Мы допили шампанское, и я отправился отсыпаться. Снилось мне в том белыми мухами съеденном декабре одно и то же: синий нездешний вечер, драгоценный свет бесчисленных лампионов, золоченые ворота сада,obelisk посередине площади, кружение машин да чья-то летящая накидка, чья-то широкополая шляпа, придерживаемая рукой, уплывающая в сторону моста. Сон повторялся, площадь Согласия подменялась грязной улочкой, заваленной цветными обрезками, у стены скучали черные чулки, появлялся крест монтажной отметки, а впереди мелькала все та же развевающаяся накидка, русые волосы, рука в перчатке. Сон густел, наливался тревогой, и мне казалось, что вот-вот она обернется и в жизни все переменится, что сама жизнь хлынет совсем по-другому.

<sup>1</sup> От *франц.* merde — дерьмо.



Незаметно подошли Крещенские морозы. Стационарный наш пруд промерз до самых пескарей, и по ночам с его стороны накатывались глухие разрывы льда. Как-то утром радио, завтракавшее со мною на пару, сообщило, что таких морозов не было сто лет. Я расхохотался. А подобная бредятина была? А водородные штучки-дрючки? А контейнеры с бактериологическими корчами? А похищения, угоны, всемирное вранье? А запудренные вдребезги мозги миллионов? А заложники? Их же, конечно, интересуют морозы... Какой-нибудь заплесневелый бывший комсомолец, имеющий нынче допуск к архивам, пикантности ради выуживает со страниц «Русской Атлантиды» меж строк о готовящемся фейерверке в Татьянин день и размышлениями городского главы о возможных шалостях молодежи на студенческих гуляньях сообщение поставщика мехов при дворе Его Высочества о рекордно низкой температуре в обеих столицах... А где, мерзавец, пушистый беспартийный снежок и горячий сбитень? Где саночки, крашенные кармином? Где гимназистки в беличьих шубах? Где честной люд, в воскресном платье возвращающийся из собора? Сучье племя, до чего же вам удастся подтасовка времен... Нет на свете ничего более протитутского, чем прислуживающий передовому строю журнализм. «Гусарский полк имени Сальвадора Альенде перевыполнил план по сбору триппера в публичном доме Краснопролетарского района столицы... Канцелярия Их Тускнейшества сообщает о присуждении Георгиевского переходящего знамени столовой № 13 города Обьедково...» Проморозили русское прошлое, как стационарный пруд, до зарывшихся в зыбкий ил пескарей...



С институтом заложников, думал я в то утро, может быть, я и не прав. Шантаж этот возможен только из-за гипертрофии чувства человечности. Скажи султану



Ченгизбееву, что если он не выпустит бедного портного Шнеерсона домой в Кесарию, то через час будут расстреляны заложники, захваченные в чем мать родила в здании городской бани, и Ченгизбеев спокойно ответит: «Стреляй, враг своей жизни, стреляй, пока есть патроны, а потом мы тебя шлепнем...» Султан в гробу видел угрозы чьими-то жизнями. Для всеобщего испуга и давления на его контору нужно общественное мнение. А это то, чего в стране давным-давно нет. Есть необщественное мнение и общественное немнение. И все дела.

Чертово радио вывело меня из себя, и пришлось, напялив ушанку, валенки и полушубок, тащиться в лес, к воронам, выгуливать злость.



Я закончил наконец перепечатывать роман, дня три провозился с названием, припелл зачем-то имя дачного поселка: «Станция „Кноль“» — звучало забавно, перекинулся на вульгарное «Прыжок», добрался до чьей-то, в памяти размытой, цитаты про дикий мед, нашу и вашу свободу и мировую тоску, и в итоге дремучей ночью, когда прикатившая из цивилизованной столицы виолончелистка баскетбольной команды консерватории спала, как среднерусская возвышенность, бессонница подарила мне отвратительное «Минус жизнь», после чего я, рассвирепев, поиски прекратил. Первый экземпляр, завернутый в жирный номер «Правды» и укутанный в пластик, был запрятан на чердаке между садовой рухлядью и покончившими в одночасье с жизнью разносолами академика: морозец превратил огурчики и грибочки в кашу рыжего льда и осколков. Девушка застряла на три дня, надышала уюту, наварила щей и в награду воскресным вечером на хорошо протопленной кухне была вымыта мною в доисторическом корыте. До устройства зимней ванной атомный академик не поднялся. Рыжий свет с трудом продирался сквозь клубы пара, девушка визжала и хохотала, увы,

лишь частично погруженная в огромное корыто, а я, совершенно взмокший свинопас, тер розовые лопатки, впивался в горячую мыльную шею, слишком долго занимался ее нежной, с крошечными сосками грудкой и, заговаривая ей зубы сказками из Тантр, Камыс-Утра, а также проделками ойран в Стране восходящего солнца, продирался сквозь потемневшие косички на ее крепком мысе. Несмотря на предварявшие купание вполне гладиаторские битвы в громкой бабушкиной постели, я все же терял дыхание, забывал разбавить горячую воду, мрачнел, делал девочке нечаянно больно и бежал в неожиданно простудные комнаты за купальной простыней, а также попытался, о чем тут же пожалел, донести розовокожую буйволицу до остывшего ложа.

Ночью меня разбудил стук в дверь. Я осторожно освободился от девичьей руки, имеющей привычку и во сне держаться за мои утомленные останки, накинул халат и, прихватив звякнувший бронзовый подсвечник, вышел в сени. Ледяная струя била из-под двери. Стук обернулся грохотом. Есть такие люди, которые обожают ломиться в дом. Нет чтобы постучать, ну, не слышно, тогда посильнее... Эти сразу лупят кулаком. И не то чтобы кулаки у них размером с небольшую тыкву — черта с два! — или сами они косая сажень в плечах... У Сани — дверь глотнула морозу — все худенькое, чуть-чуть усохшее. Дунет ветер у калитки, и занесет беднягу в сугроб. Да вот спасение: на поводке здоровенный бугай — боксер Маша, черчиллевская морда, слюнявая губа, по-детски шухарной глаз. Саня — мой соавтор по разнузданным хохмам и нехорошим анекдотам. «Сегодня мы насочиняли на 65 лет лагерей», — подсчитывали мы, расходясь. Он покосился на подсвечник. «Спишь, что ли, бумагомаратель? Заховался!» Был Саня сентиментально-пьян, давно не брит, в офицерском овчинном полушубке. Трубочка пыхтела в подгнивших зубах. «Что-нибудь случилось?» — спросил я, гремя засовом. «А... — топал он, сбивая снег, — остолбенело все. Дашь политубежище?» Из кармана он уже тянул бутылку «Столичной».

Через полчаса мы сидели в ногах проснувшейся кисоньки с чашками водки, с раскрошившимся сыром, с лихо нарезанной колбасой. «Ханина лишили московской прописки,— рассказывал Саня.— За анекдот. Прямо в очереди повязали чудилу. Говорят, счастливо отделался. Теперь, мол, новый закон. Нечего порочить общественный строй». И он осторожно вытащил из-под одеяла кисонькину лапу сорок второго размера и громко чмокнул в пятку. «Все говно, кроме мочи...» — резюмировал он. Мы сидели в темноте, синий свет сочился сквозь разводы льда на окнах; было полнолуние. «Накатал что-нибудь новенькое?» — спросил я. «Засуха в Сахаре, наводнение в Атлантике, охрангел, боксер Иванов набил руку. Галич и Кривич поехали в Углич. Ни хрена нет. Шлак». Мы зарабатывали с ним одно время, продавая по шесть рублей идиотские объявления на последнюю страницу в юмор играющей, либеральной прикидывающейся газетенки. Последняя наша хохма легла в черный ящик газеты. Все больше и больше мы выдавали непроходняк. «Пишущего пером не вырубишь топором,— опрокинул чашку Саня.— Все остолбенело...» Начали мы года два назад, пародируя официальный язык газетных сообщений: «Подсчитано, что любовники знаменитой актрисы Финики Моти вынюхивают в месяц три литра духов «Последний шанс», в то время как в рабочих кварталах этими духами и не пахнет». Крамола проскочила, и мы регулярно подрабатывали на табак, а иногда и коньячок. Но в последнее время начальство вдруг спохватилось, и на нас поставили крест. Сотрудники шелудиво-шаловливой газетенки к нам относились по-прежнему, но дальше буфета наши шутки не шли. «Ну, мне пора спать,— сказал Саня,— мне утром коммунизм строить...» — «Ты что,— разинул рот я,— на работу устроился?» — «А ты думаешь, я просто так нырнул в проточный маразм? Я теперь нянчу репортажи о стройках, выдрачиваю веселенькие интервью с директорами автобаз, пишу под пятью псевдонимами, эти их мать! Я даже подписываюсь «Ольга Жутковец», и ничего, проходит... Мадам пишет очерки о наших охреневших от счастья

современниках... Где у тебя запасная койка?» Он покачался над кисонькой, издал звук, долженствующий быть свистом, но собака Маша спала, налакавшись водки из блюдца, и отправился на диван, где я навалил на него весь запас летних одеял. «Баюшки,— сказал он,— вы потише, а то у меня комплексы...»

Я уже отчаливал в гости к Морфею, когда услышал его голос. «Знаешь, что такое советская власть? Это коммунизм минус электрификация всей страны... Меня, суки, в Прагу не пустили, на фотоконкурс. Я второе место занял... По черно-белой...»



Золотым, антисоветским по оптимизму утром мы проснулись от выстрела двери. Судя по хрусту снежного наста, деликатные Саня и Маша отправились в лесок на прогулку. Утром телам не нужно прилаживаться друг к другу. Ночь подогнала выступ к впадинке, завела локоть за голову, отпустила руку, куда ей хочется. Кобылица моя не поворачивается, лишь длинно вздрагивает, как от боли вытягивая шею. Трогается с места на третьей скорости колесница, гремят башенки, тренькают бубенцы. Ворона, кэгэбэшница, зырит через лунку окна, но зрение уже гибнет в горячей мгле. Только что было обычное тело, а теперь сплошная мука. Стони, стони, дуреха, сейчас умрем... Эллинские игры это, а не гребля, разрази меня гром за татарское иго русского мата! Кончает она так, что мы летим куда-то в тартарары под треньканье лопающихся струн, под гром литавр. Коленки ее сами по себе подтягиваются к подбородку. Я вгрызаюсь в яблоко ее плеча, в плечо ее яблока... Прощай, жизнь! Здравствуй, грусть!.. То, что я всегда помню между этим проколом в бесконечность и возвращением во взмокшую постель, — это то, что за мгновенной остановкой размытого сознания лежит другой мир. Мы в самой слабой точке жизни. Той, через которую прощупывается смерть. Это она хле-

щет вдоль по хребту огнем другой жизни... «Не шевелиться»,— просит она. Лицо ее, повернутое теперь ко мне, порозовело. На кончике носа капелька пота. Зима кончится. И мы еще живы.



Мы сидим втроем за столом. От чашек кофе поднимается пар. Маша опохмеляется суточными щами. Немножко нервный Саня, положив руку на затянутые в толстенные рейтузы девочкины колени, мудрствует. «Старики,— говорит он,— все хорошие оргазмы разные. Все неудавшиеся одинаковы. Качество оргазма зависит от того, в каком лотосе он взрывается. Лично я лишь однажды добрался до тысячелепесткового. Зато частенько эта электричка, минуя гипофиз, проскакивает прямо в бедные мои мозги и развешивает там немой фейерверк, как в столице нашей родины городе Москве в день всеобщего поражения рабочего класса, седьмого ноября любого года до конца света... Твою мать! Однажды мне попалась смуглая и корявая, как коряга, румынка. Она жила, пала, под моей шпионской рукой и была вся сплошной запретной эрогенной зоной. Когда она кончала, это был последний день Помпеи. Сначала сообщали сводку о грядущей катастрофе, но народ, как всегда, не верил и базлал; потом наливалась светом вздымающаяся почва, а уж далее все заливал огненный поток и румынская подданная вздымалась аж под самый потолок. Я на ней уд сломал. Меня валило ветром, когда я покидал ее шалаш на Балагуше. Мусор на углу глазел на меня, как на сбежавшего из соседнего диспансера туберкулезника. А продавщица зелья в гастрономе, бывшая свидетельницей моих членочных снований за горячим, нагло спросила: «Мозоль не натер?» Саня скормил псине кусок сахару и ухом стал оттирать ей угол глаза. «Но когда я вытащил свой стахановский, все еще дымящийся член перед известнейшим урологом столицы товарищем Ривкиным, он только охнул: я порвал себе уздечку и терял кровь

непоправимо. Туман в мозгах я воспринимал за последствие штурма храма Афродиты в Сокольническом районе, а это была явная потеря красных и прочих шариков... Меня наскоро залатали и надолго запретили подходить к бабам. Шутники! На месте моего либидо была мегатонная воронка, полная дождевой воды».



В конце той же недели неожиданно нагрязнула жена академика. Маленькая, крепко сбитая, она коlobком прокатилась по даче, вскарабкалась на чердак, поохала там на похоронах разносолов и неожиданно оказалась напротив меня в кресле, посасывающая длинный мундштук, что-то мне пытающаяся объяснить... Нужно было трясти головой, освобождая там место для ее чудовищно неправдоподобных вопросов. Да и признаться, несмотря на полуденный час, я спал, когда она прикатила. Короче, пепельница вот здесь, она спрашивала, когда же я намерен официально испросить руку и иные части тела ее крошки, ее малютки... Я не нашел ничего лучшего, да нет, вы меня не удивили, как нагло соврать, что я давно женат и нянчу мал мала троих детей. Чушь, конечно, вздор, но не больший, чем ее собственный. Их Свирепейшество скатилось с кресла и, уже затылком попросив меня не прикасаться к дочке и незамедлительно покинуть поместье, хлопнула дверью. Я видел лишь скунсовую шубу, мелькнувшую в калитке, да зеленый бок литровой банки, прижатой к груди. Где эта карга отыскала уцелевшие от мороза грибочки, для меня было загадкой. Вечером того же дня раза три звонил телефон, но в трубке лишь булькало. Наконец голос прорвался, и, судя по всему, вдребезень пьяная кисонька просила не обращать внимания, простить мамахен, поджечь дачку, срочно приехать, ключ оставить себе... «Дело в том,— сообщила она,— что папенька их покинул. Он нашел себе другую женщину, которая прежде, чем окончательно разоружиться на узаконенной постели, конечно же, дала подписку о не-

разглашении...» Пожелав ей спокойной ночи, я не удержался и спросил: «Как же так случилось, что мышь родила гору? Не кричал ли когда атомный академик в порыве гнева маменьке: «Пелагея! Наша дочь не от тебя!»?...»



Это был мой последний разговор с ныне знаменитой виолончелисткой. Дальнейших, мелькавших вплоть до встречи с Лидией, я с удовольствием перевел бы на номера. Номер один отсутствовала. Номер два была всегда застенчиво-пьяна. Я так никогда и не выяснил: была ли она столь любвеобильна, что успевала промокнуть уже по дороге ко мне, или же красавица, все так же смущаясь, успевала разогреться с кем-то другим... Серенькая, незаметная, входившая боком, уходившая, когда я спал, она исчезла раз и навсегда так же неожиданно, как и появилась. От нее не осталось ни телефонного номера, ни носового платка, ни плохонькой фотографии. Номер три считала себя дамой света. Ее показывали по ТВ. Она мелькала на сцене Большого. В ее хорошо оплачиваемой профессии был грустный оттенок: девочка читала последние фальшивые известия или объявляла о выступлении всемирно известного борца за мир, полковника разведки, господина-товарища Жан-Пьер де Рьянова. Она вызывала во мне, увы, тихое бешенство, ибо имела привычку за полчаса до своего скромного, на блошиный укус похожего, оргазма заводить песенку: «О нет! — раздувала она свои мехи.— О нет! Нет!» Это было так удивительно, что я несколько раз прекращал работу по добыче кленового сиропа и, свирепея, спрашивал, что именно «нет»? Ах, она и сама не знала... Номер четыре и номер пять были сестрами-близнецами. Их угрюмая шутка утверждать, что они никогда не пробовали «этого» друг с дружкой, кончилась тем, что мы провели вместе, не одеваясь, удручающе депрессивный, но все же обогативший, по крайней мере меня, знаниями в определенных областях уикенд в их китчевой квартирке. Девочки не

только были лесбиянками, они были вполне созревшими монстрами. Лишь их фанатизмы пока еще не допроявились в глянцево-черном растворе их сдвоенного воображения. Кто еще? Девица на должности «жены поэта». Кажется, Россия последняя страна, где эта профессия еще котируется столь высоко, о, боги Олимпа и ты, Прокуратура СССР... Соответственно возникает ряд качественных и одновременно бездарных спекуляций. Жена поэта женою никогда не была. Да и сам поэт в своей должности пребывал относительно. Его стихи представляли из себя простейшую формалистическую эксплуатацию канцелярщины советского языка, с помощью повтора доведенной до скоропостижного абсурда. Девица, в далеком прошлом прожившая с поэтом месяц, как говорили одни, и полторы ночи, как уверяли безжалостные другие, играла нынче в московский либертинаж: смесь сексуальной неразборчивости и щучьего аппетита. Я болел гонконгским гриппом, когда она забралась в мою постель. Через несколько дней я оправился от болезни, а она, наоборот, соскользнула в горячечный бред. Я был так отвратительно одинок в том марте, что не шевельнул и пальцем, чтобы отправить девушку восвояси. Я даже позвонил однажды, удивительно синим вечером, самому поэту и вполне непрозрачно намекнул на умыкание блондинки. Но поэт так заерзал и загулил где-то у себя на Зубовской, что я отчетливо почувствовал его страх перед этим маленьким воспаленным созданием. Гораздо позже, совсем в другую эпоху, я встретил ее в подвальной комнате комитета литераторов, Пень-клуба, как я именовал организацию придурков, к которой, впрочем, был приписан. Она, моментально изломав лицо а-ля Пикассо, сказала мне: «Ты знаешь, что я от тебя сделала аборт?» Я ей не поверил. Но даже если это и было правдой, я был бы рад. Большого кошмара, чем иметь на стороне ребенка от совершенно фальшивой — от крашенных волос до биографии — женщины, я не мог себе представить. Единственное, что в ней не фальшивило, — это подвижная, крепкая, как рукопожатие ... Увы, она обросла этим вымученным телом, этой несуществующей историей жизни.





Любитель мгновенных снимков, я, забегаю вперед (или назад, время отсчета никем не установлено), нажимаю курок послушно зажужжавшей камеры, и вот вам на память бледное Рижское взморье, осунувшийся небритый Саня, боксер Маша с теннисным мячом в слюнявой пасти и отрезанная улыбающаяся голова юной виолончелистки, зарытой в песок,— они поженились. Ноги Сани остались за кадром, но я хорошо помню мумию левой и рядом, буквой Х сложенные костыли. Мотоцикл, на котором они в общем-то удачно разбились, был свадебным подарком папаши.



Второй экземпляр я передал Осе Штейну, мальчику лет пятидесяти, балетноляготу, с постоянно воздетыми, доводы разговора в косички заплетающими руками. Еще недавно он был литературным критиком номер один, и выход очередной книжки «Квадратная звезда», где он вел отдел, ожидался с чисто русским читательским трепетом. Осины формулировки были убийственны. «Кузькин,— говорил он, к примеру,— открыл новый тупик в прозе...» Но если он одобрял написанное, можно было спать какое-то время спокойно. «С первой же Нобелевской премии,— предупреждал Ося,— вы мне ставите бутылку “Вдовы Клико”».

Но журнал прикрыли, а Осю, за подписание письма в защиту севшего в тюрьму поэта, вывели из игры. Его книги были изъяты из библиотек, имя перестало появляться в печати, и даже периферийные, годные лишь на заворачивание ржавой селедки газетенки отказывались его печатать. К тому же впервые после смерти генералиссимуса и отца народов отовсюду начали выкидывать евреев, и, хотя у Оси был дядя, знаменитый кремлевский летчик по фамилии Иванов, дела были швах.

«Понимаете, Тимофей Петрович,— мы вечно были

на «вы», — вся штука в том, что советский эксперимент удался... Большинство жвачного населения формулирует ситуацию весьма умно: «Лишь бы не было хуже». Любая попытка улучшить жизнь кончается естественным ухудшением. Феномен заключается в том, что отцы-правители гарантируют члену нового общества жизненный минимум, за который не нужно бороться, как сказал бы прол — «упираться». Но вовсе не задарма. Нужно отказаться от воли. Кстати, на каком еще языке слова «воля» и «свобода» — синонимы? Право на волю, то есть на действие, имеют лишь избранные. Но и их волевые импульсы контролируются. Даже наверху, на трехместном троне, они внимательно следят за действиями друг дружки. И где бы ты ни был, любая твоя свободная волевая акция вызывает у дрессированных окружающих настороженность. Общество устроено так, чтобы незамедлительно гасить любое волепроявление. Отученные самовыражаться передовые граждане впадают в панику, свирепеют от страха при мельчайших проявлениях чужого своеволия. На то должно быть разрешение! Вот формула жизни нашей. Вступив на путь единственной в этой стране — партийной — карьеры, получаешь право на действие. Тебе, однако, постоянно внушают, что это привилегия государства и что если ты сделаешь ложный шаг, то секир башка... Чем выше ты взбираешься вверх по лестнице, тем в большем радиусе тебе разрешают действовать. Чем дольше ты умудрился удержаться наверху, тем больше у тебя шансов сохранить приоритет действия на всю жизнь. Причина проста — за тобою признают развившуюся способность действовать, и тебя безопаснее оставить шуровать в рыбной промышленности, чем вообще вывести из игры, потому что тогда ты можешь развернуть трам-тарарам где-нибудь в малоофициальной области жизни... На этом построено все. Поэтому Сталин убирал оппозицию. Так для остаточного-волевого создавался ГУЛАГ. Ничего нового в наше поддельно либеральное время не произошло. Дали шанс молодым идиотам показать себя. Вроде соревнования: кто прыгнет дальше. Дальше всех прыгнул Солженицын. А по органам воспроизводства не

хоца? А кто еще? И так отобрали целую команду, хором запрыгнувшую за разрешенную черту. Теперь, после выведения пятен на солнце, можно спокойно жить лет пятнадцать, пока подрастет следующее поколение попрыгунчиков. Потом и они получат урок».

Ося перевозил меня в город. Как и я, он жил в пропахшей склоками и капустой коммуналке, но ездил, мерзавец, на довоенном «роллс-ройсе». Все тот же дядя, давно живущий на пенсии и имеющий черную «волгу» с мордоротом за рулем, передал однажды племянничку ключи и полный комплект запчастей. «Не мозоль народу глаза!» — таково было его благословение. Означало оно вполне резонное пожелание не парковаться то и дело возле Большого театра или на улице Горького. «Роллс» был, конечно, трофейных кровей, и дядя в свое время накатал на нем с девочками не одну тысячу километров по родным колдобинам. Но на то он и был славным сталинским соколом, что у него, в отличие от птичек, был собачий нюх. Времена изменились, и в новейшем столичном стиле было совсем не комильфо заезжать за пакетом с амброзией в распределитель на серебряном «роллсе». Мало у кого что есть! Эдак начальник дачной охраны первого заместителя второго министра приедет на танке... Эпоха давно уже настойчиво рекомендовала железобетонную скромность, бронированную застенчивость. «Затыряться и не выпендриваться,— повторял Ося.— Вот чего от нас хочет ангел-хранитель с подрезанными крыльями. Понимаете, мой друг,— говорил он,— никакие аксельбанты и ментики не могут соперничать со спецпуговицами и спецширинками. Партийное пальто — это и есть воплощенная власть. Безлико и пуленепробиваемо. Чувствуете родство с мафиози?»



Иногда во время прогулки или в своей захлавленной комнатухе Ося вдруг посреди разговора делал неожиданный балетный прыжок, разводя руки и углом при-

ставляя правую ногу к вытянутой левой. После чего он смущенно поправлял свои длинные седые волосы, обсыпавшие перхотью мышинного цвета пиджак. «Я, голубчик вы мой, упавшая звезда,— шутил он в таких случаях,— мне пророчили великое будущее. Ан я прыгнул не в ту сторону...» Жил он анахоретом, единственное, что я знал, что у него была невеста, что она умерла при каких-то драматических обстоятельствах, что он носил траур три года, не брился, не стригся, ежедневно навещая ее могилу на Ваганьковском кладбище...

Он имел привычку резко менять темы своих стремительных монологов. Выглядело это так, будто мы заранее обсудили их план лет на двадцать вперед и теперь он лишь углублял с каждым возвращением окопчики наших раскопок. И пока я собирал вещи, он, выполнив небольшой пируэт на кривом полу дачки, скользнул за амальгаму предыдущего разговора. «Их власть в самом новейшем смысле патриархальна. Геронтократия. Дети не имеют права голоса. Лева голоса. Дети не имеют права обсуждать взрослые проблемы. А взрослые проблемы — это все: от войны до секса, который тоже война. Поэтому в стране царит кошмарнейший пуританизм и процветает морозоустойчивый разврат. Населению разрешается отсутствовать. Население насильно обязано пребывать в сопливой детскости. Если ребенок лет сорока девяти, изобретатель какой-нибудь там водородной игрушки, вдруг решится вылезти на Совет старейшин, его для начала поставят в провинциальный угол, чтоб одумался... Нет? Так выпорют. Отправят в колонию малолетних преступников. Только у стариканов есть право думать, чем кормить неразумных детей, только они могут решать, пора ли Петру Ивановичу взобраться на Марью Васильевну... И они категорически не выносят этих дошкольных воплей из-под стола, призывающих решать дела совместно, перейти на диалог, не ссориться с заграничными дядями. Тоталитаризм — это власть монолога. Одностороннее движение. А Запад для герантов — все те же дети, только дети испорченные. Причем кем? Другими испорченными взрослыми. Бунт малолеток им

потому и не страшен, что они создали разветвленной механизм контроля, насадили громадную армию воспитателей-надсмотрщиков... Если вы заглянете в свое прошлое, то там горит тусклым неоном одно лишь слово: НЕЛЬЗЯ. Мы растем под этой единственной звездой. Мы мыслим только в ее лучах, и даже лучшие из нас, смелейшие и умнейшие, отчаянно дерзнувшие сказать МОЖНО, раздавлены ужасом оттого, что тень, падающая от МОЖНО, все же читается как НЕЛЬЗЯ. Простите, Тима, за трюкачество...»



Я распихал свои жалкие шмотки, запер терем академика на большой и несерьезный ключ, и мы, буксуя в каше из снега, воды и глины, медленно отчалили. Узкое пригородное шоссе было забито грязными громкими монстрами. «Я,— уже сменил тему Ося,— может, должен был бы решиться и свалить в Израиль. Все равно работать мне здесь не дадут. Но скажите, что делать одетому в хаки, с «узи» в руках, специалисту по русским литературным склокам в городе Беершебе, при сорокаградусной жаре, в несуществующей тени хилого тамариска? Да и где я возьму деньги? У меня вовсе нет этих сумасшедших тысяч, чтобы заплатить жене алименты за девять лет вперед...» Я обалдел. «Осенька, разве вы того? Мне говорили, что у вас невеста... несчастный случай...» — «А вам не говорили, что Киссинджер звонит мне каждый вторник? Невеста! Куст сирени! Как печать на душу мою... Именно: несчастный случай. Забудьте. Плюс сколько-то еще рыжих денег государству за право смыться из рая да еще за билет до столицы вальсов... А дядя? Вы не волнуйтесь, я дорогу знаю. Дядя может взвыть и перекрыть мне все пути. Он ведь уже лет сорок пребывает в почетном звании Иванова. Был бы я моложе... Но и оставаться тошно! Мы закомплексованы незнанием остального мира. Наше желание выскочить из клетки естественно. Но я не уверен, что мы способны жить на свободе. Мы не

способны выбирать, не способны действовать. У нас атрофированы волевые мускулы души. Мы ими не пользовались, не было возможности. Хорошо, рафинированный столичный хмырь, что-то о Западе знающий, полтора языка освоивший, пройдя горячечную адаптацию, вынырнет, очухается, но нужно же будет вмиг повзрослеть? А середняк? Он же привык жить дуриком, раскидывать чернуху, косить на психа; он привык жить в лагере, в большой зоне, но по правилам лагерной жизни. Стараться, например, все получить даром. Качать права... Да и для западного человека мы все должны выглядеть ободранными моралистами, десантом неудачников. Чисто психологически, отгораживаясь от прокаженных, нас будут не замечать, от нас будут отделяться подачками из фондов социальной помощи. А значит, новейшая изоляция будет сгонять бывших сов в новые гетто... Перспектива, знаете ли, из самых мерзких. Кто же любит собратьев по тоскливому несчастью? А левизна западных идей, упорная просоветскость? Пусть она непрочна и в моменты кризисов в общем-то лечится, но ты именно от нее уехал, а тут снова по всем газетам кто-то будет вопить, что опять пора переделывать мир... Из нас же выйдут самые жуткие правые! И все из-за свободного тока воздуха, к которому мы не привыкли. Поди объясни ошалевшему от Нью-Йорка киевлянину, что свобода — это свобода выбирать несвободу... Он же пошлет вас в известное плохо освещенное место; он же потребует свободы только для себя — откуда после Союза мы надыбаем в себе эту самую терпимость? Простите, что я вам капаю на серое вещество...»



Денег у Оси не было, и мы минут пять скребли по карманам, набирая мелочь у бензоколонки. Грязного вида баба отказывалась взять наличные. Давай ей талоны... Что за тоскливая чушь! Сколько изворотливости нужно проявлять, сколько энергии для поддержания

простых человеческих отношений! Только когда рафинированнейший Ося покрыл бабу ширококлетшим матросским матом, обрушил на нее телегу угроз, имен, проклятий, сообщил ей достоверные сведения о сексуальных причудах ее матери, бабушки и даже тетки, только тогда она нацедила нам рюмку водки, кружку пива, десять литров высокооктанового пойла, сдачи не надо... В черных лужах на обочине плескалась небесная лазурь, вороны в своих галифе разгуливали, как наркомы, по подсыхающим кочкам, и я подумал: какого черта меня так раздражает меловой период новостроек? Их бездарные хребты, выцветшие серо-розовые лозунги, в которых народ и партия едины? Почему бы мне не полюбить этих прожорливых придорожных милиционеров, вымогающих незаконную пошлину? Да хотя бы за их средневековую изворотливость, за угрюмый разбой, за родство с Чингисханом... Или почему бы мне не затосковать по этому засаленному, испитому шоферюге, отливающему за пустой канистрой, задрав голову к голым веткам? Что за отравляющая плещется во мне? Безлюбное дикое неприятие этой гноющейся жизни... Любитель парадоксов! Торжественный дурак! Джон Донн уснул? Заткнись... Жизнь — это место, где жить нельзя... Комариное гудение, перерастающее в рев бомбардировщика... А если наоборот? Ося, Осенька, за что нам такое счастье, передовой тупик, советский паралич, самый прогрессивный в мире...

Третий Рим приветствовал нас трехметровыми портретами вождей, вздутыми от ветра. Двенадцать, включая Иуду, расположились полукругом. Под их отеческой рентгеноскопией забрызганный грязью «роллс-ройс» влетел на проспект. Девочка, стоя у светофора, задумчиво грызла яблоко. Раздавленный голубь вздрагивал грязным крылом.



Ося разбудил меня. «Приехали», — сказал он вяло. На углу Каретного переулка бабы в телогрейках сражались с глыбами льда. Часть улицы была огорожена, и кто-то

невидимый скидывал снег с крыши. Прохожие осторожно перебирались на противоположную сторону, охал мягкий пласт лилового снега, а за ним с грохотом терял зубья сосуллек звонкий карниз. У дверей клуба транспортников небольшая толпа весело скорбела возле грузовичка. В открытом гробу, как на грядке с цветами, загорал покойник. Медная музыка пускала зайчики. Наша городская сумасшедшая, известная от Самотеки до Маяковки, в самодельном пальто из лоскутков, с такой же сумкой, тащилась в сторону бульвара. Меня всегда потрясал ее клоунский грим: чуть ли не мукой присыпанные щеки, жирно намазанные кровавые губы...

Ося помог мне вытащить сумки. «Надеюсь, вы не подписали рукопись? — спросил он.— А то у меня с ГБ вкусы совпадают...»



Дом был выстроен года за три до революции. Русский модерн процветал тогда. Кое-где в подъезде еще сохранилась цветная плитка, ирисы, лебеди, воспаленные небеса. На тумбе первого марша еще недавно стоял каменный лев. Щитом с сомнительной геральдикой он прикрывал выбитый глаз от управдома. Огромное мутное зеркало еще совсем недавно политически безграмотно отражало подряд всех входящих. Но вдруг все исчезло. Волна охоты за старинными вещами захлестнула столицу. словно граждане доперли, что прошлое кончается, что его так основательно переделывают, что скоро не останется ни одного свидетельства. И это не было охотой за антиквариатом. О нет! Пошла мода на все старое, точнее, дореволюционное. Из деревень вывозили не только прялки, кофты, сарафаны, иконы, самовары, но и гребешки для чесания льна, светильники, оконные резные наличники, ступки, посуду и полотенца. Комиссионные, еще недавно набитые серебряными шкатулками, китайским фарфором, безделушками из слоновой кости, табакерками, веерами, опустели. Новые времена наступили стремительно, чуть ли не по



звонку. Объявилось до черта нуворишей. Всеми правдами и неправдами имеющие деньги старались удержаться в центре, в черте старого города. Снова разрешили покупать у иностранцев подержанные машины. Вышел из изоляции дипкорпус. Заструились по всем проулкам среднеазиатские делишки, кавказские аферы. Очередь в ресторан «Узбекистан», где обмывались удачные сделки, выстраивалась с одиннадцати утра. И если раньше уцелевшая от чисток княгиня тащила в черный день в комиссионку уцелевшую же от бед фамильную чашку работы Гарднера, если в начале шестидесятых редкие знатоки составляли бесценные коллекции практически задарма, если позже жены первых секретарей и атташе отоварились царскими сервизами, все еще лучистым хрусталем и совсем недурной живописью, то теперь, после шапочного разбора, после перетасовки ламп, картин, драгоценных камней, миниатюр, финифти по новым этажам города, после затвердевания новейшего порядка, укрепления двойного стандарта и подпольной жизни, обмельчавший и весьма опоздавший народец бродил ночами с фонарем и отверткой по старым домам столицы, свинчивая, что осталось: там дверную ручку (все тот же лев с осточертевшим кольцом в зубах) или матовую табличку царского страхового общества. Недалеко от меня жила знаменитая Мила Кривич, бойкая окололитературная дива. Была она из породы ночниц, мучнистого цвета, с тяжелым окружьем вокруг глаз и основательно сгнившими зубами. Она всегда точно знала, где и когда будут ломать старый дом. В знаменитой лиловой шляпе и драной шубке она появлялась на развалинах первой. У нее были липовые журналистские бумаги, и на машине очередного любовника она вывозила голландские изразцовые каминьы, кованые сундуки, бронзовые лампы, кипы книг, журналов, рассыпающихся газет. Старожилы, уставшие от веселого века, обычно измученные самой идеей насильного переселения из родного дома на окраину, чаще всего бросали весь скарб. Да и где в двадцатипятиэтажном бараке, в его клетушках, повесить полутораметровую люстру или поставить боярский сундук? У Милы дома был небольшой склад.

Кое-что она дарила, но большую часть, отреставрировав, продавала. В ее кладовке, разгребая трофеи, я нашел однажды немецкий штык длиной с приличную смерть, барометр, навсегда застрявший на хорошей погоде, «ремингтон» с подагрически растопыренными пальцами и зеленый водочный штоф с пляшущими красными дьяволятами и надписью: «Пей, пей — увидишь чертей!..» Были там барочные рамы с кондитерскими завитушками, розами, ангелами; бубенцы всех размеров, эполеты, утюги, подсвечники, подносы, чарки (терпи, читатель), стеклянные шары, кисеты, кастеты, мешок с пуговицами, тряпичные пигалицы — продолжайте сами. Она же, районная наша ведьма, устроила пиратский налет на мой и соседний подъезды. Среде бела дня двое ее приятелей в рабочих спецовках, заляпанных спермой кашалота, выломали из стены двухметровое беспартийное зеркало, утащили льва и, во что трудно поверить, шутники сняли отличную, прямо-таки бердслеевскую, чугунную дверь лифта, и теперь она украшает кухонный бар милейшей Милы.



Наша квартира давно превратилась в пещеру. В ней есть телефонная опушка, в ней протоптана коридорная тропинка, есть тусклый, заросший мхом грот ванной, есть гнилая пасть кухни. Открывая всегда липкую дверь, можешь быть уверен, что мокрое белье, развешанное под потолком, попытается хлестануть тебя по лицу. Когда я получил здесь наконец законную комнату, паркет все еще блестел и кухонные углы не шуршали тараканьей возней. Атеист-агитатор проживал в чуланчике напротив уборной. Бога не было. Зато были ключики от запираемых во время готовки кастрюль. Старикан вечно опаздывал на кухню, и адское устройство для варки куриных потрохов плевалось через узкую щель, пока он трясущимися руками пытался отомкнуть раскаленную гирьку замка... Я люблю те времена. Сальвадор Иванович Дали много потерял, не

пожив в сюрреалистических зарослях советского быта. Теперь мы продвинулись вперед, и уже нет гирлянд персональных лампочек на кухне и в уборной — у каждого свой выключатель и счетчик. Задача тех дней: если А уже зажег свою тридцативаттовку и танцует в клубах пара у плиты, стоит ли вошедшему Б зажигать и свою лампочку или же воспользоваться чужим сиянием?.. Бывало, отважный Б уже нырнет в свой шкафчик за солью, а мерзкий А, специально выскочив прочь, гасит свой законный светильник, ха-ха-ха... Что делает Б? Он, натываясь на моментально размножившиеся углы, продирается к кнопке «фиат-люкса», поджигает желтенький огонек, и тут же возвращается А, забывший, скажем, спички на кухне, отчего рассвирепевший Б бросается гасить свет. И так до трубы Судного дня, когда архангел Михаил зажжет все лампы сразу... Нет больше и этих карикатурных поз подслушиваний из-за приоткрытых дверей: телефонные разговоры тех дней припоминаются как сплошная шарада. Нет воровки тети Дуся, и после отсидки продолжавшей заниматься перепродажей краденого. Нет этих громких цинковых тазов и корыт, развешанных по стенам, как доспехи. Старичок-богоборец за заслуги в борьбе с небом получил персональную квартиру, да, как поговаривают, забегает теперь втихаря в храм: поплакать на скорую руку. Тетя Дуся, сильно подобрев перед смертью, сыграла в ящик, а шумная семья Фроловых, где, кажется, пьянствовали даже трехлетняя Тата и семилетний Павлик, вдруг распалась, рассорилась, состарившись вмиг, так что Тата, только что скакавшая в коридоре через веревочку, уже стояла у запотевшего окна кладовки, положив руки на неправдоподобно большой живот, брат ее чистил на лестнице хромовые сапоги офицера, а папаша, заводской мастер, лежал где-то в глубине захламленных комнат разбитый параличом. В один действительно прекрасный день весь этот экипаж исчез. Сквозняк гулял по квартире, бабы-маляры в газетных шапочках и татарских шароварах отпускали препохабнейшие шутки и шпаклевали щели корабля, и я впервые понял, что когда-то квартира жила другой жизнью, что комнаты открывались анфиладой одна

в другую, что в конце коридора была детская, а в гостиной стоял рояль, что приходили спокойные, припорошенные снежком гости, играли в вист, пили чай под большим рыжим абажуром; до меня вдруг дошло, что лифтов было два, а лестница была одета ковровой дорожкой, что на этаже жило всего две семьи в двух квартирах, а не как теперь — двенадцать, что все это в один миг соскользнуло под воду, ушло на дно русской Атлантидой.

Новые жильцы въезжали шумно. Месяц справляли новоселье. Скарб их постепенно выплескивался наружу, вытекал в коридор, затопил все углы, поднялся до потолка, покрыл всю квартиру коростой. Грузинская пара, всеми неправдами выбившая себе прописку в столице, день и ночь варила на кухне мамалыгу, ткемали или аджику. Никогда в жизни я не видел таких жизнерадостных огромных кастрюль! Пройти мимо их вечно распахнутой двери и отказаться от протянутого стакана чачи было оскорблением. Хозяин, с сизыми, несмотря на двухразовое бритье, щеками, ловил меня где-нибудь возле телефона и, вытягивая шею, спрашивал: «Нэ увэжаешь? Брэзгушь?..» Десант вьючных гортанно-громких родственников регулярно обрушивался на квартиру. Везли они на продажу бесконечные веники мимозы, помидоры, виноград, кинзу. Однажды, вернувшись из Кёнигсберга, где я проторчал целый месяц, пробираясь вдоль темного коридора на ощупь, я нарвался на месте выключателя на два голых провода, шибанувших меня зеленого цвета молнией, а миновав при свете зажигалки ведро с расплотившимися хомьяками и распахнув дверь ванной, чтобы хоть как-то осветить себе путь, я обнаружил там спящую на подушках пергаментно-древнюю грузинскую старуху. Открыв маленький ореховый глаз, трехсотлетняя карга вороньим голосом спросила: «Нэ мэшаю, дарагой?» Тогда-то я и решил бежать, чего бы это мне ни стоило, смыться из коммуналки, нанять квартиру, чердак, подвал, скворечник или собачью конуру. Но денег не хватало, и я кочевал с дачи на дачу, выклянчивая у приятелей, коман-

дированных в Соликамск, на Луну, в Токио, ключи на месяц, на два, или сам укатывал в Восточный Крым, где жил на мелкие деньги вплоть до появления зуда у колченогого начальника местного отделения милиции. Но, вступив наконец с большим скрипом в комитет профессиональных литераторов, я выскочил из графы ту-неядцев и мог жить где угодно — ан заработок был в Москве.



Моя комната выходит окном на глухой брандмауэр. Я повесил, взобравшись на соседнюю крышу, старую гитару, сломанную флейту и дырявое канотье напротив окна. Рыболовные лески, на которых в ветреную погоду раскачивается все это хозяйство, почти не видны. Никита однажды под настроение шархнул пузырьком с гуашью об стену. Словом, не имея возможности зреть пейзаж, я устроил себе натюрморт.

Мне грустно рассматривать мою конуру: картины друзей на стенах, иконы, сломанный маг. Бронзовый старик со свечным огарком в руке стоит на недочитанном письме годовой давности. На антенне трофейного «филипса» паук соткал дополнительные линии. Бедность не порок, говорю я сам себе. Да это и не бедность, а какая-то обреченность на осколочную жизнь. Я глажу единственные брюки. Манжеты разлохматились, и я подрезаю их ножницами. Мила как-то подарила мне роскошное зеркало. Я заглядываю: неужели вот это — я? В коридоре гремит телефон, все двери распахиваются: кого?



В первый раз я перешел государственную границу в прошлом году. Я тихо пил чай у Милки, листая журнал с голыми девицами, когда вдруг завалился какой-то Тони, а за ним толстяк Пьер, корреспондент

АФР<sup>1</sup>, а с ним худая очкастая шведка, еще кто-то. Мне только что пришла в голову идея издать советский вариант журнала, назвать его «Плейбей», отснять любительской камерой с пяток валютных шлюх, черные сугробы, красные звезды, сияющую блондинку в полковничьей шинели на голое тело за рулем гэбэшной «волги»... Причесывают ли девицам жураву, выражаясь державински; взбивают ли им щечки, стоит ли у фотографа в штанах? Но тут грянули инородцы. Лишь умненькая шведка лепетала по-русски. Тони припер целый ящик чудес: выпивка, шоколад, саями, настоящий кофе... Лучший подарок туземцам. «Потрясающая страна,— охала шведка,— без звонка ночью в гости... У нас нужно за неделю созваниваться». Пьер наливает мне, как аборигену, чуть ли не двести грамм. Мила тащит на стол соленые грибочки, квашеную капусту, селедочку. Гуляем а-ля рюс. У шведки груди растеклись под тоненьким свитером во все стороны — как она их собирает? «У нас,— умствую я,— закрытое общество». — «Ебщество», — вставляет Мила. «Но открытое изнутри. У нас нет возможности предаться гнилому гедонизму. Все, что у нас есть,— это мы сами. У вас же, мадмуазель, общество открытое снаружи и — закрытое изнутри. Вы же, японский бог, встречаетесь в кафе, а дом свой держите на отлете, уверяя, что он до сих пор ваша крепость...» Пьер, поглаживая черный Милкин чулок, спрашивает что-то про профессора Сумеркина, старого приятеля Милкиной мамы. Профессор, говорят, послал письмо герантам, призывая их заняться собственным народом, а не черножопыми... Пьер рассеянно слушает, Мила рассеянно продолжает. Рука Пьера, судя по тому, как отчалили вдруг Милкины зрачки от глаз, нашла искомое, корень квадратный из нуля... «А от Толика ничего нового?» — тихо спрашивает Пьер. Толик — диссидент, диссида, как называет их брата Ося. «Толика,— улыбается с трудом Мила,— вызвали опять на медкомиссию. Матросскую Тишину обещают...» Я встаю и подхожу

---

<sup>1</sup> Информационное агентство Франс Пресс.

к окну. «Из осведомленных источников,— думаю я,— стало известно... Западные корреспонденты сообщают из Москвы о готовящихся репрессиях...» Дежурная машина скучает под окном. «Ты где запарковался?» — спрашивает Мила. «Во дворе напротив». У Пьера опять две руки, он возится с грибочками. «Можешь ставить под окнами. — Мила поправляет волосы.— Они, один хрен, дежурят с вечера...» Мила давным-давно плюнула на все запреты. Ее вызывали раза два, пробовали запрячь, а потом махнули рукой: ну, гуляет баба! На встречи слабого пола с агентами мирового капитализма смотрят сквозь пальцы. Три века назад дьяк с Мыльной горки записал: «Ибо дитя от такого союза остается в православной вере. Когда же мужеского пола россиянин вступает в отношения с немчурой, отпадается дитя от веры и государства». Ничего не изменилось.

Ближе к полуночи, изрядно навеселе, мы втиснулись в две машины с белыми номерами и покатали на карнавал в венесуэльское посольство. Три метра между посольским подъездом и дверьми машин мы проделали под конвоем наших иностранцев. Мальчишки на ступеньках, охраняющие суверенитет Венесуэлы, лишь недовольно поморщились. Было шумно, людно, светло. Вдребезги пьяное домино висело на шее военного атташе. Слуга, кряжистый седоусый краб, тащил, расплескивая, шампанское. Схватив его под руку, «Я вас представляю,— сказал Тони,— это посол».



Рука, осыпающая горячий снежок сигары, вытянулась до отказа, кружевная манжета высвободила браслет часов, и он поднес мне к глазам циферблат. Зрение малость пошаловало, и стрелки жили отдельно от золотого блеска. «Полвторого,— сказал он.— Я вам кое-что прочту». И, оперевшись мне в лоб коротким смоляным взглядом, он начал читать явно по-русски — но что? Вернулась Мила, присела на корточки возле кресла,

опустила голову, послушала... «Антонио,— сказала она вдруг,— кончай с Онегиным, пойдем танцевать...» Посол дожеввал до конца строфу, ткнул сигару мимо пепельницы, и они заструились прочь. Сквозь их спины просвечивала гостиная, лепнина зеркальных рам, портреты на стенах, кресло, выехавшее на самую середину паркетного озера, заросшего пустыми стаканами возле растопыренных ножек... Что испытывает абориген, попав куда не надо? Я давился тошнотворной тоской. О'кей, в гробу я видел чиновников любых министерств! Но эта чудовищная разница! Наша угрюмая веселость и их умный такт... Наше ёрничество и свободный ток их речи... Их позы, жесты, приветствия... Они развеались, словно и сюда привезли пропагандный ветерок сучьей свободы. Они, если перехватить достаточно нагруженный взгляд, смотрели на нас, как на детей. Сочувствие раздавило меня вконец. Я был унижен чистотой их одежд, волнами их духов, вспышками чистосердечных улыбок. Я без труда извлекал из общего кипения тяжелые снования соотечественников. Даже легкая Мила, дошедшая с послом до лестницы в подвал, откуда вытекала ядовито-малиновой пеной музыка джаз-банда, даже Мила, вдруг пошедшая по мраморной лестнице наверх, закручиваясь по спирали и таща на вывернутой руке знатока Пушкина, даже она, из породы летающих, была тяжелее и неуклюжее любой пятидесятилетней матроны, тщательно завернутой в шелк и поставленной с бокалом шампанского в углу. Мы излучали что-то. От нас несло обреченностью что-то там строить на благо кому-то. Мы были временно на свободе. Нас поджидали на выходе старшие братья. Мы были золушками с бородами и без, но вместо хрустального башмачка нам выдали по испанскому сапожку. Чувствительная разница.

Шведская интеллектуалка явилась по мою хандру. Слово, которым она пузырилась, видимо, означало на ее русском совокупление, но прилежная ученица никогда не смогла найти его в на все пуговицы застегнутых русских словарях. Поэтому оно звучало сексуальным



ребусом. На длинной шее у нее жил чудесный завиток. Пользуясь чередованием каких-то теней, атласных отворотов, декольте — я улизнул. В подвальчике, замусоренном серпантинном, конфетти, пустыми стаканами и полными пепельницами, сидел Генрих С. Его львиная седая грива вздымалась, складки на лбу шли волнами; Генрих, патриарх подпольной поэзии, внушал ясноглазому янки, что умом Россию не понять... Американец кивал головой, а Генрюша, как это бывает при несовпадении языков, распаяясь, выкрикивал, а не говорил, громкостью стараясь протаранить непонимание. «Генрих,— сказал я ему,— он же ни бе ни ме нашему...» — «Я уже это заметил»,— сказал Генрих, сникая. Шведская подданная, близоруко вглядываясь в дымный сумрак, пробиралась между танцующими. Почему эти интеллектуалки не любят носить очки? Вовремя катапультировавшийся Генрих перехватил ее; лабухи, как зубную боль, тянули «Bésame, bésame mucho»<sup>1</sup>. «Роджер»,— сказал американец. «Умом Россию»...— пронеслось вместе с дымом. «How come?»<sup>2</sup> — спросил Роджер.— I thought it's forbidden for Russians...»<sup>3</sup>

Лет через десять я встал, чтобы облегчиться. В уборной кто-то отчаянно блевал. Знакомая золотая сумочка лежала на подоконнике. «Мила?» — попробовал я. «Что-о-о?» — простонала она. «Что случилось?» — «Икра... с полкило, наверное...» И ее снова начало выворачивать.

В баре я, забывшись, спросил скотча по-русски. Бармен, здоровенный малый в белом кителе, лязгнув на меня серым глазом, и рука его, щипцами тянувшая лед из ведерка, остановилась... Ухмыльнувшись, он отложил щипцы и, по локоть нырнув в Финский залив, швырнул мне в стакан. Вот сукин сын!

Роджер сидел все там же. Палехская черная шкапулка с Ильичем вместо жар-птицы стояла на столике.

<sup>1</sup> Поцелуй меня, поцелуй меня крепко (исп.).

<sup>2</sup> Каким образом? (англ.)

<sup>3</sup> Я думал, это русским запрещено... (англ.)

Пересохшие «упман» были внутри. Мы вам базуки, вы нам сигары. «Что он мне пытался сказать?» — спросил Роджер. Я перевел. «Трансцендентальные потуги... Умом вашу историю действительно никак...» Оркестр собирал инструменты. Нужно было сматываться. «Вы на машине?» — спросил я.

Наверху уже сновали слуги. Роджер повел меня коридором на кухню. Толстая черная кухарка, стоя у окна, ела кусок пирога. «Кармелита!» — позвал ее Роджер. Потом мы что-то ели: горячие черные бобы и огненное мясо, водка была ледяной, а грузинская аджика называлась «чили»; потом Роджер, подпихивая меня в спину, тащил по закоулкам второго этажа, потом была холодная вода, чей-то розовый халат, прошуршавший мимо, потом ничего не было, ровным счетом ничего, и вдруг сразу, без предупреждения, — тугим мраком налитая ночь и лиловый слепящий свет фар, и на границе разинувшей пасть тьмы — расставив ноги, с красными дырами сигарет, в аккуратных шапках, а один — похлопывая обутыми в перчатки руками... Так и запомнилось: обутыми в перчатки... Я уже улыбался им навстречу отчаянной улыбкой жертвы, когда Роджер, крепко взяв меня под руку: «Keer on walking, man! O, fuck it! Wake up!»<sup>1</sup>, проволоч меня по ступенькам подъезда вниз — взревел мотор, теплом пахнула открывшаяся дверь — и чуть ли не коленом впихнул меня на сиденье. Я не видел, кто ведет машину, но через несколько резких поворотов машина остановилась, и голос Роджера сказал: «Спасибо, Лиз... Ты доберешься?» Пахнуло снежком. Я выпрямился. Женщина пересаживалась в «ситроен». Роджер, вывернув шею, разглядывал черную «волгу», спокойно пристроившуюся в хвосте. «Где ты живешь?» — спросил Роджер. Я вытянул руку — моя улица начиналась через три метра. «Shit!»<sup>2</sup> — сказал он.

---

<sup>1</sup> Давай-давай, двигайся, мужик! Твою мать! Проснись же!  
(англ.)

<sup>2</sup> Дерьмо! (англ.)



Ночью на Садовом кольце происходят странные вещи. Пьяница Ольшевский, русский Брейгель, целый день писавший снежки на двухметровом холсте, выходит на охоту. В кулаке у него греются три рубля мелочью. Он доходит до угла Каляевской и улицы Чехова и там, согнувшись, стучит в полуподвальное окно. Свет не зажигается, но через минуту из форточки высовывается рука в залатанной фуфайке. Ольшевский выдает из кулака монеты. Форточка захлопывается. Ольшевский, постукивая друг о дружку валенками, мнетя под мутным небом. Форточка щелкает еще раз, и нечто завернутое в газету отправляется в карман пальто. В кармане живут табачные крошки, в кармане есть складной нож и английский ключ. Дойдя до крошечного скверика, художник вытаскивает из кармана бутылку и железным пальцем привычно проталкивает пробку внутрь. Пьет он, задрав к небу лицо с закрытыми глазами. Милиционеру из патрульной машины может показаться, что небритый бродяга трубит в трубу. Отпив глотков семь, он открывает глаза: милиции нет, большие одинокие снежинки медленно, так, что можно проследить расходящиеся в стороны нити падения, падают на подмерзшую грязь, бездомная собака, виляя хвостом, стоит напротив и лыбится...



Милиции нет по простой причине: ночью на Садовом кольце регулярно происходят странные вещи. Конвой спецмашин с включенными мигалками загоняет и без того редкий транспорт в проулки; слышен тяжелый рев мощных моторов — по осевой линии тягач с буйволом на лбу мотора тянет зачехленный истребитель. Сзади прикрытием идут два других тягача. Районный патруль блокирует пустой перекресток. Роджер, послушно показав налево, на всей скорости срывается с места. По косой он пересекает Садовое кольцо и сразу

после короткого крыла МиГа выносится на противоположную сторону. Сзади что-то происходит, но два резких поворота — играем в ковбоев,— и мы летим по совершенно пустой улице. Присевшие на корточки домишки бросаются врассыпную. И только минут через пять он опять включает огни.

Город пуст. Никуда не скачет квадрига Аполлона на фронтоне Большого. В Кремле не горит окошко вождя. Лишь на углу улицы Горького качающаяся парочка все промахивается и промахивается, пытаюсь сесть в медленно отъезжающее такси. Я отвратительно трезв.



Я спал в детской. Его чада и жена еще паслись на лугах Новой Англии. Утром, выглянув в окно, я увидел огромный, тщательно расчищенный от снега двор, до предела забитый машинами. Черный полушубок милиционера прогуливался у единственного выезда. Я крихтел, смывая грехи под душем, когда вошел Роджер с полотенцем и халатом. «How is your head?»<sup>1</sup> — спросил он, улыбаясь. Мы пили кофе на кухне, зимнее солнце кровавило стекла домов напротив, на столе как ни в чем не бывало лежали «Ньюсуик», «Таймс», «Геральд трибюн»... Стоило только переместить эти глянцевые страницы на 300 метров в сторону, положить на замерзшую скамью около смутно виднеющегося магазина, и они отольются в металл — станут преступлением. Любой гражданин, нагнувшийся за ветром гонимым журналом не с целью выдать его злое шуршание властям, имеет шанс изучить флору дальнего Севера. Роджер понимающе поддакивал, но было заметно, что ему нужно было напрягаться, вживаясь в этот бред. Я пил третью чашку кофе, мудрствуя над спецификой работы советских, в полковничьи кителя одетых Парок, когда он, отложив в сторону ручку, подтолкнул щелчком ногтя в мою сторону разодранную сигаретную пачку. «Кончай трепаться»,— было написано крупными буквами.

<sup>1</sup> Как голова? (англ.)



Я дал ему номер моего телефона, он пообещал звонить только с улицы и высадил меня у воронки метро. Я доехал до Белорусской и, стоя у открытой двери, придерживая ее ногой, вышел в последнюю секунду. Поезд ушел. Я был один на платформе. Я перешел на другую сторону. Меня малость трясло. От западного кофе, я думаю. Нашего нужно выпить чашек двадцать, прежде чем вздрогнет хоть один нерв. Толпа туристов спускалась по лестнице перехода. Задрав головы, они рассматривали плафоны, рабочих и крестьян в экстазе осуществленной дружбы. «Дешевизна советского транспорта,— ворковала женщина-гид,— следствие заботы партии о жизни народа...» Рабочие и колхозники тем временем, кто с авоськой картошки, кто с мешком, осторожно обходили толпу любопытствующих. Ватники и блеклые пальтишки ныряли в арки, крались вдоль мраморных стен, прячась от лисьих шуб и вспышек фотокамер.



Роджер позвонил в конце недели. Новый сосед, Алик,— здоровенный бугай, и днем и ночью занимающийся штангой, разгуливающий по коммуналке в спортивных трусах,— позвал не меня, а наших грузин. Английский язык был для него иностранным. К счастью, я возился на кухне с куском китового мяса — мать прислала на пробу,— соображая, что из него можно сделать. Я подскочил вовремя. Роджер уже выходил из терпения, свирепо повторяя: «Поджалуст, Тимо-Фей...» — «Here am I! Hi!»<sup>1</sup> — обрадовался я. Мой английский притормозил Алика на месте. Улыбаясь так, словно он не верил своим ушам, он стоял до самого конца разговора: гологрудый, заросший рыжей шерстью, с пудовой гирей в руке. «Я должен выучить русский,— извинялся Роджер,— это просто катастрофа, как я говорю». Мы

<sup>1</sup> Вот он я! Привет! (англ.)

договорились, что он зайдет поужинать через несколько дней. Повесив трубку, я захолодел. А чем, спрашивается, я буду его кормить? Хорошо, деньги я где-то нарую, но что я куплю?

Чемпион коммуналки все еще пялил на меня голубые невинные глазищи. «Отомри...» — сказал я без капли любви к ближнему. «Ну ты, паря, даешь!» Алик быстро выжал гирю три раза. «Это ты по-каковски?» — пытался он заглянуть в меня. Он опустил наконец гирю на пол. Голова его, как у мертвого петуха свешенная набок, сочувственно подергивалась. «По-нюфаундлендски...» Я повернулся и потопал на кухню, но он не отставал. «Ты мне мозгу не гребь,— посоветовал он,— Алик институтов не кончал. Алик и так все сечет...»

Китовое мясо по цвету похоже на медвежатину. Я нарезал луку, моркови, добавил чесноку, томатной пасты, аннексировал малость кинзы с грузинского стола, потушил на маленьком огне. Китовина, китоёвина — как ее называть? — была съедобной. Сидя на подоконнике, слушая «Out of the cool»<sup>1</sup> Гила Эванса, я умял всю кастрюлю.

Я попытался прибрать наш коридор. Несмотря на протесты представителей солнечной Грузии, я стянул с веревок их кальсоны и наволочки. «Ко мне придет важный гость», — собирался сказать я, но не сказал. Что им важный гость? Ко мне придет иностранец — хуже не придумаешь: самодонос. Ко мне должен заглянуть товарищ из парторганизации — чистая липа. По моей роже за километр видно, что из парторганизации могут прийти только по мою душу... Однако именно это я и сказал. Это они понимали! Все уладилось вмиг — бельишко поехало частично в ванную, частично залепило кухонную батарею. Путь был расчищен. Оставалось ведро с хомьяками. Алик когда-то купил парочку для дочки. С тех пор они размножились до неизвестного числа. Дочка больше занималась разглядыванием своих набухших прелестей в ванной, чем миром животных. Хомьяки интенсивно пожирали друг друга, но на пере-

---

<sup>1</sup> Программная пластинка пианиста и композитора Гила Эванса.

населенности это никак не сказывалось. Алик держал их теперь в ведре в коридоре рядом со складом жерновов и дисков для штанги. Воняло ведро немилосердно. Пользуясь тем, что Геркулес отправился плескаться в проруби — его способ лечения простуды, — я выставил ведро на черный ход. Одноглазый кот — Оборот — получил в тот день на ужин не рыбы скелетины... Ведро перевернулось, и то, что не попало в розовую кошачью пасть, брызнуло в сторону. С тех пор дом наш населен хомьяками в таком количестве, что по ночам слышен как бы морской прибой. Эти серые комки шуруют по всем направлениям под паркетом и за отставшими обоями.



Роджер появился ровно в восемь: в шапке-пирожке, во вполне русском по покрою пальто с каракулевым воротом. Я быстро, пока не начали распахиваться двери, приложил палец к губам и повел его по тусклым пещерным поворотам к своей комнатушке. «У тьебья ощынь мыло», — сказал он. Я был горд. На ужин в тот день я раздобыл копченых миног, угря, рокфора и бутылку двенадцатилетнего «баккарди». «Это моя первая русская квартира», — сказал Роджер. «А ты мой первый иностранец», — отвечал я. — Теперь каждый приличный москвич старается завести себе персонального иностранца. Как корову. Чтобы покупать в валютке джинсы. Или чтобы жаловаться в Белый дом». — «Ты шутишь?» — спросил Роджер. Он был малость смущен. «I'm afraid, you'll have problems, — сказал он. — Don't you think it's a little risky for you to invite me here? I'm a bloody yankee»<sup>1</sup> — «Шли бы они все, — отвечал я, — надоело делать то, что хотят другие. Ты знаешь, страх и чувство вины — то, на чем держится власть. Чувство

<sup>1</sup> Боюсь, у тебя будут проблемы... Ты не думаешь, что это немного рискованно — приглашать меня? Я ведь чертов американец (англ.).

вины внушается с таких молодых ногтей, что и не упомнишь. Страной легко управлять, когда каждый гражданин чувствует себя неразоблаченным преступником. Действуя, как хочется, ты не только нарушаешь правила игры, но и моментально сам сечешь, что перешел необозначенную границу дозволенного. Снаружи феномен совжизни невычислим; нужно идти через потроха, нужно рассматривать гипертрофию надпочечников, изможденных слишком частым впрыскиванием адреналина в кровь... Страх, растворенный в крови, уже и не заметен; заметно лишь, что кровь скурвилась...»

Роджер, словно он полжизни проработал вивисектором, раздел ножом угря. Я не был уверен в том, что он привык запивать еду сорокадвухградусным ромом. До меня стало доходить, что эти люди, наверное, и не так едят, и не так живут вообще, а, черт! — не в смысле же лучших продуктов и вещей, а в смысле другого дефицита — традиций, помельче — привычек... «Мы все еще живем на войне, Роджер». Он уставился на черный цветок Яковлева. Может, ему тоже все это до лампочки? Может быть, ему интереснее о бабах, мусорах или нелегальном тотализаторе на Бегах? «У нас ни гражданская, ни отечественная не кончились. Точнее, мы оккупированы соплеменниками. Мир подтасован. Сомневаться запрещено. Разрешено мутировать. Каждодневное подавление вопросов, вопросиков, вопрошиц рождает ядовитую, все разъедающую тревогу. Но любое внешнее проявление тревоги карается. Сиди и не рыпайся. Не обязательно ГБ, своими же соседями. Крикнувший рождает панику у того, кто силится не кричать. Я почти не знаю в своей жизни не антисоветчиков. Аксакалы наши — стопроцентные антисоветчики, потому что они против своего же народа; с ними же и все, кто пасет счастливое стадо... Братская же семья народов по ночам мечтает, чтобы этот земной рай поскорее развалился...» — «Вопрос идиотский, — сказал Роджер, — а коммунистов ты встречал?» — «Нескольких; из породы чистых идиотов. Остальные более или менее удачные конформисты. Я думаю, у вас на



Западе гораздо больше коммунистов, чем у нас. Мы из вашего будущего...» — «Ты уверен,— Роджер шарил взглядом по стенам,— что тебя не могут сейчас слушать?» — «Дорого,— сказал я,— я наводил справки. Я еще не засветился. А так, слушать какого-то бумаго-марателя... Ну, где-нибудь в досье, в графе «лояльность», стоит СО (социально опасный) или КИ (контакт с иностранцами). При обострении ситуации в стране таких прибирают к рукам. Нейтрализуют». — «Слушай,— Роджер крутил свой стакан в нерешительности,— у тебя льда хотя бы нет?» Лда у меня не было по простой причине: холодильник мой скончался и я хранил в нем черновики. Но я высунулся в форточку и отломил приличную, вполне стерильную с виду сосульку. «Моя жена с детьми приезжает в конце месяца,— Роджер отправил в стакан вслед за льдом уцелевшую дольку лимона,— ты думаешь, ты мог бы давать нам уроки русского?» Я кивнул. Гэбэшным училкам можно? Только потому, что они пишут отчеты? «Может, будет полегче,— сказал Роджер,— в Хельсинки готовится большая конференция. Там есть пункт о гуманитарных отношениях, если его подпишут...»

Я пошел его провожать. Он не взял машину, чтобы не притащить хвост. Я показал ему несколько длинных дремучих проходняшек в нашем районе. Я вывел его закоулками к Страстному бульвару. «В этом доме жил танцмейстер Йогель» — особнячок в стиле дохлого классицизма присел под шапкой снега. «Здесь наш единственный гений Александр С. Пушкин встретил на балу некую Наталью... Я, право же, чувствую себя идиотом,— сказал я.— Я предпочел бы говорить о дервишах, татарской поножовщине на Таганке, о наших доморощенных Мингусах, черт побери, варящих хлебку из крутого свинга с северной капустой и укропом... Но мы вынужденно политизированы. Общество устроено так, что как только ты уходишь на нейтральную позицию, зарываешься в невмешательство, выставляешь фанерный щит, на котором написано «Я вас имел!», как моментально приносят телеграмму из ада: ты попадаешь в пассивные соглашатели, в попутчики,

в конформисты... Потеря сопротивляемости грозит скоростным разрушением. Но и быть постоянно, как сказал известный псих, общественным животным — занятие скучное...»



Теплая метель неслась по бульвару. Желто светились фонари. Партсобрание ворон в голых кронах тополей шумно аплодировало очередной резолюции. Два пенсионера, установив на коленях фанерный столик, играли на скамейке в шахматы. «Время выгуливать винные пары, псов и тоску одиночества», — резюмировал я. «Слушай, — Роджер улыбался, — я специально завел себе эту шапку, сшил пальто вполне в русском стиле — почему все понимают, что я иностранец?» Мы стояли возле фотостенда ТАСС: успехи металлургов Урала, голод в Азии, забастовка в Европе — и хохотали. «Чудило, ты двигаешься по-другому...» — «What is chudilo?»<sup>1</sup> — спросил Роджер.



Конечно, я боялся. Еще куда ни шло — француз или португалец. Но американец! Это же явная посадка. Не сейчас, так потом. Вот уж куда меня совсем не тянуло: на нары, малость пострадать в духе приобретения высшего опыта. Я шел домой любимыми улицами, мимо особняка Лаврентия Берии, мимо Патриарших, в Пионерские переименованных, прудов, мимо угрюмой коробки одного из бериевских наследников. Девочка и двое мальчишек, несмотря на изряднейшую полночь, гоняли по льду пруда. Постовой, сам еще пацан, улыбался им из-за засады заснеженной сирени. Метель давно кончилась, и в просвете быстро бегущих грязно-лиловых туч ныряла луна с бледным отпечат-

<sup>1</sup> Что такое чудило? (англ.)

ком головы кесаря. Щеки, стекшие вниз, провалившиеся глаза, имперские брови. Я думал о нем, как он стоит в сортире, стряхивая последние капли, принимая решение послать-таки еще тридцать МиГов и изрядное количество веселящего желтого газа в Жопландию... Сидя на троне, натягивая бразды правления... Го-го! Тощая кобылка истории... Не хлебом единым жив человек... Не хлебом, а клевом... Звонко смеялись дети. Да здравствует всеобщее одностороннее разоружение! Чтобы наши разоружались? Чтобы добровольно? «А где мои коньки?» — подумал я. Тупые, со сгнившими шнурками, пожухлой кожей, они попадались мне на днях. Я спустился по деревянным ступенькам на припорошенный лед. «Эй,— крикнул я,— вы еще долго будете?» Мальчик с посерьезневшим вмиг лицом настриг ногами несколько елочек, откатываясь назад. «Минут двадцать, а что?» — его коньки брызнули мутным лунным светом и погасли. «Я сейчас приду,— крикнул я, поворачиваясь,— подождите меня...»

Я мчался домой на Каретный. Я ворвался в квартиру, хлопая дверьми. Что со мною происходило? Я несся по посыпанной песком улице, и «норвежки» мои прыгали, перекинутые через плечо. Я плавал в радужных слезах. Меня залило. «Сучье племя! Козлы! — повторял я.— Когда же вы поумнеете? Неужели нельзя повернуть ваше идиотское колесо истории вспять! Жить, как люди живут... «Прогресс движется вперед...» — сказал генсек. И досталась же им страна, которую никак не доконаешь...»

Каток был пуст. Мне пришлось взять шнурки из ботинок. Тучи снесло, и лунный свет ровно лился на спящий город. Я осторожно проехал по кругу, перебирая ногами, как после болезни. Ничего! Я все еще не забыл. Остро скрипел полоз, мягкий ветер развеивал волосы, из открытой двери невидимой машины доносился какой-то скомканный вальсик. Когда это было? Я бросил школу, она еще училась. Лариса. Ямочки на щеках, татарский разрез всегда чем-то замутненных глаз. Мы катались в Парке культуры. Там, где километры черного накатанного льда, рядом с черной замерз-

шей рекой, под таким же отороченным снегоносными тучами небом. Фонари, когда мы неслись по набережной, валялись то на левый, то на правый бок. Военный оркестрик надувал щеки. Толстые бабы в белых халатах поверх ватных пальто продавали горячий кофе в бумажных стаканчиках. У нее был класс — низко сидя, она легко перебирала ногами; левая рука была крепко заведена за спину, правая, в тонкой перчатке, широким махом помогала полету. На поворотах, и это было самое восторженное, мы не только не снижали скорость, но на каких-то последних пределах, падая совсем набок, со скрежетом и брызгами вспоротого льда, еще наддавали... Я жил тогда в дедовской, новенькой после его смерти, квартире. Она приходила с мороза с горящими щеками, с промерзшими ногами, конечно... Кто из десятиклассниц наденет теплые чулки? Все они бегают с посиневшими коленками в двадцатиградусную стужу. Она оттаивала на низкой тахте, где мы валялись часами, не в силах разлипнуться. Мы были как запутавшийся узел. Нужно было изрядно терпения, чтобы вывести руку из-под головы, отыскать занемевшую лодыжку... Журчал ртом, набитым жеваной пленкой, магнитофон. Шмыгала по коридору бдительная бабушка. Ах, эта Лариса всегда останавливала мою неосведомленную руку в последний момент. Лишь однажды, когда температура в комнате дошла до таких невероятных марокканских пределов, что мы наконец торопливо, помогая друг другу, как дети, разделись, лишь тогда она и сама с испугавшим меня ожесточением, сжав неумелыми пальцами этот вопящий отросток, этот раскаленный, вздыбленный, мне самому неизвестный предмет, раздвинула наконец крепкие, как судорогой сведенные ноги и, дрожа на двести двадцать, потянула меня на себя, как одеяло... И все же, когда мой одноглазый, ослепший от слез зверь тупо ткнулся в нее, она выскользнула, кувыркнулась на бок и, отчаянно плача, всхлипывая, понесла синкопированный бред про врачей, про то, что у нее слишком узкие бедра, про первобытный ужас и мировую катастрофу. Я мгновенно понял, что ее мать, старая ведьма, провела отличную

психотерапию, внушив на пару с бандитом гинекологом своей крошке, что любая беременность будет фатальной... «Я хочу тебя»,— плакала она. Я переместился с севера на юг и был, как и она, полным новичком и профаном, я осторожно прикоснулся к ней губами. От нее шел слабый запах крови, я что-то задел в ней. Она еще всхлипывала, но смысл ее всхлипываний менялся. Я был весь, от шеи до вывернутой пятки, напряжен, как стальной прут, и, когда она, где-то на другом конце жизни, капая на него слезами, осторожно дотронулась мокрыми губами, лизнула, как какой-нибудь леденец, я взорвался. Я лежал, уткнувшись лицом меж ее ног. Элвис-Пэлвис давно заткнулся, и маг крутился впустую, было слышно, как дворник скребет мостовую, она вздрагивала, словно икала.



Потом она сидела в одних чулках и курила, я пил в первый раз самостоятельно купленный коньяк, стакан за стаканом и странно пьянел, словно опускался сквозь ватные этажи все ниже и ниже во все более ватный мир. Она больше не сопротивлялась, когда я осторожно трогал ее разбухшую скользкую ранку, и сказала, что завтра же узнает, что нужно сделать, ведь мы уже взрослые. «Ведь правда?» — сказала она и назвала меня тут же придуманным, криво звучащим именем. Мы оделись, я смотрел, как исчезали под свитером ее груди, и, взяв коньки, отправились во двор, где за железной сеткой на баскетбольной площадке был залит хоккейный каток, но кататься мы не могли, и я сразу упал, наехав на предательскую щепку, и сидел, как сейчас, с дрожащими ногами на льду, и она сказала: «Пойдем?» Я проводил ее до подъезда, окно ее матери светилось узкой полоской неплотно сдвинутых штор. «Завтра»,— сказала она, жалко улыбаясь, и поцеловала совсем по-другому, словно была женой. Она не пришла ни на следующий день, ни через месяц. И, уже вернувшись из армии, на «Маяке», в метро, я почти влетел

в нее на бегу: была она похожа на растрескавшуюся терракотовую вазу. Сквозь толстый слой грима еще пробивались ее черты. Меня обдало кипятком, и, пытаясь, я втиснулся в уже до ругани переполненный вагон. Двери лязгнули. Она, опустив голову, прошла мимо.



Все это навалилось на меня, как будто на широком повороте я въехал в мягко рухнувшее зеркало. От падения болела спина. Кадык лифта медленно вздымался в шахте подъезда. Я разогнался, попытался прыгнуть на сто восемьдесят градусов, упал опять и, гася скорость, поехал к мосткам, где лязгали зубами мои промерзшие ботинки.



Появилась и семья Роджера: неугомонные дети, неожиданно маленькая, энергичная жена. Джонатан, Сьюзи, Пола. Я вступил в должность гида. Боже! Оказывается, и показывать-то было нечего. От зубов режима уцелевшие храмы? То, что взрывали, над чем кощунствовали, а теперь, сообразив рекламно-идеологическую и валютную ценность, пустили в оборот? Да и неловко было как-то появляться в старообрядческом храме на Рогожской заставе, где морщинистые бабки и благообразные старики без всякой любви встречали пришедших поглазеть иноземцев... Я выбирал маленькие церковки на уцелевших от режимокрушения улочках центра, на Солянке, в до сих пор живом Замоскворечье. В Хамовниках я встретил отца Варфоломея. Пять лет назад в застуженном подмосковном храме он окрестил меня. Я сиял, как только что отчеканенный золотой, без малого неделю. Отец Варфоломей, поклонившись чинно семье Роджера, оттащил меня к забору городской усадьбы Толстого, укоряя: «Даже к празд-

нику не приходишь? Я думал, ты в своем Крыму овец пасешь... И что ж с тобой?» — «Погряз, батюшка,— отвечал я.— В храме год не был». — «Губишь ты себя,— теребил Варфоломей седую бороду,— зайди ко мне, поговорим. Женить бы тебя надо...» Бабки с кульками освященных яблок, печенья, с бидонами святой воды спускались по ступенькам, пятились к воротам, крестились. Водосвят был на той неделе.

Иногда Роджер прихватывал с собой веселого, говорливого южноамериканского дипломата. Рафаэль всегда был одет с иголочки, надушен, боюсь, что и напудрен. Он был знатоком русской живописи двадцатых годов, японских нецек, африканских масок и, конечно, иконописи. Он попросту раздражал меня, рассматривая храмовые иконы с беззастенчивостью скупщика. В остальном был мил, внимателен, прекрасно говорил по-русски и никогда ни о чем серьезно. Он был соседом Роджера и несколько раз, когда Роджер не мог, отвозил меня домой. Однажды, к моему обалдению, прощаясь, он поцеловал мою руку; глаза его, мягкие, бархатистые, выжидательно светились. Я выскочил из машины как ошпаренный.

Я показал им Новодевичий монастырь, старое кладбище, разрешенную часть Кремля, шатровую церковь в Коломенском. Мы бродили в юсуповском имении, сгоняли в Ясную Поляну, Суздаль, Владимир, Псков, Ярославль... Боже! Я увидел страну глазами американца! Единственное, что еще не было обезличено, до сих пор живо, что вызывало восторг, не принадлежало советской эпохе. Осколки России: монастыри с расстрелянными фресками, кельи, где еще недавно держали малолетних преступников, барские усадьбы, дважды, трижды ограбленные, зажиточные некогда деревни, амбары, конюшни, избы — все это было наскоро отреставрировано, подчищено, доведено до товарного вида, вокруг и сквозь проведены узкие, но все же вполне европейские дороги, понастроены гостиницы, о которых совы и мечтать не могли, завезена еда, которой и видеть не видели и... понеслась! Автобусами и в ча-

стном порядке по Золотому туристическому кольцу, толпами и семьями, обедая в бывших монашеских трапезных, отдыхая под защитой гэбэшных портье, парясь в финских баньках, надираясь «рюски водка», катаясь на тройках, слушая цыган, пошел твердвалютный гость. Мы видели с Роджером чистенькие горницы, в которых скучали босые, в сарафаны обряженные девицы, изображая народ. Но народа, как сказал поэт, давно уже не было — было население. Мы обедали в избах на курьих ножках, где фольклорные мужики, заправленные ханкой по самые уши, вприсядку таскали с кухни осетрину и медвежатину. Медовуха лилась рекой. Мы проезжали при этом пустые выцветшие витрины местных магазинов, куда не удосуживался сунуться ни один иностранец. Водка из нефти, а не пшеничная, как за валюту, стояла там на прилавках, водка и кульки с каменными конфетами. Мы слышали бесконечные завывания седых, хорошо завитых путешественниц, сладострастные бульканья: «Люси, глянь сюда, ну не восторг ли?» И сухая, прямая, как флагшток, столетняя Люси, давным-давно перепутавшая Лахор с Казанью, резвой рысцей неслась взглянуть на крупные золотые звезды, усыпавшие лазурь купола храма Св. Николая, и ее прожорливый «кодак» набивал рот заснеженными березами, фальшивыми пейзажами, лихими ямщиками и золотыми крестами. «Marvellous! — кричала она.— Gorgeous!»<sup>1</sup>. Это была их Россия, их восторженный СССР. Конечно, случались казусы, действительность вдруг не стыковывалась, ободранные людишки появлялись там, где не положено, или мимо окон отельчика сопливый пацан вдруг проводил такую изможденную бухенвальдскую коровенку, что на мгновение включалось сомнение, но организаторы аттракциона, устроители солнечной погоды, ответственные за теплый ветер, знали свое дело. От древнейшего русского храма во Владимире до знаменитой политтюрьмы было рукой подать, но словно пуленепробиваемое сте-

---

<sup>1</sup> Дивно!.. Роскошно! (англ.)



кло куполом накрыло православный Кони-Айленд... Ах, Роджер, век не забуду. Спасибо за интуристовскую, на звонкую молнию застегивающуюся Русь. Аминь.



Итак, наступил критический момент: раз пять уже они приглашали меня на ланч и больше отнекиваться я не мог. Как изменилась закулисная Москва! Последние свои джинсы я покупал три года назад где-то на темной лестнице при свете полуоткрытой двери в неизвестную квартиру. Никитка привел меня тогда к королю задниц, «лейвисов», «вранглеров» и «ли». Король обернулся валетом: картаво извинялся, что не может нас принять — мамаша, видите ли, нанесла ему официальный визит и пьет теперь чай с клубничным вареньем... Огрызком сантиметра он в секунду обмерил меня и притащил застиранные до белизны джинсы. Цены были божеские, да и Никитка своим присутствием сбивал косой процент. Тридцать пять целковых выложил я за порты, выдавшие, быть может, Колизей. Разного возраста и таланта девушки ставили мне на них заплатки позднее. Джинсы в Союзе дело серьезное, за них и прирезать могут. Кто там в солнечной Грузии заманил джинсового мальчика на предмет пленительного сотрясения маминной постели? Пардон, дело было в горах,— две скромные школьницы. Мальчонка остался без штанов и без пульса. Девушки и посейчас страдают от активного авитаминоза на северном лесоповале. «Джинсы,— говорит Никита,— в стране победившего всех без разбора социализма не портки, а флаг». Ося же уверяет, что как загар создает образ здоровья, свободного времени, юга, солнца, так и джинсы — образ свободных, опытных в мордобое и задирании юбок мужланов, а для сов, тоскливо глядящих за бугор, джинсы — это «свобода, свобода...».

Нынче все проще. Я позвонил Долгоносику, любовнице мрачного, седого, худого как спичка художника. Художник упорно доставал соцреализм тем, что писал

точно такие же, как в Манеже, картины; лишь какая-нибудь кощунственная и не сразу уловимая деталь превращала «Трактористов на отдыхе» или «Посещение делегацией вьетнамских товарищей фабрики презервативов г. Баковка» в полный бред. Так, отдыхающий в жирных волнах пашни тракторист одной рукой расправлял непокоримый чуб, а в другой, прижатой к сердцу, держал «ГУЛАГ» Солженицына. С вьетнамскими же товарищами все было в порядке, лишь одна сисястая розовощекая комсомолка из ОТК, смущаясь конечно, показывала руководителю делегации разведенными ладошками размер в Африку идущих презервативов.



Долгоносик, ленивая, всегда заспанная, флегматичная девица, открыла шкаф, вываливая товар. Свитера и брюки, рубашки и куртки, шарфы, часы, браслеты, белье, чулки. Налицо был явный прогресс — вещи были новые, цены чудовищные. Я выбрал рубашку, вельветовый пиджак, померил джинсы. Денег не хватало, но Долгоносик открыла мне кредит. «Заходи почаще,— прощалась она,— в конце месяца Большой возвращается из Парижа, всего будет навалом». Халатик щупленькой девочки все время случайно распахивался, и ее жалкая грудка подглядывала бледным соском.



Впервые в жизни, отправляясь в гости, я прихватил паспорт. Пешком я пересек центр и добрался до гостиницы «Украина». Дипломатическое гетто — одинаковые, покоем стоящие коробки зданий — начиналось отсюда; заросли «кадилаков» и «вольво», магазины с улучшенными товарами, валютные лавки, стоглазые дворники, незаметный уличный патруль, особый московский привкус опасности. Пьяница, не соображаю-

щий, как застегнуть ширинку, не сунется в такой двор, не станет искать проходняшку. Любопытствующий дурак ускорит шаг, и лишь недоразвитые школяры будут думать, как проскочить обалдевшего от скуки фараона и отломать от сказочного «мерседеса» роскошный трилистник эмблемы.

Без пяти час, усиленно припадая на правую ногу, с зыбью боли на наглом челе, я подошел к черной «волге», скучающей у подъезда гостиницы. Старый хрыч за баранкой умненькими глазами смотрел на мое приближение. Он не открыл дверь, а лишь приспустил стекло. Делая легкие ошибки в чудном языке Толстого, указуя рукой в тугой перчатке куда-то через дорогу, я объяснил Харону Ивановичу, что плачу трешник, ежели он довезет меня до дома, до которого двести метров пути, полминуты свободного полета. Какой же привыкший к левой работе шофер откажется получить трешник за такой пустяк? Миновав милицейский пост, мы подкатили к угловому подъезду, дядя Ваня получил на водку, а я, забыв, на какую ногу нужно хромать, проковылял к вражескому лифту. Это была уже другая Москва, вычищенная, отмытая. Не было в подъезде настенной графики: наивной порнографии, изречений вроде: «Дура, возьми в рот...» — или лаконичной мести: «Шура дает шоферам МУРа... тел. 232-16-01». Не было черных подпалин на потолке — забав школяров и ленивых хулиганов. Делается это просто: забавник плюет на известку стены и соскребает ее спичкой, после чего спичка поджигается и выстреливает в потолок; комок мокрой известки приклеивает ее, и деревянный червяк горит и корчится, и пятно копоти расплывается все шире и шире.



Я что-то перехватил утром: кусок сыра, чашку кофе. Напряжение и смущение придавили чувство голода. Теперь же, сидя в салоне, раздавшемся до размеров дворца, обалдевший от картин, ковров, фарфора, от

стерильного, в какой-то трубе общипанного воздуха, я был готов смести теленка, кабанчика или хотя бы корку хлеба. Дети уже тащили показывать мне свои сокровища: невиданные игрушки, в которые тут же хотелось поиграть, то есть отыграться за припорошенное снежком пустое место в памяти, называемое детством. Но уже шли через розовый лужок глазастые коленки, кружевной фартучек и сплетенные на мягком животике, друг в дружку вцепившиеся ручки. «Разверника-ка его под столом, Джонатан...» И красный автомобильчик, конечно же не сделанный таким крошечным, а уменьшенный — лишь прямые арифметические уменьшения дают такие копии, — застрявший в дюнах ковра, буксовал, рычал, но все же слушался у окна лежавшего с антенной в руках Джонатана. «Что будет пить господин?» — в неожиданном третьем лице спросила служанка. Боже! За что мне эта издевка судьбы? Первый человек в моей жизни, назвавший меня господином, был гэбэшной дипкорпусовской вышколенной служанкой... Роджер, ведущий за руку Сьюзи, громко сказал: «Дайте ему текилы: он бредит кактусами... Ты ведь никогда не пил мексиканскую водку?..» Пять стопок текилы, ледяных и пресных, прожгли во мне дыру. Я добросовестно выполнял обряд: сыпал соль на венерин бугор, вооружался лимонной долькой и, начиная с соли и кончая лимоном, посылал в уже горящие внутренности взрывающийся глоток. За дымчатой занавеской катился в радужное будущее обычный проспект: выучный люд пер свои авоськи, стоял в очередях под вывеской «Овощи-фрукты», вжимался в троллейбусные двери. Вождь, в до сих пор не износившемся канонизированном черном жилете, с гвоздикой в петлице и с хрустко сломанным картузом в огромном кулаке, перекрывал собою фасад дома напротив. Среди грозных клюквенных облаков, под мышкой вождя, было прорезано банальное с крестом оконце... Авоська с продуктами была вывешена наружу. Патрульная канарейка медленно тащилась по осевой. Со скрежетом шла от моста танковая колонна снегоуборочных машин. Железные щетки с остервенением вгрызались в черный лед.



Пришла мисс Не-Помню. Пришел господин Забыл. На руках прошмыгнула в просвете дверей служанка: блюдо с отставшим облачком пара она по-цирковому держала ногами. «Нажми здесь», — ломал мой палец упорный Джонатан. Я ткнул кнопку: на замаскировавшемся под карманное зеркальце экранчике вытаращил зенки и сиганул в небеса разноцветный Микки Маус. «À table»<sup>1</sup>, — позвала Пола.

Мне было сколько-то там взрослых лет. Мне казалось, я прилично разбирался в литературе, истории, немного в философии. Я был горд тем, что самостоятельно выжил, никуда не вступил, ни на что не согласился, ото всех удрал. Я умел стрелять из автомата в крошечной тьме на звук голоса; пересекал страну без копейки денег из конца в конец, отличал на слух в джунглях стоголового оркестра Роя Эддриджа или Кэта Эндерсена. Я выпивал бутылку водки один и, если закуски не было, считал, что и так сойдет. Я мог расслоить любую городскую толпу на составные: от кассира Большого, одетого под туриста, до стукача, прикидывающегося рабочим. Я выучил английский, слушая «Jazz Hours»<sup>2</sup> Виллиса Кановера сквозь вой разорванного пространства. И я оказался полным дикарем. Я не знал, как принять из рук служанки блюдо. У меня никогда не было служанок! Издыхая от голода, я сделал самое худшее — тоскливым голосом я сообщил хозяйке, что в общем-то не очень голоден... Пощипывая вкуснейшую корочку хлеба, так, исключительно от рассеянности... я любезно отвечивал мадемуазель Не-Помню, что православный пост продлится еще три недели, что в старые времена магазины были забиты грибочками ста сортов, квашеной капустой с брусникой и клюквой, мочеными яблоками, орехами, жареными венниками... «О нет! — отвечал я господину Забыл. — Сам я, грешный, настолько погряз, что уж и не пощусь...» Пола была огорчена. «Ну хоть маленький кусочек?» Совсем маленький? Не стесняюсь

<sup>1</sup> За стол (*франц.*).

<sup>2</sup> Зд.: джазовую программу (*англ.*).

ли я? Куда там! Я был непринужден и весел. Я пил какое-то там «бордо» — медок года чешских событий, я ёрничал, изгалялся, шутил, а глаз мой, голодный, жадный глаз, как бы мимоходом облизывал золотистые корочки мяса, плавающего среди не снявших шляпы грибочков в жирном, травкой посыпанном соусе... Роджер подливал мне чешских событий, Джонатан вслед за мной отнекивался от очередного блюда, падала под стол проклятая перекрахмаленная салфетка, лейтенант Дурманова выныривала из-за спины с целым ворохом салата, и лишь на крошечный ломоть сыра согласился скромный идиот. Проглотив его вмиг. «Бри», — сказал кто-то. «Ядерный обмен ударами займет всего лишь двадцать одну минуту», — вставила неопознанная личность. Но мука моя не кончилась. Уже тащили с кухни самую настоящую спиртовку, что-то поливали коньяком, поджигали...

Солнце заливало столовую, жирным пластом лежало на сухом снеге скатерти, дурачилось на кривом боку серебряной сахарницы, фиолетовыми лучами кололось из зарослей жирандолей. «Фаллическая форма куполов русских церквей», — отвечал я кому-то. «Еще кофе?» — спросила Пола и посмотрела на меня с сочувствием. «До России, — как зуммом наехавший, начал Роджер, — мы пять лет жили в Пекине».

Я хорошо помню эти слайды. Красно-синий Китай, Великую стену, переходящую в кремлевскую, обрывающуюся берлинской... «Мой дед был шпионом в Китае», — сказал я, — в тридцатых доблестных годах. Еле смылся. Под него уже подвели жизнерадостный бамбуковый росток сорок пятого калибра, но он сделал ноги». — «Баснословные времена», — сказал Роджер без всякого там акцента и вдруг начал подавать мороженое. Я взял крем-брюле. Мороженое — чисто московский феномен. В любое время года оно, обладая таинственной сопротивляемостью режиму, доступно шахтерам и колхозницам, гетерам и капитанам второго ранга. Оно начисто лишено основного свойства передовой коммунистической продукции — исчезаемости. Я откусил край вместе с хилой вафелькой и побрел, гонимый

ветром, вдоль китайской, она же кремлевская, стены. Небо было невообразимо низким и давило на мозг. В него можно было вбивать гвозди. У Арсенальной башни, несмотря на меркнувший день, молодожены фотографировались у Вечного огня. Лети, белое платье, вздымайся, невинная грудь! Стой прямо, черный костюм, а вы, господа конвойные и гименейные, лыбьтесь и рыдайте от счастья, в тесном порядке протискиваясь в фотокадр... Не кто иной, как я, помнится, зажег этот вечный огонек в первый раз. Ух, как ломит зимнее мороженое зуб неизбывной глупости! Я сидел на могилке неизвестного солдата с работягами — гранитной плиты тогда еще не было — и распивал четвертинку. От населения нашей огромной страны мы были отгорожены деревянным заборчиком. Газ под светильник уже подвели, и ребята только что закончили возню с утеплением. «Эй, журналист, — крикнул мне один из них, — рубать с нами будешь?» И он бросил мне коробок спичек и открыл вентиль. На вечном газовом огне мы распустили две банки болгарских голубцов по шестьдесят копеек и умяли это дело с буханкой орловского хлеба... Вот о чем я думал, глядя на молодоженов, стынувших под сухим снежком в раздетом до озноба виде, — о банке голубцов.



С тех пор я стал бывать у Роджера регулярно. Два раза в неделю я занимался русским с детьми, а после них — с отцом. Дети и без меня набирались в школе на третьей скорости. Роджер был прилежен, и, за исключением Пола, заговорившей лишь перед самой их высылкой, все мы скоро перешли на апельсиново-механическую новоречь: «Kogda you'll come back domoi, do me a favour, pozvoni»<sup>1</sup>, — просил Роджер. На что я резонно отвечал: «From home? Ti chto, ohrenel?»<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Когда придешь домой, позвони, пожалуйста (*искаж. англ.*).

<sup>2</sup> Из дома? Ты, что, охренел? (*искаж. англ.*)



Его семья стала моей finishing school<sup>1</sup>. Никита притащил мне как-то бледную ксерокопию мидовского протокола и «Правила хорошего тона 1889 года». Я быстро вник в тонкости ношения бриллиантов, освоил три способа подсаживания дамы в карету, отметил на будущее, что не стоит ковырять в ухе крошечной вилкой для улиток, и наконец-то понял, почему мужчина должен идти сзади поднимающейся по лестнице женщины. Никита острил, что в те времена не было мини-юбок, но мы оба пришли к выводу, что ladies first<sup>2</sup> происходит из весьма половой жизни. «Если там ты не пропустишь ее вперед, если ты не дашь ей взорваться, а когда сам сверзнешься, обнаружишь, что она все еще корчится в ионосфере, не в силах ни взлететь, ни спуститься, тогда завал: перманентная истерия, гарантированная стервозность. Пропуская ее вперед, ты проявляешь себя истинным джентльменом. Все остальное: театры, похоронные процессии, кивки и рукопожатия, пируэты в дверях — чушь и бесплатное приложение. Уверяю тебя, — заводился Никитка, — если в постели ты ее пропускаешь вперед, она простит тебе любые огрехи».

Это было забавно. Мы трепались с ним о светской жизни в стране, где одно лишнее «О» округлило ее до нуля. С-о-ветская жизнь! Где один встает, поглаживая усы, и все садятся... Где протягивают не руки, а ноги... Где на «как поживаете» привычно отвечают — «спасибо, плохо». Где традиции настолько нарушены, что для официально-контактных с иностранцами издают внутренние инструкции, призывающие застегивать брюки и не сморкаться в салфетку. Хелло, Гертруда Стайн! Есть потерянные поколения, а есть и потерянные страны. Но уже набегают со всех сторон кипящие праведным гневом критики с Сен-Жермен; уже дудят в дудки розовые профессора свободных университетов;

---

<sup>1</sup> Зд.: высшей школой (англ.).

<sup>2</sup> Сначала дамы (англ.).



уже тащат к стенке за злопыхательство и патетическую клевету... Господа, отвечаю я, идите и поживите. Без березовых магазинов и «мерседесов». В Калуге, Кемерово, Куйбышеве, Клину или на любую другую букву. Не пудрите выжившим мозги! Я верю, что у вас есть приятель из Питера, чрезвычайно воспитанный знаток шестидесяти девяти языков. Я верю, что он прилежно вскакивает, когда в комнату входит ваша семнадцатилетняя дочь. Лично я рекомендовал бы вам послушать, что о вас думают на улице Счастливого труда, дом триста сорок один. О парижских адвокатах московского режима. Прямо при вас не высказываются. Но я вам это устрою. Есть, правда, в этом деле маленькое лингвистическое затруднение. Как бы неостановимый поток междометий. Эдакая труднопереводимая Ниагара внесловарных словечек.



Это Роджер, конечно, снабдил меня работавшими в разное время на ЦРУ Элиотом, Джойсом и Дарреллом. Это он привозил теперь пластинки, подкидывал мне западные журналы, одно наличие которых в моей квартире обещало праведный суд без помилования и устойчивый запах хвои. Однажды он предложил мне платить за уроки. Я отказался. «Ты не прав,— сказал он,— бизнес — это бизнес. И ты, и я будем серьезнее заниматься. Одно дело — дружеские отношения, другое — деловые». Я опять отказался, и он выдал теперь ему отлично знакомое слово «chudak»: «Лишние две сотни тебе не помешают. Для тебя это большие деньги, а для меня карманные, rocket money... О'кей! Как хочешь». Но, отправившись в Лондон за покупками, он и мне накупил целый вагон тряпок и, как я ни отнекивался, всучил. «У тебя, парень, комплексы,— сказал он.— Даже, может, и советские. Что у тебя там мельтешит в мозгах? ЦРУ? Ты сам не знаешь, какой ты счастливчик; ты более-менее вне игры. Но... Но, однако, ты не можешь избавиться от некоторых клише.

Кончай корчиться. Это твой гонорар».

Смеха ради, в следующий раз, одетый во все новенькое, в шубе нараспашку, в отличном костюме, в невероятных, черт знает что, каких-то сапогах, я наплева- тельски медленно прошел милицейский пост. Я даже задержался возле караульной будки, прикуривая на ветру. Постовой лишь краем глаза полоснул меня и отвернулся. Я попал в иностранцы. В дальнейшем на любые неудобные уличные вопросы я отвечал по-анг- лийски. И так как вычислить меня, от шнурков до небрежно повязанного шарфа, было невозможно — на- род линял. Я вкусил некую фальшивую свободу от московской толпы, столь назойливой, столь любящей поучать. Я мог теперь безнаказанно выслушивать, что трамвайный люд думает об иностранцах. Забавно: не- нависть мешалась с холопством.



Роджеру я передал выверенный экземпляр рукописи, твердо зная, что она никогда не будет напечатана в Союзе. Я попросил его переслать ее в парижское русское издательство. В Хельсинки только что было подписано соглашение, и, несмотря на врожденный скептицизм, мы все же на что-то надеялись. Один лишь Ося кисло морщился и предлагал вспомнить, выполни- ли ли отцы-правители хоть один пакт, который они подписали. Что ж, он был прав: ни одного. Кстати, об Осе — он позвонил мне и предложил прокатиться в Серебряный бор.



Климат этой части моего повествования надоевше зим- ний. Белый десант сыпет и сыпет с неба. День и ночь грузовики с наращенными бортами вывозят снег из города. Я так полагаю, что в Африку. Отличный экспорт. Сбрасывают самолетами: подержанный, se-

cond hand русский снежок. Стоят, раскрыв фиолетовые рты, дети, ловят идеологически профильтрованный снежок... Это вам не пифагоровские безделушки, геометрические штучки, звездочки и восьмиугольники! Падает снежок в виде серпов и молотов, зовет полоснуть серпом по яйцам разжиревших капиталистов, вдарить молотом по черепаам кровопийц...

Булгаковская была погода, когда мы выбрались с Осей на прогулку: последняя метель тащила свой хвост через столицу. Спали летние дачки, из дома отдыха с дорическими деревянными колоннами, крашенными золотой краской, выбежал человек в спортивном костюме. «За водкой послали», — прокомментировал Ося. Мы нашли утопанную тропинку меж соснами. «Что я вам могу сказать, голубчик, — начал он. — Будь у меня журнал, я бы вас тут же тиснул. Вещь зрелая, и, за исключением последней главы, мне не к чему придраться. На кой ляд вам его выбрасывать из самолета?.. Париж получился очень густо, хотя нам с вами, увы, этого не проверить. Однако глава вываливается... Уж не пастиш ли это?» — «А мат?» — спросил я. Мы повернули на набережную и пошли вдоль набухшей подо льдом реки. «В до сих пор свободном мире, — отвечал Ося, — так называемые неприличные слова прошли длительную обработку. Первые шоковые книги появились еще до второй мировой. К концу пятидесятых они стали классикой. Слово, обозначающее мужской половой уд, перестало торчать пугалом. Сексуальный словарь обтесался, этимологически произошло сглаживание. Дядя Зигмунд, безусловно, помог. Да и некоторые идеи более цивилизованы, что ли... По-русски ведь не скажешь — делать любовь... А жаль. Да и разница в понимании происходящего. Что умнее: кончай или jōuir<sup>1</sup>? Одно — любовное, живое, а другое — «кончай» — из какого-то производственного процесса. Можно сказать так: иго русского мата кончится только тогда, когда пройдет обработку свободного употребления. В языке нет случайных явлений;

<sup>1</sup> Наслаждаться. Зд. : наслаждайся (франц.).

сексуальный словарь отражает лишь состояние сексуальной жизни нации. «Об этом молчат!» — вранье. Любовники вечно изворачиваются, придумывая эфемеризмы, стараются вырваться из-под уличного звучания, пытаются сделать слово частной собственностью: дать имя, свое имя. У вашего поколения неприятнейшая, хоть и веселая задача — содрать покрывало с Марфы Семеновны и Петра Кирилыча. И они отнюдь не будут довольны... В то же время нам предстоит злоупотребление этой частью словаря. В пику цензуре. И задумывались ли вы, почему правители так боятся поднимать неподъемный половой вопрос? Только ли потому, что они в преклонном возрасте? Нет. Счастливая пара — это побег из нашего искусственного общества, возвращение к первоистокам. На кой, спрашивается, мне коммунистический рай, если я дорвался до врат Эдема? Правительство вообще запретило бы этот орган всеобщей опасности декретом номер один, если бы не нужна была рождаемость, солдаты, роты, строители пирамид. Конечно же, выгоднее сублимировать мощь яиц и покорять ею пространство и простор. И какой уд имеет право торчать там, где толпы поклоняются трупам?.. Хотя я и понимаю, почему вы укокошили героя. После России счастливым быть невозможно: действительно, спина сломана. Мы и там и тут в тупике. Человек тупика вопит, призывает и, не находя ответа, пророчит и грозит. Мы вопим, потому что нам давно больно; как только мы находим дыру, в которую можно вытолкнуть вопль, мы тут же надуваем легкие... Плюс фатализм. Из нашего тупика можно выйти только взрывом. Но взрыв может разрушить весь всемирный бордель. Но кого, кроме нас, колышет наша запретность? Есть, правда, внутренний выход: перейти на сторону силы. Принять тюрьму за благо, разрастание империи — за военный успех, страх — за доблесть. Попахивает, батюшка, чем-то знакомым? После России мы как новые евреи, нас раскидывает по свету, в нас тикает тот же механизм саморазрушения... Не отсюда ли наш с ними конфликт? По схожести?»



На льдине, несмотря на оттепель, сидел рыбак в тяжелом полушубке. Быстро темнело, и в коробках на той стороне уже зажигали электричество. «Мы нация скурвившихся гамлетов,— продолжал Ося.— Мы погрязли в рефлексии. И чем дальше мы продираемся сквозь время, тем бесполезнее думать о действии. Захожий дядька мнет и заливает спермой нашу пьяную мамашу, в бокал влит не яд, а слабительное, от которого понос терзает уже и не тело, а душу, и если призрак не является в полночь, то лишь потому, что мы сами давно стали призраками. Мы живем в несуществующем измерении».



Февраль? март? все еще фе, все еще враль?.. Что за календы за чужим окном?

Серенькое армейского сукна утро. С трудом раздирающиеся ресницы, скомканные простыни, голова, в которой взрываются тоскливые галактики. Что мы пили вчера? Где и с кем? Подружка моя, имя которой в дальнейшем тоже не пригодится, сбежала в свой институтский муравейник — рассчитывать опоры слоновых ног, зевать, рисовать крылатые фаллосы меж строк конспекта, извлекать, вытаращив воспаленно-бирюзовый глаз, соринку из карманного зеркала. От ее утренних всхлипов до сих пор напряжен мой зверь. («Как там поживает наш звереныш?» — ее скромное к сути дела соскальзывание.) Там, где недавно проскочила горячая молния, проживает теперь тупая торжественная боль. Выползая из-под драного одеяла, двигаясь с тошнотворной нежностью, чтобы не расплескать мозги, несую свою воздетую гордость в ванную. В таком состоянии я предпочитаю простое перечисление: грязные носочки, мокрое полотенце, крем для лица фабрики «Свобода», чашка недопитого кофе, размокший окурок, плавающий в унитазе. Зубной пастой

по зеркалу выведен все тот же крылатый, с двойной подвеской фаллос. Зеркало корчится, подсовывая мятую рожу. О цейсовской резкости объективов не может быть и речи. Убогий хаос квартирки оплывает, как свеча. Отснятый рапидом, я возвращаюсь в комнату. Плыву, преувеличенно осторожно перебирая ногаруками, ныряю под стол, заглядываю в холодильник, сшибаю с ночного столика лампу. Звук выключен, и я вижу, как она медленно, продолжая дергаться на черном шнуре, разлетается вдребезги. Плевать! За неустойчивость отвечает отдел кадров. В прихожей я заглядываю даже в ведро. Ничего нет! Все вылакали ночью под вой метели и арифметику будильника. Выпив, я обычно торжественно мрачнею, но поутру меня продирает откровенная сентиментальность.

Ватная, отдельно существующая, вечность уходит на одевание, борьбу с матовыми осколками лампы, на поиски дезертировавшего сапога. Глупо стоять в шубе и шапке, умирая с похмелья, тряся в ладошке гербы полтинников и лысых ильичей. «Эй, скинемся по лысенькому?» — говорит обычно алкаш на углу Цветного бульвара... Есть детская уловка: нужно отвлечься, дать сапогу время отдышаться, перестать играть в прятки. Так и есть — теперь он стоит, пристыженный, на газовой плите. Я ему не судья. Ночь есть ночь, и у нее свои законы.



На улице все еще метет, и нахлобученные статисты моей жизни, сгорбившись, бредут из пункта А в пункт Б.

Быстро идти я не могу: сердце обрывается и летит в бездну. Медленно идти слишком холодно. Струи снега бьют с праведным гневом. Ангелы, что ли, пушисто писают с высоты? Я крадусь вдоль стен домов, водосточных труб, ненадежных дверей. Арки мутно распахиваются, и в глубине их, в мутной, заблеванной глубине, дворник, конечно же, прикуривает у управдома и участковый танцует с пенсионером... О, хранители канцелярского тепла и околоточных ключей, домовые

нашей жизни!.. Иванов дунет в свисток, а Петров позвонит куда надо, и начальство узнает, что некий Тимофей Сумбуров, туняец и маразматик, алкоголик до коллик, нолик, ищущий шкалик, тащится, сукоедина, по городу светлого будущего в поисках опохмелки... Что ему народы освобождающейся Африки? Безработные на улицах Нью-Йорка? Что ему неудавшаяся засада Красных бригад на Черный сентябрь и лужи крови и вина в сельской пиццерии на полу?.. А урожаем стали и выплавка овса в Казахстане? А запуск балета Большого театра в полном составе на Луну? Жалкий отщепенец великой страны, его интересует лишь одно: открыт ли пункт по реанимации алкоголиков, пивной ларек на углу споткнувшегося о площадь бульвара... А что, если закрыт? Что, если слово «пиво» засекречено вчера в одиннадцать пятнадцать по кремлевскому времени? Мерзкая волна промозглой тошноты поднимается во мне. Как девятый вал Айвазовского и Ж. П. Сартр одновременно. Я останавливаюсь, упираясь в падающий дом руками. Он раздавит меня! Идиотская коллекция кирпичей! Испуганная девчушка в жалком пальтишке оборачивается на бегу... Занавес! Умоляю вас... Белый зимний занавес!..



Искусство пересечения больших городских площадей в состоянии синдрома опохмелки нужно преподавать во всех старших классах Союза. Я мог бы прочесть множество перевозбужденных лекций на эту тему. Дети мои, начал бы я, одной из загадок нашего общества равных невозможностей является тот грустный факт, что пивные ларьки, эти гуманнейшие заведения по спасению заблудших тел и полумертвых душ, находятся всегда на труднодоступных и бывшим олимпийцам территориях. Трамвайные пути, перекрещенные в виде пятиконечных звезд, виражи похоронных автобусов, стремительные пролеты спешащих арестовать диссиду и размечтавшихся академиков черных машин,

а то и просто траншеи и окопы земляных работ необычайной государственной важности — все это встает на пути человека обоего пола. Что могу посоветовать вам я? Вам, вступающим в жизнь, я — из нее выступающий?.. Мое абсолютное убеждение: водку не отменяют. Коммунизм и водка — братья по духу и сестры по борьбе. В некотором смысле водка и есть коммунизм. Так сказать, его база и его надстройка. Что же еще может так катастрофически сблизить генерала и колхозницу, работягу и министра? Четыреста грамм без закуски. Наш национальный напиток не есть ли он, спрошу я вас, та самая, от интеллектуальных онанистов ускользящая, по всем закоулкам мира блуждающая свобода? О которой рыдали поэты, которой боялись тираны... Свобода дается не просто. Взлет — это уже падение. Взлет без падения — это побег. Будь то общество или жизнь. На языке дворников и генсеков наше неизбежное падение называется состоянием мучительного похмелья. Когда тело спотыкается о душу. Слова этого нет в иностранных словарях. Если из русского похмелья вычесть английское hangover<sup>1</sup>, останется девяносто девять процентов бреда, жжения в мозжечке, тошноты, стабильной, как пятилетний план, головной боли, могущественной, как телефонный звонок первого секретаря... Как же двигаться, будучи мужчиной неполных двадцати семи лет или женщиной, штурмовавшей Зимний, Летний и Демисезонный дворцы, через со всех сторон продуваемую площадь к ларьку? Дети! Есть два способа, и оба хороши. Первый: вывернув голову как можно круче влево, наплевав на шуточки земного притяжения, тахикардию и позывы к мочеиспусканию, нужно стремительно пересечь полукольцо площади, не обращая внимания на хлюпающий снег и вопли машин. «Это их дело!» — как сказал Черчилль. Достигнув таким образом гудящих на ветру флагштоков, можно при желании опорожнить мочевой пузырь за трехметровым портретом вождя — меньше дует. Далее, продолжая игнорировать общественный транспорт в лице оформленного вспышками трамвая, пересекается без потери ритма второй отрезок. Смысл

---

<sup>1</sup> Похмелье (англ.).



есть уступать дорогу лишь правительственным лимузинам, черный цвет которых даже при поверхностном взглядывании чернее обычного. Возьмем теперь, пионеры и школьники, линейки и рейсфедеры и прочертим эту драматическую прямую от точки бедственного стояния на внепивном берегу до нашего маленького рая. Не будем забывать, что пространство по Лобачевскому кошкой старается выгнуть спину... Философы, дети,— это люди в состоянии хронического похмелья. Вместо пива у них в дело идут озарения и просветления... Второй способ проще. Это стремительное пересечение вдребезги игнорируемого пространства с практически закрытыми глазами. Правую руку в таком случае нужно держать на манер политических лидеров, призывающих небо в свидетели. Помните: состояние внезапной паники способно вас как бы распахнуть на полупути к счастью — и тогда... А посему: нужно погегелевски напрячь волю и поштайнеровски мыслить мирами, а не дрочить воображение картинками из жизни реаниматоров...



Мне повезло. В очереди вертикально лежало не более пятнадцати страдальцев. Дядя с озверевшим маленьким личиком мял, но не открывал лежащую в огромной ручище трубочку валидола. Я и сам весь взмок. Народ не базарил: утренние часы — время серьезное; возвращение в жизнь — это вам не пионерский поход в крематорий. Странно, водили в седьмом классе, а вспоминается сейчас. Действительно, на кой хрен водили? Знакомить с курносой? Торжество ножниц над материей. Там был оркестр слепых музыкантов, слепых и колченогих. Там был ни на что не похожий запах, даже и не запах, а воздух, шныряющий по залу. Любовь Аркадьевна, наша училка, ложилась ли горою растекающихся выпуклостей на выдвигающийся стол? Или это сейчас черный снежок горит в моей раскаленной башке? Словно кто-то шептал там на ухо: расти-расти, а мы тебя в печку... Ты у нас в трубу вылетишь... От одной только мысли о короткой трубе, приставленной грязно-

му небу в висок, мое сердце мокро перевернулось. Давай, мужик, двигайся, толкают в спину, а то останутся от х... уши. То-то и оно, вдруг пиво кончится; страшнее не бывает... Сосредоточенные, опухшие, небритые мужчины отходят от киоска, держа в растопыренных трясущихся клешнях по три, по четыре кружки пива. И я получаю свои две и отваливаю к скамейке, на которой сидит уже, переживший метаморфозы сложнее штучек Ламарка, ханыга. Глаза его совершенно никуда не глядят, а это уже высший класс.

Легче проглотить бильярдный шар, чем сделать первый глоток. Ханыга, так и не поворачивая головы, вдруг выдает: «Опохмелялся ли Наполеон на острове Святой Елены? И если да, то падала ли с него треуголка?» От неожиданности я делаю то самое судорожное движение, чтобы не подавиться, и пиво фабрики «Золотой колос» протискивается в нутро... Мне вовсе не смешно. Если бухой дядя с утра думает о Буонапарте... Я доливаю себя, несмотря на слезы, и клубящаяся Хиросима вздымается во мне. «Антракт,— говорю я дяде,— антракт три минуты». В голове, как в ремонтируемом доме, рушатся этажи, ухают перекрытия и все закрывает влажная липкая пыль. На слух, на ощупь за нашими спинами к Яузе несется трамвай. Время ёрничать и время трезветь; время занимать деньги и время отнекиваться от долгов; время базлать о времени и время неметь от словоблудия. Господи, думаю я, почему ты устроил все так бесконечно однообразно: эту зиму, тянущуюся из жизни в жизнь, эти рожи с воспаленными зеницами, этот снежок у меня на воротнике и эту тоску, ковыряющую душу кривым ногтем? Где море, оно же — солнце? Почему князя в малиновых шароварах не откатали столицу к югу? В шароварах и в меховых шапках на буйных кудрях. К югу, которого навалом... Почему я сижу здесь, а не лечу по пятнистому от солнца шоссе в двухместном чудовище навстречу судьбе, принявшей вид какой-нибудь там румяно-русой носительницы противоположных признаков? Где эта калитка, открытая в сад, заросший мальвами и виноградом? Неужели я противоположа-

зан самому себе? И почему я таскаюсь в этом заповеднике передового мрака с гибнущим серым веществом головного мозга, среди нелюбви, затравленности и напрасно облетающего календаря? Зачем на Таганке объявился лжепророк, а в калужской деревне коровы перестали доиться после визита НЛО? Господи, зарегистрируй меня первым членом клуба Известных Нелегальных Объектов. Таких, как стул и кровать, пишущая машинка и собачий коврик... Господи, для чего столько яда влито в каждый глоток воздуха?

Ответом мне был затяжной, раскрывший тьму перебой сердца, и я поплыл, одной рукой вцепившись в спинку скамейки, к берегам Стикса, и ханыга, перегнувшись, ухватил меня за шарф, не давая упасть, заглядывая в меня с любопытством, почти с радостью, пустыми своими глазницами и иссопливленным лицом...

Господи! Неужели, если я и вправду должен отплыть туда, это то, что я увижу последним?



Мать висела надо мной, закрывая спящую лампу. Был вечер. Отдельно от моей жизни где-то играла музыка. Отдельно слышались голоса в коридоре, чьи-то шаги. «Ничего страшного», — сказала мать и распрямилась. Была она в белом халате, и ее инициалы были вышиты побледневшей от стирки ниткой в углу кармана. «Арс вот-вот освободится и посмотрит тебя». Я был слаб и весь болтался в суставах. Из меня выпустили воздух. Арсений Семенович занимал соседний кабинет. «Посиди в коридоре», — сказала мать, — у меня вон трое больных ждут. Пить тебе надо кончать, — сказала она мне в спину, — от этого, между прочим, потенция падает...» Я сидел в мутном коридоре, а мимо шаркали старушки и старички, бывшие вершители революций, устроители всеобщего счастья. Вот прошамкала мимо очередная Марьяванна, печень, батюшка, донимает ее теперь, а не прибавочная стои-

мость, левый ослепший глаз и правое загноившееся ухо, а не слияние города с деревней. «Чего вы там намудрили в семнадцатом?» — подмывает спросить ее, да она уж и не помнит. Арс, потирая руки, стоит в дверях кабинета: «Ну-с, юноша? Опять тутанхамонитесь?»»



В первый раз я умер, когда мне было семь лет. В вечернюю форточку впархивал снежок, пахло яблоками, дезинфекцией, глажкой. Госпиталь был военный. Я лежал у окна в совершенно пустой громадной палате. Без всяких вдруг, очень просто, с прозрачной достоверностью, в какой-то миг я увидел, что вещи, стены, сам розовый вечерний воздух, лампа под потолком словно вставлены сами в себя. В раме была рама окна, точно совпадающая по размеру. Длинное, густеющее ультрафиолетом облако с малиновой опалиной находилось внутри точно такого же облака, с точно такой же, расплыв цвета повторяющей, подпалиной. И я был вставлен внутрь самого себя, как в футляр. Это был миг, когда произошло расслоение. Я увидел то, что часто вижу и теперь: живые и мертвые вещи вынимаются сами из себя. Мне не было страшно; лишь слишком настойчивый прохладный ветерок бил ниоткуда все сильнее и сильнее. Я чувствовал, как падает температура. Она падала точно так же, как ртуть в градуснике. Все теряло вес и в то же время наливалось новой тяжестью по форме предметов. Облако в окне стало гаснуть. В лицо мне уже не дышал, а бил настойчивый, волосы развевающий ветер. Я не мог шевельнуть и мизинцем. И в это время лопнула где-то сбоку находящаяся дверь, громыхнул резко поставленный поднос и нянечкино лицо, плотное, без всяких там раздваиваний, наплыло на меня, и от этого живого контраста все пошло волнами, и боль вернулась вместе с горячим всхлипом, кто-то уже вопил: «Камфору!», и нянечкин уютный голос где-то на отлете сказал: «Святые угодники! Так его ж ведь и колоть-то некуды...»



Арс, чистенький, розовенький, с такой детской глянцеводынной тонзурой, что хотелось вывести на ней химическим карандашом неприличное слово, копошился в изножье кушетки с лягушачьими присосками кардиографа. «Рассказывайте. Только не завирайтесь. Опять то же самое?..» Ползла на пол бумажная лента. «Дышать,— говорил Арс,— не дышать... Дышать...» Он мял мои останки, склонив голову, слушал. «Как спим?» — спросил он. «По-всякому,— я застегивался.— Что, опять ничего?» — «Гуляй, симулянт,— уже улыбался доктор,— на тебе воду возить можно». — «Японский бог,— начал я, чувствуя, как все тело освобождается от омертвения,— так что же? Опять психосоматика, растуды ее в Китай?!» — «Невроз! Невроз, голубчик, и ничего более. Клапана твои стучат, как колеса транссибирского экспресса. Объясню... Объясню... Ты свое напряжение копишь, копишь,— почесал он лысину стетоскопом,— а потом оно у тебя через какую-нибудь дыру вываливается. А так как по старой памяти у тебя слабое место — сердце, то оно тебе и устраивает спектакль... Так? Ты своим ощущениям не доверяешь; перебои там... тахикардия; все крайне субъективно. Тебе и приходится доверять профессионалам, кардиологам. На сколько тебе хватает такой психотерапии? На полгода? Гуляй! Гуляй и забудь. У всех оно дергается. Все мы в обмороки падаем. Матери скажи, чтоб она тебя выдрала».



По дороге домой я купил молока, сыра, хлеба. На кухне сиамские коты рылись в обедках. Из кладовки, как всегда в трусах, вышел чемпион коммуналки с домкратом в руке: совсем недавно он умудрился разобрать одну из своих, слева купленных, машин и забить ею до потолка общую кладовку. «Привет,— сказал он,— там твой Цаплин загибается».

Дверь в мою комнату была приоткрыта, и я увидел ноги Цаплина, худые ноги в плоских огромных ботинках, свешивающиеся с тахты. Горела лишь одна нижняя лампа. «Помираю»,— сказал Цаплин. Лицо его действительно провалилось. В дверь всунулась жена чемпиона, огромная тетя с золотой цепью, не свисающей, а спокойно лежащей на груди. «На такой груди,— говаривал Никита,— можно сервировать завтрак на четверых». «Приятель ваш,— сказала она голосом, в котором жила притаившаяся буря,— доставил нам хлопот. «Скорую помощь» пришлось вызывать. Пол за ним, бездельником, мыть. Если еще хоть раз...» Я врезал по двери ногой.

Через час, когда я кончил паковать дорожную сумку, собрал бумаги и зачехлил машинку, Леня Цаплин уже сидел в старом кожаном кресле, пил четвертую чашку кирпично-крепкого чая и, со своими взлетающими интонациями, рассказывал. «Ста-а-а-рик, я решил бросить есть. Ешь, ешь, а на хрена? Вон йоги одно рисовое зерно неделями жуют... Да и деньги на жратву уходят. Вот. Ну я и не ел неделю. Горюшкин — помнишь, такой квадратный? — таблеток мне дал, чтоб есть не хотелось. И, старик, приятно! Так легко. Голова, правда, кружилась зверски, старик... Но она у меня,— он выпустил мокрый смешок,— сам знаешь, всегда кружится, и все не в ту сторону. А сегодня шел мимо, дай, думаю, к Тимофею зайду... Зашел и помер. Понимаешь, старче, как-то весь сразу и помер... И эти твои... Этот бугай и его корова чуть меня не убили. «Наркоман!» — кричат. «Еврейские штучки! На жратве сэкономишь...» Ну, так ребята из «Склифа» приехали, промыли всего кишкой — ужас! Никакого гуманизма! Закатили чего-то по вене и смылись... Таблетки отобрали. Жрать велели, идиоты. Вивиконанда вон месяцами на одной пране сидел. На пране и на воде...»

Леня Цаплин попался мне в какой-то компании несколько лет назад. Написал он в своей жизни единственный рассказ, притчу с настолько затаенным глубинным смыслом, настолько мудрым намеком на всю человеческую историю, что он никак не проступал.

Рассказ всегда был при нем. Он посещал мастерские левых художников и убеждал, что его нужно срочно иллюстрировать. Был он, к несчастью, настолько назойлив, что его отовсюду гнали. Он собирался в Израиль, учил иврит и никак не мог избавиться от затянувшегося девичества. «Со шлюхой я не хочу,— говорил он.— Шлюхи, они нечистоплотные. Вот я познакомился с дочкой прокурора. Ей девятнадцать лет, старина, и она сама предложила переспать.— Он сделал многозначительную паузу.— Я отказался. Из-за папаши. У них это быстро: «Евреи... наших дочек...» А она меня, старичок, сама за яйца хватала, не веришь? Не-е... Закатят куда-нибудь на лесоповал, а у меня здоровья, как у китайской балерины. Или в психушку. Спасибо. Я уже был. По собственному почину. А жениться на ней, потом в Израиль фиг пустят... Папаша засекречен, бумагами питается... Точняк!.. А девушка она хо-о-рошая!»

Я видел их однажды вместе. Две скелетины. Крупно цветущие прыщами. В очках. С нечесаными лохмами. Леня обучал ее разным позам из хатхи. «Старик! — звонил он однажды.— Я ей показал позу плуга. Кишечник там, придатки, задатки, крестец, ды-ды-ды... Она ножки задрала, а под юбкой у нее ничего! Специально! Честное слово!..» Трахнула же его все же профессиональная, самой древней профессии, красавица. Попался он стареющей львовской курве, фарцующей гастрольно в столице мира. Отвела она его в чью-то квартирку, заманив «Закатом Европы»,— прощай, пионерское детство!.. Леня Цаплин появился гордый. «Она не проститутка, старина. Конечно, она спит со всеми. Но она, старик, разрушает монополию государства на торговлю. Такие люди воссоздают нормальные отношения в этой идиотской стране. И Шпенглера достала. И каторжанина! И Бергсон будет, старичочек!..»

Каторжанином был, конечно же, Солженицын. Он же — Сол. Девушка не обманула и привезла целый чемодан нелегальщины. Пожиратель книг, Леня прочел их раза три подряд и продал. «Создаю финансовую базу,— объяснил он,— для отвала на родину предков.

Вообще, если не хватит, я думаю, ребята скинутся, кто сколько может. Ты, например, столыжник дашь?»

Он вечно носился с безумными идеями. Идея свободы реализовывалась у него в виде свободных плавающих островов. Он рисовал города-платформы в волнах карандашного океана, придумывал флаг, тщательно составлял список тех, кого он пригласит в коммуну. «Главное,— говорил он,— чтобы идею не украли. Я должен быть первым. На Западе — Израиль, конечно же, был Западом — я сразу рву в ООН. Проблема перенаселения решена!..» Как-то он пришел весь мокрый, как губка. В польском журнале он вычитал, что какие-то ребята уже подняли флаг свободно плавающего братства. «И так всегда,— размазывал он слезы по небритым щекам,— придумаешь что-нибудь гениальное и гниешь в братской советской могиле...»

Посылал он письма принцессе Анне с предложением выйти за него замуж. Была там потрясающая фраза, что-то вроде «представляете, как удивим мы мир, погрязший в рутине предрассудков? Мы ломаем границы привычного» и т. д. Ответа он не дождался. «У нас чего? У нас письма из-за бугра,— говорил он,— на телегах возят. ...А они в грязь падают».

Я решил уехать ночным поездом. Москва давила на загривок: пора было сматываться. Я раскупорил бутылку скотча, которую Мила достала в закрытом буфете. Леня тоже выпил и сразу закосел. Я сделал ему трехэтажный сандвич, и он впился в него с подвыванием.

«Старик! — бубнил он с полным ртом.— У меня новая идея. Только тебе выдаю: порнографические марки... Просто и гениально. Выеду и займусь. Деньги будут! А? — Он даже перестал жевать и выжидательно уставился на меня из-под очков. Не дождавшись, он медленно откусил край сандвича и на прежней скорости понесся вскачь: — Главное, свободно пересекают границы. Греческие геммы, японские хреновины из учебных пособий по сексу для малолеток, все, что было раньше в загоне. Вот только нужно выяснить, есть ли в почтовой конвенции пункт по этому поводу...» Длин-



ными пальцами он собирал крошки сыра со штанов. Я познакомил его с одним из участников нелегального журнала, занимающегося проблемами евреев, и вызов в Тель-Авив ему сделали за несколько недель.

Выпив, он ходил по комнате и все на своем пути ворошил, переворачивал, вытаскивал. Меня всегда бежала эта его привычка. У него была шизофреническая моторность. Он открывал коробки на столе, выдвигал ящики моего письменного стола, возился в холодильнике, залезал в рукописи. Я взрывался. Он обижался. Я пытался приучить его звонить, прежде чем нагреть, я выставлял его и хлопал дверью. Ничего не помогало. «Слушай, Цаплин,— сказал я,— я уезжаю через час. Мне нужно сосредоточиться, понимаешь?» — «Чего, выгоняешь? — кисло уставился он на меня.— Полумертвого человека?» И он налил себе еще скотча, выпил залпом и утерся тыльной стороной ладони. «Хрен с тобой,— сказал он,— не все выдерживают общение с гениями. Когда вернешься?» — «Когда деньги кончатся»,— ответил я. «Слу-у-у-шай,— застрелял он, к моему ужасу, в дверях,— а что, если я пока у тебя поживу?»

Вот этого я и боялся. После него в доме черт ногу сломит: рукописи будут перемешаны в кашу, пластинки запилены, а соседи объявят гражданскую войну. Милиция будет на их стороне. «Не могу,— соврал я,— я уже отдал ключи приятельнице». — «Э-э-э... — покачал он пальцем,— нас на бабу променял...» И он отвалил, и, пока дверь, скуля, ползла, закрываясь, я видел, как он шел по коридору, хватаясь за стены.



Было лишь восемь часов. Я позвонил Никите, и он согласился дать мне свою максплеевскую ракетку. Моя за зиму свернулась в бараний рог. Я пошел пешком. На душе было легко — я уже запихнул на верхнюю полку дорожную сумку, проводница разносила чай, а за окном, съезжая в чернильный мрак, мелькали подмосков-

ные деревни. Я выскользнул. Арс был прав. Я не доверял своим ощущениям, мне раза два-три в год нужна была перепроверка. И Крым. Я не мог жить без моря. Во всем мире — я усмехнулся сам себе на зebre перехода,— во всем советском мире я чувствовал себя дома лишь на берегу моря, на обрыве солончаковой степи. От похмелья не осталось и следа. Сердце билось ровно, как у пионерки. Откуда тогда этот вихрем налетающий страх смерти во мне? Не общей, как воинская повинность, а в виде дыры на месте сердца?.. Я загибался три года подряд, с шести до девяти. Аккуратно менявшиеся доктора щупали и мяли мои цыплячьи ребра. До сих пор я помню сквозь расфокусировку памяти эти распахивающиеся халаты (скорее, сигнализация — мы оттуда, из стерильной нежизни,— чем гигиена), эти друг дружку потирающие, но все равно вечно холодные руки... Что-то странное происходило тогда с моим слухом. Рецидивы и посейчас накатывают гулками волнами, и я тону от плеска ржавой воды в ванной двумя этажами выше. Слух мой, разросшийся, свободно гуляющий окрест, выуживал то ножницы матери, которыми она распарывала для перелицовки жакет (крестик ножниц, превращающийся в неустойчивые единицы), то глянцевого треск карт в дедовском кабинете (офицеры в рубашках, перекрещенных на спине широкими помочами, склонившиеся в сизом дыму над коньяком и преферансом), то бабкину возню с хрустальной пробочкой графина — желтая кровь кагора, которым она питалась втихаря.

...Я мог блуждать слухом по всем закоулкам квартиры. Вот сухой, с длинной трещиной голос профессора: «Шансов мало. От силы два-три месяца» — и хруст сторублевки, которую он, не глядя, кладет в нагрудный карман. А вот тележка однорукого ветерана, обменивающего пустые винные бутылки на самодельные игрушки. Она прокатывалась под окном за час до обеда. Я слышал шепотом бегущие по всем лестницам детские ноги, я слышал звон выпрошенных у родителей бутылок, аккуратно опускаемых сержантом в мешок. Что он

привез им сегодня? Проволочных стрекоз со слюдяными крыльями? Мандарины набитых опилками мячиков на длинных резинках? Тещины языки: по-турецки скрученные свистульки, мажущие губы дешевой краской? Или же настоящего воздушного змея с жирным иксом на спине и бородой из мочала? Четыре бутылки нужно было раздобыть, чтобы завладеть строптивым чудовищем. Неужели и я когда-то бежал по пустырю, держа за нитку десятого номера рвущегося прочь змея? Пустырь был стрельбищем еще недавно, и Колька Сметанкин нашел в яме ржавый револьвер, а сын адмирала Кошкина, высокого седого старикана с золотыми нашивками на рукаве, исчез в кустах бузины, в кустах розово-черного взрыва, и мы все бежали к домам, и никто не хотел вернуться и посмотреть. Ручные гранаты после войны можно было выкапывать, как картошку...

Одинаковые тихие накрахмаленные голоса отпускали мне жизни на три недели, на месяц, запрещали шевелиться, поднимать руку, переворачиваться, садиться... Я лежал, сплюснутый запретами, и на слух обшаривал мой крошечный космос, сантиметр за сантиметром, не всегда, впрочем, опознавая звук, и тогда включилось единственное, что могло резвиться и прыгать во мне,— мое свободное, с разбитыми коленками воображение. Я помню белую гривастую кобылу, на которой я скакал в те как бы запотевшие времена, сквозь клубящуюся цветущими садами Москву на помощь попавшей в беду красавице. Небесное создание, жившее на семнадцатой странице «Трех Толстяков», голубоглазая мечта моего детства,— я вытаскивал тебя из задымленных горящих комнат. Глупая! Ты забивалась под треногий неуклюжий, уже со сморщенной от жара кожей, рояль... Я был неплох в белой пузырях рубашке, с короткой морской шпагой на крыше дровяного сарая; один, конечно, против трех добродушно-мерзких небритых рож, похитивших мою синеглазку. Сколько клюквенных дыр я понаделал в них! Но мой настоящий триумф — медленное путешествие по сол-

нечному лучу над забитой чернью площадью. Странные пистолеты употреблял я в те времена. Граненые их стволы наливались небесной лазурью, пока я целился в пивное брюхо палача. Звуковая дорожка моих приключений чаще всего отсутствовала, но я отчетливо помню, как с тугим продвижением второй фаланги указательного пальца, вдавленного в курок, грянул и рассыпался звоном лопнувших окон (в каждом окне по облаку) выстрел. Стоило бы хоть сейчас, с опозданием на двадцать семь лет, послать бабушке телеграмму в ее генштабовскую богадельню — благодарность за идеальный синхрон, вовремя выроненный поднос со столовым серебром.

Но в дни, когда эверестом карабкалась температура и с невидимой иглы падала, сообщая о готовности, росинка лекарства, я не мог представить себе ни обычной трамвайной улицы, ни соседней комнаты. Всегда, неизбежно, с сердечной тоской я видел одно и то же пустое кожаное кресло на коротких кривых ногах. Я напрягал все свои жалкие силы, пытаюсь соскользнуть вбок, вверх, упасть внутренним своим зрением на пол, — ничего! Ровно стоящее, лоснящееся потертой кожей, тускло мерцающее ржыми гвоздями кресло... Когда оно появлялось, вылупляясь из общего порядка вещей, я уже знал — наступает кризис. И бывало, мать еще только морщит лоб и бродит вокруг телефонного столика, а я уже корчусь под гипнозом кресла, пытаюсь закрыть закрытые глаза. Больше всего на свете я боялся, что в одно из своих появлений кресло оживет и кто-то даже и не холодный, а внетемпературный, давно ждущий опустится на оливковое сиденье и сложит вместе прозрачные пальцы.

Когда мне разрешали самому держать в руках книгу, она вдруг начинала разрастаться до жутких перекошенных размеров, а чайная ложка и подавно вытягивалась через всю комнату, наливаясь невыносимой, но подвижной тяжестью. Лет в восемнадцать, когда я впервые по-настоящему нарвался на буклет запрещенного Дали, я был поражен точностью его иллю-

страций ко дням моего умирания: растекающиеся тела и их подпорки, перепады веса и обособленный, отрешенный голубой воздух. Меня, помнится, окатила волна слабости в уютной мастерской известного художника, отличного портретиста, увы, словно приписанного к кремлевскому парикмахерскому салону, к меняющимся бородам, усам и бровям. Книгу, которую он мне дал, я ощущал как ожог или порез. Мне пришлось положить ее на стол, но и переворачивая страницы, я отдергивал пальцы.

За три года, в которых было больше зим, чем апрелей и августов, домашние мои свыклись с затянувшимся умиранием. В итоге что-то сдвинулось, ожил крошечный, но мускулистый протест. Я стал садиться в кровати. Кружилась голова, я цеплялся взглядом за чашку на подоконнике, чашка соскальзывала, но не разбивалась, я упирался изо всех сил в красное с ранкой надкуса яблоко — жужжащее вращение останавливалось... Я медленно вставал — ватно в ватных волнах постели (дитя войны: одеяло было стегано парашютным шелком) — и пытался подтянуться, чтобы залезть на вплотную к кровати придвинутый гардероб. Через какую-то календарную вечность мне это удалось, и я стоял на четвереньках на припорошенной седой пылью крышке гардероба и разглядывал огромные желтые фотографии, аккуратно сложенные в папку с тесемками. Великолепные бородачи строго восседали в креслах, а рядом строго стояли волоокие дамы в пышных платьях. Я нашел меж страниц газеты со сталинскими лозунгами фотографию матери. В шелковом переливчатом платье она сидела на качелях, вделанных в невидимое фотографическое небо, пальма росла из кадки, мать была старше себя самой. Свалившись вниз, в подушки, я долго отдыхал, глотая разорванный воздух. В начале мая я уже мог пять раз подряд взбираться на свой кавказ, а в июне, в полном стремительных ливней июне, при полном собрании нашей осколочной семьи, мне было разрешено встать с постели. Мать держала меня за обе руки и жалко улыбалась,

словно приглашая танцевать, на столе стоял целый куст жирной сливочной сирени. «Что же это такое, Господи!» — всхлипывала в углу безбожная моя бабка, и, отворачиваясь, хлопал по карманам, ища спички, дед — я не умел ходить. До сих пор во мне живет уверенность, что я обязан сам себе, скуке и заброшенности — выздоровлением. Всхлипывавший всеми клапанами мой мускул натренировался в тюленьих прыжках. Но я навсегда впитал прозрачные минуты умирания и голоса докторов, тихо извиняющихся в коридоре за свое бессилие, за смущенную уверенность в моей скорой смерти.

Мои сверстники играли в расшибалку тяжелыми екатерининскими пятаками, когда меня вывозили на прогулку в дохлый садик, но уже через семь лет на стадионе Юных пионеров я перелетел зыбкую планку на восторженной высоте и, оттолкнув все еще пружинящий шест, рухнул в яму с опилками, установив рекорд района, а еще через три года меня гнали двадцатикилометровым маршем через тайгу, и автомат бил по спине, и мешала саперная лопата, и скатка натирала подбородок, и шухаряга ефрейтор Климов, завидев у раскоряченного трактора бабу с ведром, на ходу кричал: «Хозяйка, дай воды напиться, а то так есть хочется, что не с кем переспать...»

Дополнения и уточнения: бабке на качелях шел лишь двадцать первый год, но выглядела она действительно старше внучки; странности слуха привели меня за год до армии в институт экспериментальной психологии. Опыты шли в изолированной затемненной камере. В час платили три с чем-то. В графе, указывающей на тему, стояло простецкое: опыты по мозговому утомлению. Я сидел, опутанный проводами датчиков, обязанный каждый раз, как только услышу изменения в частоте почти неуловимого сигнала, нажимать кнопку звонка. Я не только слышал выше всех норм, но и слышал, как за стеной звукоизолированной камеры оператор поворачивает свой диск. Каждое деление, на которое я по идее должен был реагировать, давалось ему с легким хрустом.



Никита был небрит, сентиментален, растерян. Он вышагивал из угла в угол кухни и грыз ногти. «Что случилось? — уставился на него я. — Начинаешь новую жизнь?» — «Боюсь спугнуть старую курву Фортуну, — морщился он. — Забодал товару на девять кусков... Хочу притормозить... Влюбился...»

Влюбился! Никита влюбился! Половой разбойник Никита влюбился! Какое слово, приятель! Мы ржали, как два идиота. Никита вытащил из морозильника две пачки пельменей, я прихватил капиталистического максплея, и мы отправились ко мне — скотч был на моей территории.



Я никуда не уехал. Дверь, не успев я вставить ключ, распахнулась. Незнакомый рыжий дядя улыбался с порога. «Добрый день, Тимофей Петрович», — сказал он. Везде горел свет: на кухне, в коридоре. Агитатор? Выборы? Голова не справлялась с лыбящимся дядей. Никита со сползшим лицом пошел первым. Я попытался пропустить дядю вперед, но он ласково замахал руками — к чему, мол, формальности... Дверь нашего чемпиона приоткрылась, и оттуда все с тем же заинтересованным выражением на красной ряхе высунулся еще один... Я все еще не понимал. Из-за спины второго виднелось бледное лицо чемпиона. Я потянул за собою дверь, закрывая, но неизвестный ловко подставил ногу. «Можно к вам на секундочку?» — ласково спросил он. «А в чем, собственно, дело? — спросил я. — Я спешу на поезд». — «Да уж и стоит ли спешить? — входя, сказал второй дядя и протянул мне вдвое сложенный лист. — Поезда у нас по всем направлениям ходят», — добавил дядя. И, еще не добравшись до первой строчки, я увидел в левом верхнем углу — и потянул на себя ящик письменного стола — гриф КГБ — и тут же сильно получил по руке. Кромешник, поднимая лекарство

и читая название, совсем уже другим тоном сказал: «Не больше двух, а то заснете и весь обыск коту под хвост... Сычев!» И в комнату вкатился третий: маленький, кругленький, с оттопыренными ушами. «Вам предлагается добровольно сдать наркотики, оружие, иностранную валюту, драгоценности, запрещенную литературу...» — читал свой стишок дядя. «Не имеется». Я уже пришел в себя, но вечер был совсем другим, словно все подменили, словно ГБ было фокусником, специалистом по подмене реальности. Все было теперь немножко неправда. Никита стоял у стены, его обыскивали. У меня из кармана тянули записную книжку. Я лихорадочно соображал, дома ли отрывок из Солженицына, вернул ли я посадочного Оруэлла даме с камелиями, она же Мила, где Хроника Утекающих Событий, просекут ли они телефон Роджера, записанный наоборот... Ввели понятых, судя по всему студентов. «Место работы?» — спросил налившегося кровью Никиту капитан Хромов; развернутое удостоверение он, забыв наконец свою улыбочку, держал перед моими глазами. «Только что уволился,— вместо Никиты ответил лейтенант Сычев,— пока изволит отдыхать...» — «Нехорошо, Никита Григорьевич... Так и до тунеядства можно докатиться. Придется вашему отцу пожаловаться...» — «Моего отца ваши ребята шлепнули,— задохнулся Никита,— по ошибке...» — «Тише, тише,— прорычал, снимая пиджак, капитан.— Ошибки прошлого учтены. В том числе и перестрелка в институте Курчатова». — «Ах, юроды! — Я никогда не видел таким Никиту: безголосым, с пеной на губах...— Какого же хрена подкалывать, если вы по архивам прошли?» Капитан, аккуратно расправив, повесил пиджак на спинку стула. Под мышкой у него была короткая рыжая кобура.



Во втором часу ночи в хаосе перевернутой вверх ногами комнаты начал проступать порядок. Со дна раскрытой тахты был извлечен последний обрывок печатного,



как они называли, материала. Понятые заканчивали просматривать гору журналов, пытаясь напоследок обнаружить застрявший меж страниц лист или письмо. Маленький шустрый Сычев, отодрав оклейку окна, ловко откупорил обе половинки и, улегшись животом на подоконник, шарил вслепую под оцинкованным заоконным карнизом. Стены были простуканы, из паркета вынули несколько расшатанных половиц. Отобранный материал лежал на рогоже мешка: кипа бумаг, «Пари матч» десятилетней давности, ворох магнитофонных пленок, фотокассеты, «Поэма без героя», «Воронежские тетради». Среди промелькнувших бумаг я успел заметить письмо Солженицына, переписанное от руки консультантом по Парижу, отставным послом, да несколько страниц моего черновика на желтой технической бумаге. Я нашел несколько рулонов этой желтой бумаги на даче у академика и, разрезав, печатал на чистой стороне: не на военных ли тайнах, черт побери? Папиросной бумаги с Хроникой не было. Капитан попытался было присоединить к вороху добычи и пачку западных пластинок, но я чисто инстинктивно успел вставить: «Не мое...» И Чарли Мингус миновал Лефортово.

Я сидел и пытался припомнить хоть что-нибудь из процессуального кодекса или из диссидентских рекомендаций. Но кодекса в открытой продаже не существовало, единственный раз я листал его в Осиной захлавленной библиотеке, а из правозащитного материала в голове застряла лишь мудреная статья о презумпции невиновности — словосочетание, от которого вскипает кровь даже у отставного гэбэшника.

В уборную повели под конвоем, закрывать дверь не разрешалось. Еще бы! — утоплю свою преступную голову в ржавом унитазе и тем самым уйду от справедливой кары. Кар-кар! Кто это сказал: «Унитаз — лицо хозяйки»? Мамаша одной из красоток, высокопоставленная бабенка... Отвели и в кладовку. Предложено было указать мои места. На полатях стояло два чемодана изрядно истлевшего самиздата первой волны, с трудом

раздобытых газет довоенного времени, каждая из которых громом звучала и попахивала не пылью, а дальней дорогой. «Что здесь ваше?» — повторил капитан. Я ткнул пальцем в угол, где, зажатая в раму, напрасно ждала перетяжки ракетка, восьмеркой изогнутая стояла вторая, валялись мои «норвежки» да еще была коробка из-под китайского времени песни «Сталин и Мао братья навек» печенья, набитая железной чепухой. Капитан пошарил глазами, царапнул и меня по лицу и повернулся уходить. Над его головой висела, надписью к стене, самодельная табличка «Ул. Мандельштама», которую лет десять назад мы с Ваней пытались повесить в Фурмановом переулке.



Никита сидел мрачный. Курево кончилось, его не отпустили. Я все еще не мог вычислить причины обыска. Роджер? Рукопись? Новая волна посадок социально опасных? Хрен его знает. Капитан Хромов, разглядывая картину Ицина — пляж, гниющие останки зонтов, мячей, шезлонгов, купальщиц и их детей — единственное мое сокровище, изволил заметить, что у него есть две вещицы Сизова. «Из конфискованных?» — поинтересовался Никита. «Я бы вам порекомендовал,— оскандился капитан,— подумать, почем нынче фунт лиха в пересчете на тугрики...» Никита растерянно хмыкнул. Господа опричники явились по наши души весьма подготовленными. Меня уже несколько раз спрашивали про практически невычислимые вещи. Никите передала привет от Додика Стальные Яйца, который «изучает особенности северного сияния» там, где «из баб одни медведицы»... Краем глаза я вдруг заметил, что один из понятых, белобрысый кореш с комсомольским значком на свитере, перелистывая не слишком крамольный «Даун Бит», вдруг резко закрыл его и отложил в сторону уже проверенного. Я точно видел, как меж страниц мелькнула та самая лиловая папиросная

бумага Хроники. Я попытался перехватить взгляд белобрысого, но он насупился еще больше, работа была ему явно не по душе. Дернули небось с дежурства в штабе народной дружины; одно дело — алкашам руки вязать, а другое — шмон. «Мы не можем делать перепись всего материала,— сказал капитан,— поэтому будем оформлять изъятие». И он начал сваливать в мешок бывших и будущих зэков, бледные страницы бледных вдохновений, магнитофонные спагетти, старые записные книжки, негативы, конспекты уроков английского... Маленький удаленький Сычев подкатился и, удушив мешок веревкой, в полсекунды нацепил пломбу. Вошел еще кто-то: усталое лицо, мешки под глазами, углы рта опущены. Капитан протянул ему самиздатовский перевод «Вновь найденного рая» профессора Краузе, трехсотстраничный труд по сексологии. Перевод сделал на свой страх и риск молодой переводчик, но издательство «Советская медицина» на провокацию не поддалось. «Способ с применением льда...— прочел вошедший,— прихватите-ка и эту порнографию». — «Есть, товарищ майор», — деланно официально отвечал Хромов. «Ну что ж,— повернулся ко мне майор, по всей вероятности большой любитель сюрпризов,— одевайтесь, Сумбуров...» Это был момент, когда меня таки прошибло с головы до ног. Оттуда — не выпускают. В сопровождении шустрого лейтенанта я пошел переодеваться в ванную. Я стоял на холодном каменном полу и, как мне казалось, смешно промахивался мимо шерстяного носка. Свитер, тельняшку я выбрал автоматически. Как задумчивый плейбой, повертев в руках билет в оперу, бессознательно, но точно бросает на кровать легкую сорочку, с бледным исподом галстук и стоит, разглядывая в мягком рыжем омуте зеркала двумя пальцами оттянутое вниз веко с огненной точкой ячменя, так и мы (хихикнул идиотскому обобщению) бездумно выхватываем из накренившихся в ужасе шкафов крепкие теплые вещи для путешествия к оперу. Клянусь, подобная литературная чушь обрушилась на меня в закутке ванной. В комнату я вошел усмеха-

ясь: меня словно проморозило насквозь и я освободился от подлого страха. «В тюрьме человек свободен» — ненавистная мне формула каторжан начала воплощаться. Я стоял, улыбаясь, посередине разгромленной комнаты, а майор, тоже улыбаясь, сверлил и сверлил меня тусклыми своими зенками. «Когда вы видели в последний раз Зуйкова?» — спросил он, все еще продолжая сверление. Киса! Что-то стряслось с Кисой! «Не помню... До Нового года», — отвечал я. «Не оставлял ли он вам что-нибудь на хранение?» Теперь вся команда уставилась на меня. «Нет... А что случилось?» — «Вопросы задаем мы», — хрестоматийно отвечал старший по рангу дядя, который вдруг поплыл у меня перед глазами: ба-бай, не забывай полоскать горло утром свежим нарзаном... Киса, Киса, что ж ты, остолоп, выкинул? Продав японцам водородную бомбу? Сбросил дохлую кошку на мавзолей? «Ваш друг пытался бежать за границу. Накануне он отправил вам письмо». — «Я ничего не получал». Я попытался вспомнить, когда я вообще в последний раз имел дело с местным Гермесом. «Конечно, не получали», — сказал майор, протягивая мне конверт. Внутри был клочок ресторанной салфетки: «Дверь открыть нельзя. Зато можно дверь хлопнуть. Твой К. И. Са.». «Что это значит?» — спросил фельдмаршал. «Понятия не имею», — отвечал я. — Шутка. Зуйков в нашей школе был известнейшим шутником...» — «Вот-вот, — протянул мне протокол обыска генералиссимус, — он и дошутился. Подпишитесь здесь. Пожалуй, мы вас с собой не возьмем. Завтра приедете сами. К девяти». И он стал чертить на бумажке план. «Сойдете с троллейбуса, вернетесь на сто метров и — первая улица направо. Увидите детский сад, войдете во двор и там...» — «Jail!»<sup>1</sup> — не выдержал Никита. «И ты дошутисься, полиглот...» — сказал главный. — Захватите паспорт...»

---

<sup>1</sup> Тюрьма (англ.).



Они ушли, прихватив пишущую машинку, и в дверь тут же заглянул чемпион. Кажется, это был единственный случай, когда я видел его в цивильных брюках. «Ни хрена себе! — сказал он. — Дела! Они у нас сидели. Тебя стерегли. Чапаевцы. В засаде... Ходят ли к нему иностранцы? Шляется ли он по кабакам?.. Ты не думай... Мы ничего. Мы так и сказали — а чего мы?.. Они и телефон подключили. Проверьте, говорят, как слышно...»

Никита набивал мою старую трубку чинариками. Пальцы его тряслись. Я разлил скотч по двухсотграммовым стаканам. По самый край. Хотели чокнуться, да куда там. Расплескаешь. Выпили. Никакого эффекта. «Что же с Кисой?» — спросил я. «Идем погуляем? — английским голосом сказал Никита. — Подышим воздухом осознанной необходимости...»



Я предложил пройти проходными дворами к цирку. В темных кривых, знакомых с детства закоулках так легко раствориться без осадка... «Не дрочи органы, — сказал Никита, — они этого не прощают. По крайней мере сейчас тебе это ни к чему. Пусть погуляют вместе с нами». Мы молча дошли до Никитских. На пустом бульваре празднично светились фонари. Парочка широкоплечих влюбленных плелась сзади. «Не напрягай мозг, — посоветовал Никита. — Вспомни что-нибудь из анально-орального периода... Как они Краузе схапали! Будут теперь по науке. «Способ с применением льда»! Бесплатное приложение к оргазму... У них на севере льда до и больше... Ты где жил до Каретного?» — «На Соколе». — «А до?» — «На Зубовской, напротив сквера...» Я вспомнил, как мы бежали с братом в Америку. На трамвае «Б». На «букашке». Что такое Америка, я понятия не имел. Брат утащил у деда из шкафа пачку револьверных патронов и разложил их на рель-

сах. Как мы тогда никого не убили! Трамвай уносил нас в Америку, в сторону Новодевичьего монастыря, когда из-под колес брызнула очередь, а из окон академии имени Фрунзе посыпались стекла... Мне было пять, брату одиннадцать. У нас были сухари и двести рублей старыми. На железнодорожной насыпи брат посадил меня в ползком в гору идущий товарняк. Мы добрались до какой-то жалкой вечерней станции. Небо над ней было так широко, так дико, не по-городскому запахло, что я разревелся... Заспанный, похожий на бабу, милиционер зацапал нас, как только мы заявили в зал ожидания... Дед отправил после этой истории брата в суворовское училище. Я еще года два катался на «букашке»... «Тоска по утраченным фекалиям...— резюмировал Никита.— Хорошо бы зверски надраться...» Было четыре часа утра, мы стояли у витрины кинотеатра «Повторный». «Дети райка» были приклеены под стеклом. Здоровье прямо-таки перло из меня.



Я до сих пор не пойму, почему я никуда не уехал? Почему не плюнул на вызов и не смылся в Крым? Я мог бы оторваться от хвоста и уже в три дня пил бы пиво на солнечной Итальянской улице Феодосии, кося от морского воздуха... Был ли я под гипнозом? Был, я думаю, был. Но главное, я надеялся узнать, что с Кисой. В девять утра я уже входил в дверь следственного корпуса лефортовской тюрьмы. Сержант отобрал мой паспорт, позвонил по вертушке. Вторая дверь была из металла, как в бомбоубежищах.



Ветка жимолости, отведенная в сторону, уронила жалкую слезу утренней поливки, и стал виден угол щербатого корта да почерневший теннисный мяч, из-под

которого лезла ожухлая трава. Море ровно окатывало слух сухими солнечными брызгами. Густо пахло подсыхающей зеленью. На перекрестке двух аллей, держа свисток, как ребенок карамельку, стояла баба Гитлер. Кто и когда окрестил ее так, неизвестно, но несла она свою сторожевую службу, отделяя захожих любителей парковой тени от законных хозяев, солидных столичных писателей, рьяно. Баба Гитлер, глыба тяжелого мяса в цветастом халате, уже надула свои паровозные щеки, а я, выбирая просвет меж деревьями, уже приготовился к спринту, как из-за ее спины, застегивая ширинку, отмахиваясь от цепких веток, вылез долговязый Гаврильчик, официальный гений номер раз. «Ба! — зарычал он.— Кого я вижу! Представитель оппозиции! Внутренний эмигрант! Иди, я тебя облобызаю, сукин ты сын!..» Баба Гитлер, разбираясь в субординации, шмыгнула носом и, переваливаясь, отошла в плотную тень еще не расцветшей катальпы, где на обрубке лжекоринфской колонны стояла, золотом крашенная, лысая голова вождя — сочетание двух культов, как говорит князь: советского и фаллического. Гаврильчик был в кожаных шортах, в кепке с километровым козырьком и босиком. «Сразимся?» — я поднял ракетку. «Э, нет! — он сгреб меня в охапку своими заросшими рыжими волосами щупальцами.— Мы сейчас с тобой нажремся шампуня за мир во всем мире!.. Что же ты, вражеское отродье, никогда не звонишь в Москве?» Глухо ударил мяч, но через кипение листвы ничего не было видно. От автора «Сонаты для базуки с оркестром» несло многодневным перегаром, досада, что корт перехватили, сжимала мое все еще городское сердце, и, боком выскользнув, отметив про себя не смертельный выстрел подачи, я крикнул на ходу: «Вечером, господин поэт! Заходи вечером...»

Я несся сквозь заросли форзиции и дрока, огибая ржавый угол корта, и сердце мое кувыркалось. Где бы я ни был: у решетки зверинца на Кронверке, в Сокольническом лесу или в разбомбленном Кёнигсберге, звук скачущего мяча рождал во мне тахикардию. Лопнул взрыв реактивного истребителя, полоснувшего невин-

ное небо до белесого надреза, задребезжали стекла, и из соседнего писательского коттеджа раздался раздраженный бас: «Ну разве здесь что-нибудь напишешь? Завещание!..» «Внимание отдыхающих, — грохнуло с моря, — прогулочный катер «Киммерия» отправляется через десять минут...» Роскошная шоколадница, подмигнув крыльями, снялась с амбарного замка, запиравшего сетчатую калитку. «Как ты туда забралась?» — крикнул я. Она наклонилась, завязывая шнурок, опрокинулись уже выгоревшие волосы, обнажив детскую шею, тугие трусики крепко врезались в плоть, а новорожденный, цыплячьего цвета мяч, только что посланный в угол и отскочивший от деревянного бортика, все еще продолжал катиться вдоль меловой линии. Распрямившись, рывком носка туфли и ракетки подняв мяч, улыбаясь, перекачивая мяч в ладони, промокая сухим ворсом пот, она сказала: «Здесь сбоку есть дыра». Налетевший ветер обсыпал меня подсыхающим цветом акации, и, отогнув сетку, я протиснулся на корт.



У нее был правильно поставленный удар и чуть-чуть не хватало скорости. У нее была хлесткая, отлично подрезанная подача и несильный туповатый смэш. У нее была чудесная низкая посадка, и она мягко перебирала ногами перед каждым ответным ударом. У нее был короткий шрам кесарева, как я думал, сечения и маленькая грудь. Шрам в первой версии оказался ударом ножа, но позднее она созналась, что сама искромсала себя бритвой в ожидании так и не пришедшего любовника. Вместо пятнадцать-пятнадцать она говорила на детском английском teen-teen, вместо тридцать-тридцать — trenti ragi, и вместо «игра» — «приехали». Наше первое короткое замыкание случилось душной ночью на берегу маленькой, как выдох, бухты. Закусив губу, она задумчиво раскачивалась на мне, кося полузакрытым глазом. Кончив, она вся осела и растеклась. Ее перекрученное тело сломалось по всем направлениям.



«Можешь так заснуть?» — спросила она. Нас засекали однажды ночью пограничники и вытащили из воды, где мы практиковали нечто сложное, слизываемое волной. Фары стоящего на обрыве газика слепили глаза. «Документы!» — сказал невидимый сержант, и мы, обнявшись, захохотали. Нервно зевала овчарка. «Покажи им свой документ,— шептала она,— может, требуется печать...» Я любил рассматривать ее худую спину и растрепавшиеся прядки на длинной шее, когда днем она спала на моем чердаке — вся разлинованная полосатым солнцем, бьющим с тяжелой силой через щели камышового занавеса. Я вообще любил подсматривать за ней — как она, присев школьницей на каменной тропе, бесшумно журчит, раздвинув мальчишеские бедра, в то время как ее рука автоматически обирает куст кизила — мы никогда не стеснялись друг друга, — как она, забывшись, пеплит сигарету в собственную кофейную чашку, как кокетничает, подергивая маленьким задом, со знаменитым режиссером у входа в деревенскую киношку или как она плоской ладонью, придерживая левой рукой задранную до груди майку, далеко вытянув напрягшуюся ногу и подтянув к подбородку другую, медленно тешит сама себя, мутно плавая глазами по потолку, и вдруг вымученным шепотом выдавливает: «Иди сюда... скорее же...» У нее были немного разные глаза, как и у ее матери, один зеленее, другой серее, и у нас ничего не было уже два года.



«Тима... — сказала она, — милый... как же я рада. Ты надолго?» Она крепко вжалась в меня, и мы простояли целую маленькую ретроспективную вечность, окатываемые волнами солнца, и я вдыхал знакомые запахи ее тела: легкий летний пот, нагретые волосы... «Я слышала, у тебя были неприятности? Все кончилось?» — «Судьба вывезла», — сказал я. В лице ее было что-то новое. Под ровным загаром бежала трещина хорошо спрятанной боли. «Ты одна?» — спросил я. Женщины

протискиваются сквозь наждак лет головою вперед. Вечное время не выносит временной красоты. Жалкие вечерние притирания, мед и кислое козье молоко... Скрипят жернова. Мрамор оборачивается терракотой. «Одна. Одна, к счастью. Сет?» И ободом ракетки она бесконечно знакомым движением почесала под коленкой. Фаф! — с фетровым звуком сдвинулся широкий маятник. Ф-а-ф... В глазах рябило. На размягченном битуме зыбко дрожала пестрорядь листвы. «Хочешь, подавай», — крикнула она, перегоня окраиной ко мне стайку мячей. «Играешь каждый день?» Я сделал несколько пустых замахов, разогревая плечо. «Куда там! Ключ дают только гениям, и, пока кто-то не проделал лаз, мы только облизывались... Потом рыбаки украли сетку, и мы ждали две недели, пока пришлют из Москвы. Теперь сетку на ночь снимают, представляешь?.. Поехали?» На мгновение ослепнув, я отправил в путешествие первый мяч. «Сетка!» — крикнула Тоня. Подбросил и навалился на второй и, все еще чувствуя в кисти хлесткое продолжение удара, помчался вперед, краем глаза отмечая, что мяч уже проскочил навстречу и, отметившись в правом углу, исчез. «Ах ты, зверь! — Я подбирал мячи.— Будет тебе Ватерлоо, оно же Аустерлиц...» Я сильно подрезал мяч, и она, присев над ним, широко расставив ноги, с вытянутой растопыренными пальцами вперед левой рукой, все же загнала его в сетку. «Teen-teen», — улыбалась она коленками, локтями, ямочками ключиц, даже затылком, повернувшись, чтобы... — тут в калитке хрустнул ключ, и баба Гитлер, глыба скифской неприступности, потребовала: «Ваши пропуска, граждане отдыхающие...»



Сквозь Тоню, а тем более сквозь этот парк, лохмы лоха и ветви тамариска уже пробивается другая тема, знобит перо и дырявит бумагу. Рука, помнящая столько раскаленно-счастливых изгибов, отказывается тащиться за жалкой строчкой, предательская слабость сверты-

вает кровь, и тогда я ищу на ощупь, ослепнув, не скажу от чего, в осенней моей комнате уже полупустую — куплена вчера вечером (реактивный свист мгновенных перемещений) в драгстор на Сен-Жермен — бутылку скотча и сижу на полу у стены полчаса, час, разглядывая чешую крыши склада «Французские окорока» и промокшие контрфорсы собора. Как черна сердцеви́на тех прозрачных дней! Сколько яда влито в какую-нибудь обычную пятницу или соседний четверг моего прошлого... Высокий ветер дул тогда, окна были заляпаны синевой, и загорелая рука то застегивала, то расстегивала пуговицу у самого горла. Скажи же хоть что-нибудь... Я давно подозреваю, что скотч в Париже разбавляют. Не может быть, чтобы сорокаградусное пойло не было способно разогнать второй группы, резус отрицательный, которая не водица... Звонит телефон, но я не отвечаю. Голубь мокнет за окном, но я не впускаю. Диктор на телеэкране стучит по стеклу с той стороны, но я не включаю и звук. Что он может сообщить? Что дождь не кончился? Что конец света не означает еще начала тьмы? «Хорошего вам конца света, дамы и господа! Прямая трансляция конца света будет передаваться по всем каналам, сразу после рекламы...»

Корректор, голубчик, выкинь эту страницу...



Затянувшееся прощание, тени прошлого, снег последней зимы, степная полынь. Все можно было бы вынести за скобки: Никиту, Осю, Кису, Роджера, тройку славных ребят из железных ворот ГПУ, даже Тоню, даже неудачную главу моего первого романа... Но я не пишу историю для читателей, поживу для критиков. Я сижу в жирной глянцевой тьме парижской ночи и ковыряю струпья своей души. Гноится все последнее семилетие, заражена лимфа памяти, и на челе того ясного летнего дня выступила розовая сыпь.



Тоня жила в самом конце поселка. Раскопки профессора Померанцева (Никак-не-Померанцева — острили на пляже: профессор получил первую ученую степень чуть ли не при царе) начинались сразу за забором. Надтреснутый греческий пифос, подарок мэтра, зарос дикой повиликой. Дом ее матери, известной актрисы, еще более знаменитой жены — дальше уж карабкаться некуда — сверхизвестного мужа (драматург-маринист; зрителям первых рядов выдаются резиновые сапоги и лаковые плащи с капюшонами), был выстроен до войны, когда болгарская терраса или греческий портик не считались преступлением. Веранда с каменным полом, увитая с двух сторон виноградом и глицинией, хранила тугую прохладу. Тоня поставила на стол бутылку домашнего вина, длинными ломтями нарезала овечий сыр. «А потом купаться», — сказала она, стягивая через голову тенниску. Вынырнув из рукавов, она перехватила мой взгляд и, сникая, сказала: «Мы же с тобою теперь как брат с сестричкой?.. Кто-то так решил, правда?» Я кивнул. Наш инцест и без того длился пять лет.

Пришел огромный, с рваным ухом кот. Прозвенел велосипед почтальона. В лиловых подтеках глицинии добросовестно ткали и ткали воздух пчелы. «Меня спасла чепуха, — рассказывал я. — У меня было несколько пластинок Коломейца. Того самого, который написал «Гимн цветущих континентов». Когда меня выпустили из Лефортово после трехдневных допросов, я отправился к нему, чтобы вернуть пластинки. Естественно, рассказал, что случилось. Что шмонали по одному делу, а самиздата набрали на новое. Он живет в высотке на Восстания. Открытый счет, закрытые глаза и т. д. Спросил, не били ли меня... Фамилию следователя. Когда я вернулся домой, он позвонил. Сказал, что из соседнего подъезда за мной пошел один воротник, а из телефонной будки второй. Сказал, что

он читал «К небывшему», чтобы я не беспокоился, что он все устроит... И все! Оказывается, он пьет с самим... Дело закрыли, вернули практически все, кроме «Скотного двора» и перевода по сексологии. Сказали, что это порно и они обязаны уничтожить. Теперь копия гуляет по Москве с нездешней силой. Все магнитофонные пленки вернули подклеенными, все бумаги систематизированы. Письма разложены по адресатам. Никиту тоже таскали, и он им сказал, что на хрена деньгами разбрасываться, платить здоровенным лбам за слежку, тратить деньги на прослушивание, платить целому отделу на жанровое и лингвистическое исследование печатного материала... «Гоните мне эти бабки,— заявил он следователю,— и я вам два раза в месяц сам буду сообщать, антисоветчик ли я и если да, то почему...» С ним тоже все утряслось. Но что я Коломейцу? Мы познакомились, когда он срочно разыскивал довольно таки редкий диск Кёрка. Кто-то ему сказал, что я задвинут на этом деле. Я дал ему переписать, и он напрочь запил пластинку. Сказал, что привезет из-за бугра... С тех пор от него не было ни слуху...» — «Поцелуй меня,— сказала она,— как брат сестрицу. Один раз...»



«А Киса?» — спросила она через маленькую тягучую вечность. «Киса их всех уделал. Они раскидывали чернуху, что он увяз. На самом деле он смылся в Турцию. Я уверен, что он был бухой. Самолет вернули, но еще двое решили остаться и поглазеть на минареты. Дальше хуже. Турки обычно выдают нашего брата обратно. Там, видимо, разыгрался классический детектив: Киса давно не бегал стометровок и до американского посольства ему пришлось попотеть. Представить себе все это трудно, даже в сбивчивом пересказе самого беглеца по "Свободе"».



«Группен-секса не будет,— объявила стервозного вида девица.— Кто-то подхватил трихамон...» Мы отправились на дачу к Хмырю в поисках потерянного времени — Тоня оставила часы на пляже возле лежбища сезонных хиппарей. Жара густела. Размыло горизонт, и запотели горы. Суп из медуз тянулся вдоль береговой полосы. Гаврильчик, пробовавший на мне свои смелые тропы, обозвал их, пересекая наш путь, презервативами. Дельфины играли в салки. На набережной испортился винный автомат, что-то заклинило в нем, и белое вино било хилым фонтаном. Народ сбегался из соседней гостиницы с графинами, мисками, бидонами. Алкаш в тельняшке подставлял под струю свой смоленый кепарь. Пили пригоршнями. В пьяной очереди начали возникать первичные Советы. «Больше литра не отпускать, а то скоро кончится»,— орали сзади. Передние же, изрядно уже дурные, как младенцев, прижимали к груди банки. Дармовой фонтан бил, как оказалось, уже минут двадцать. Половина поселка впадала в свирепое дионисийство. Возле Дома поэта мы набрали на человека, держащего на лысой голове в виде компресса лиловую медузу. Он стоял, задрал голову, слушая детский лепет рояля.



Про группен-секс объявила Скорая Помощь. Хмырь уверял, что с ней только ленивый не пробовал. У нее было что-то вроде пригготовительного класса, сексуальных яслей; она выпускала в мир всхолмий и вздрагиваний юнца за юнцом. «Моих мальчиков не собьешь с толку,— заявляла она,— они твердо знают, что женский оргазм существует...» Это был единственный в своем роде дом, караван-сарай, гараж, ангар, черт его знает что... Хмырь, нежнейших свойств душа-парень, унаследовал его от отца — генерала парашютно-одувачиковых войск. В свободное от морских омовений вре-

мя он предавался дилетантским опытам с местной коноплей и выжимками маков. Среди обитателей дачи был лобастый физик, нырнувший в буддизм: он плел сандалии, бубнил мантры и путешествовал в астрале. Был там отказник Гера, состоящий в односторонней переписке с ГБ и собирающийся, вот уже третий год, дать деру через море на надувной лодке. Был знаменитый бард, существо желчное, талантливое, прожорливое. Была поклонница знаменитого барда, состоящая из глаз и ног. Были безымянные, часто меняющиеся мальчишки-девочки, отловленные у автобусной остановки на предмет пополнения дырявого бюджета коммуны. И конечно, Скорая Помощь, вечно держащая палец на чьем-нибудь курке. Здесь не здоровались, здесь от калитки спрашивали: даешь трешник? А уж потом сообщали, что Нина забрюхатела или Саша отравился техническим спиртом. Местная милиция регулярно водила своих инвалидов на облаву — хиппы жили без прописки, — но Хмырь завел злющую микроскопическую шавку, которая поднимала хиппеж от любого звука, кроме треска растегаиваемой молнии. Так что под залиvistый лай вся команда отступала в гору, а оттуда, по узкой тропе, спускалась в соседнюю бухточку.

Хмырь жил на чердаке. Окно было занавешено мокрым полотенцем. Добродушного вида толстяк, стриженный под городского, лежал на голых досках пола. У стены, скрестив ноги по-турецки, сидела — я где-то ее видел — Ольга? Нина? «Лидия...» — сказала она, протягивая руку. Толстяк, продолжая лежать, щелкнул каблуками парусиновых туфель и неожиданно высоким голосом отрекомендовался: «Суматохин. Евгений Дромадерович...» И, всхлипывая, захохотал.



Так начался самый длинный день моей жизни. Правильнее всего было бы и повествование начать именно с этой минуты. Словно мягко щелкнул невидимый хронометр. «Не пойти ли нам в бухты?» — перестав хохо-

тать, произнес Суматохин. Тоня отвела в сторону полотенце, и море, неотличимое от неба, залепило взор. Хмырь пустил по кругу жирную самокрутку, и жизнь моя мягко отчалила от своей половины. Заметил я это уже зимой, где-то на Фонтанке, глядя на вмерзший в лед канала хлам: проволоку, ящики, сапог. Дул промозглый ветер с Финского залива. У продавца пирожков все деньги сдуло под мост. Толпа висела на перилах, на решетке набережной. Продавец в грязном халате и ватнике осторожно ползал по льду, собирая трешники и пятерки. Но ветер, как назло, гнал к полынье стайку розовых десятирублевков, и кто-то уже тащил занозистую доску, и сквозь толпу, жуя свисток, пробирался цельный, из одного куска сделанный, милиционер. Я стоял, стиснутый толпой, и задыхался. Я только что пересек финишную черту, луч зимнего солнца багрянил угловое окно, хронометр наконец перестал свиристеть. Это был счастливый марафон. Старт же состоялся на чердаке Хмыря: не то чтобы не по моей воле, а неизвестно для нее. Просто подсыхало полотенце, хотелось есть, Лидия затягивалась, закрыв глаза, и лисья мордочка хозяина светилась.



Берег был пуст. Тяжелое солнце придавило поселок. Куры, собаки, кошки валялись в жалкой рябой тени. Окна были глухо задраены. На продуктовой палатке мелом было выведено: ВОДЫ НЕТ. Но над Святой горой уже появилось первое сгущение — уже не облако, еще не туча. «В воздух,— сказал из-под рваной соломенной шляпы Хмырь,— можно ввинчивать лампочки. Они будут гореть...» Тоня положила руку на мое плечо и тут же отдернула. «Дурак, сгоришь...» — «Вы откуда?» — спросил я Лидию; у нее был странный акцент. «Из Тарту», — улыбнулась она... «Ха-ха», — сказал Хмырь. «Честно говоря, я француженка. Русская француженка, но Женя просил говорить, что я из Эстонии. У вас тут ведь все засекречено...»





Восточный Крым был запретной зоной. В складках гор ждали своего часа ракеты. Тетка уверяла, что от их общего старта полуостров обломится в самом узком месте и наконец-то станет островом. «Какое гадкое столетье,— морщилась она,— к-а-а-ак мне все это надоело! Бездарность... Единственное, что еще меня удерживает здесь, так это любопытство. Хочется посмотреть, чем все это кончится...»

Для иностранцев была Ялта, потемкинские деревни «Интуриста», идеологически устойчивые олеандры, в профсоюзе состоящая бугенвиллея. Для них был свой, бетонной стеною от аборигенов огороженный, пляж, своя еда, свои профильтрованные вечеринки. Любая машина с иностранными или туристскими номерами, вильнувшая от Симферополя влево, была обречена. Но слава нашего крошечного поселка была всемирной. Кое-кто из бывших колонистов жил теперь в Нью-Йорке, Париже, Мюнхене. И хотя министерство финансов приветствовало ностальгические набег иноземцев на наманикюренный Север или разрешенный Юг, заглянуть туда, где Мандельштам пас цикад или Цветаева вышивала Волошину плащ Розенкрейцера, ни у кого не было шанса. Иностранец виден в советской толпе, как пуговица от пальто, пришитая на рубашку. Кассирша не продаст ему билет на автобус, таксист не повезет и за миллион. Да и сам народец выявит инородное тело с талантом закоренелого самоносчика. «Органы переводят массы на самообслуживание»,— заявил мне один торжественный мерзавец. Лидия, как я узнал позже, переодетая Суматохиным во что попроще, села в автобус с десятикилограммовой авоськой картошки. Суматохин, подыгрывавший ей, начал длинный монолог о своей любви к Прибалтике. Двое перегретых портвейном пролов поинтересовались, почему у такого большого дяди такой тоненький голос. Суматохин вмиг стащил одного из них с сиденья и, слегка придушив, объяснил: «О физических недостатках в приличном обществе говорить не принято. Тебя мама этому не учила, паразит? Еще раз пасть

откроешь, я тебе ноги из жопы выдерну... Понял?»

Понтекорво, единственный иностранец, свободно приезжавший в поселок, был итальянским физиком-перебежчиком. Ему было сильно за пятьдесят, но его крутой удар слева доставил мне в свое время массу хлопот.



Четырехсотметровая базальтовая стена давала узкую жалкую тень. Мы были одни, народ слинял. Кристально чистая вода лежала неподвижно. Черный мех одевал подводные камни. Тоня схватила меня за руку, потащила в воду. Мы ныряли, кувыркались, возились, как дети. Солнечный свет дрожал на подводном небе; морской кот прошмыгнул маслянистой тенью. Задышавшись, мы выбрались на плоский горячий камень. Берег был метрах в пятнадцати. Хмырь и Суматохин узкой тропой сквозь заросли шиповника продирались к горному ручью. Лидия ровно плыла к рыбачьим сетям. Я закрыл глаза. Тоня уткнулась мне в подмышку мокрым носом. Мы все еще тяжело дышали, как после любви. «Ты тоже хочешь?» — спросила она. Ее рука скользнула вниз. Я лежал под тяжело льющим солнцем. В мире было тихо. «Я тебя всего знаю,— сказала она,— по миллиметрам. Я всегда знаю, когда ты хочешь. Даже если не гляжу на тебя». — «Я тоже». — «Я рада, что ты приехал. Ты все такой же, знаешь? Ты не меняешься». Ее губы пожевали мочку моего уха, исчезли, сухо провели по моим губам. «Я вся теку,— сказала она,— пойдем куда-нибудь...» Хриплый рокот мотора ворвался в бухту. Крутая волна окатила нас. Я с трудом разлепил веки — катер с тремя антрацитно-черными мерзавцами круто заворачивал в сторону Лидии, налетела вторая волна, мы свалились в воду, но Лидия уже повернула назад. Обугленные монстры, свешиваясь за борт, отпускали дежурные шутки, дыбился катер, и на берегу что-то кричали, разинув рты, Суматохин и Хмырь, и край великолепно-уродливой тучи наконец наехал на солнце.



Тоня разложила на полотенце хлеб, зеленый лук, редиску, сыр. Стаканов не было, и бутылка охлажденного в ручье белого ходила по кругу. У тебя лопнул сосуд и порозовел чудесно-серый глаз. Тоня скоро заснула, а мы потащили Суматохина в воду. Оказывается, он не умел плавать. Втроем мы пытались столкнуть его в воду, но он отрясал нас, как дуб листву, как медведь шавок. Быстро темнело, и на западе уже шуршала фольгой сухая гроза. Наконец наша возня разрешилась радостным падением, и в последовавшем разделении одного спрута на четверых индивидуумов нас впервые свело случайной судорогой вместе. Падая с тобою на глубину, поневоле обнимая тебя, а потом отталкивая, я заглянул совсем близко в твое лицо.

Суматохин, охая, на четвереньках выбирался на берег. Хмырь нырнул и исчез. Ты выходила из воды, отжимая волосы одной рукой, и улыбалась странной, совсем не русской улыбкой.



Я знаю, что рано или поздно ты это прочтешь. Не закипай. Всего легче сказать, что я пытаюсь взять запоздалый реванш. Тебя тошнит от придуманного имени? Тебе не понятно, зачем я перевираю детали? О моя радость, подожди! Я примешал к тебе столько других и случайных, затащил тебя в такую бездну совсем не твоих приключений, что тебе разумнее всего было бы смириться. Я скажу почему: в чистом виде я тебя бы не вынес. Прямой пересказ нашей с тобою короткой жизни звучал бы как неопытная ложь. Мы нарушили с тобою все, что можно было нарушить. Я лишь следую традиции.

Я знаю, ты предпочла бы, чтобы я писал о чем-нибудь другом. Как-то, под вечер наших отношений, ты сказала, что у тебя большое русское сердце. «Большое и пустое»,— добавила ты.

Я собирался написать роман страниц эдак в триста.

Два действующих лица: девять грамм пльмбума и до-вольно-таки энергичный мускул, с небольшими ревматическими отклонениями. В отличие от того, что пишу сейчас,— полное единство действия, времени и места. В лучшем аристотелевском смысле. Время действия — одна секунда. Место действия — те несколько нежнейших сантиметров, отделяющих вплотную к твоей груди приставленный ствол последние годы безработного браунинга и середину густой кровью омываемого одного из желудочков. Я был намерен описать первую встречу ничего не подозревающей эпидермы с тупой яростью в девках засидевшейся пули. Слой за слоем, имею в виду твою, набитую муками радости и радостью муки, плоть, главу за главой. Не забывая ни красных кровяных, ни скачка давления. Клетка ребер? Тех, что напрягались под моею рукой? И она бы имела место в нескольких, жестоко говоря, осколочных главах... Меня не очень интересовали бы остальные функции твоего организма. Мне кажется, я сумел бы сосредоточиться на этом небольшом, немного раздавленном от вспыхнувшего адреналина ударе сердца. Судьба пули — я имею в виду, дальнейшая ее судьба: путь через розовыми пузырями пенящееся легкое, удар в каминное зеркало, его, как всегда, преувеличенные трещины и неизбежное в конце жизненной траектории сплющивание — меня интересует и того меньше. Это для соседнего департамента, где господин Холмс пьет чай с Федором Михайловичем и в печке бутафорски потрескивает полено. О, ты знаешь, я написал бы это. Для забавы. Для чудаков, любящих не жизнь, а дробь и скобки, логарифмы будней, квадратные корни из... так сказать, пересчет на миллионы листьев в осеннем лесу. Но я не стану. Мне нужна живая ты. С твоим засушливым лицом. С твоей легко набухающей раной. Рана лона. О Боже! С твоей убийственной добротой и щедрейшей жестокостью. Ты нужна мне лишь для одного — я хочу наконец избавиться от тебя.

На моем искалеченном нынешнем языке я скажу это короче и проще: «I hate you with all my love»<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> С любовью — ненавижу (англ.).



Несколько больших капель растерянно упали с потемневшего неба, а потом, без извинения, без обычной паузы, напичканной истеричным перегретым воздухом, не дождь, не гроза, а стена воды обрушилась на бухту. Все промокло вмиг: одежда, остатки еды, волосы. Камни промокли. Море. Лишь Хмырь, нырнув под навес скал, пытался спасти остатки травы. Море кипело и пенилось от белых теплых струй. Суматохин, растянувшись на гальке, углубился в чтение обрывка газеты. Но сверху, подмытый водою, сорвался камень, остро взвизгнул, отскакивая, другой, и мы, наскоро прихватив утопшие вещи, по колено в хлещущей воде, дали деру. Уже через сто метров дорогу окончательно размыло, ноги скользили в глине, Тоня упала, помогая ей подняться, и я распластался в жирной грязи, и, помогая себе руками, неуклюже переваливаясь, мы оставили верхнюю тропу и опять спустились к морю. Десятиминутная дорога растянулась на полчаса, и, когда на подъеме в поселок нас встретили целые потоки хлещущей сверху рыжей, пятнистой от садового мусора воды, Суматохин лег в лужу и предложил возвращаться вплавь. Мы хохотали, мы были перемазаны с головы до ног, мы что-то пели, если ты помнишь... Около почты мы расстались, договорившись встретиться через час в придорожном ресторане. Гроза ушла, но поселок был затоплен, ты завернулась в мокрое полотенце. Ты смеялась меньше других. В тебе была опасная тяжесть. Ты знала это. Тебе некуда было деваться от твоего собственного тела. Как я ненавидел Суматохина, этого толстого клоуна, уводившего тебя прочь. Курица, сдавшись на волю судьбе, плыла с потрясенным видом в водосточной канаве. Припекало. Тоня дрожала.



Мы отмывались холодной водой из шланга в саду, искали в кладовке резиновые сапоги, передевались в сухое. В ресторане было пусто. Я спросил бутылку

водки, заказал солянку на всех. Суматохин и Лидия приехали на местном дерьмовозе. «Старики,— вопил он от дверей,— мы еле переправились, у аптеки такая лужа, что мотор заливает...» Был наш шумный шут в отличном дорожном костюме, и, глядя на него, я подумал, что такого человека нельзя похитить, а можно лишь угнать. Твои волосы подсыхали; этот русский переливчатый цвет до сих пор заставляет меня вздрагивать где-нибудь в вагоне метро, мчащемся по десятому, вполне комфортабельному, кругу.

Мы просидели до вечера. Вода за окнами спала. Суматохин заказывал и заказывал выпивку, осетрину, икру. Мы курили твой «Житан», а потом на пачке ты написала свой адрес. Вы укатили, как только стемнело. Хмырь свалил спать. «Она тебе понравилась? — спросила Тоня.— Не дай Бог, их засекут на обратном пути. Было бы совсем глупо...» Оркестрик играл нечто тангообразное: «В далекой Аргентине, где снега нет в помине, где кактусы небритые цветут...» Певец, повар с кухни, явно что-то переврал. На выходе случилась глупая драка. Двое местных юношей, на девяносто процентов размытых южной ночью, явно принимая меня за кого-то другого, дыша портвешом, попытались учинить акт агрессии. Не было времени ни позвонить в ООН, ни протрезветь. Я отнекивался, пытался объяснить, что я это не я, но в итоге, когда один стал заходить сбоку, а второй вошел в транс общеизвестных в таких случаях выражений, я ткнул в абсолютную тьму, к удивлению своему попал и, повернувшись ко второму, увидел при вспышке фар отвратительно узкую заточенную отвертку. Я попытался было перехватить руку неизвестного мне гуманоида, но в это время исчезнувшая было Тоня нанесла точный и справедливый, как я до сих пор считаю, удар бутылкой по кумполу идиота. Мы заструились прочь, тяжело дыша и оскальзываясь. «Где ты взяла бутылку?» — спросил я ее. «Здрасьте! — сказала она.— Мы же решили допить у тебя...»



Я проснулся рано, свистнул Чомба, калитка распухла от вчерашнего ливня, он примчался с пустыря, я открыл ее с трудом. Берег моря, пляж, крыша пивного ларька, навесы — все было покрыто сплошной массой вздрагивающих, ползающих, параличных бабочек. Волны раскачивали труху бесчисленных крыльев. «Они прилетают из Северной Африки,— объясняла мне тетка за завтраком,— и, едва завидев берег, рушатся вниз. Половина гибнет по глупости в береговой волне. Изволили назюзюкаться вчера?» Тонины ноги спускались по лестнице. Обросший рыжей грязью кофейник стоял на домашней выпечки томике «Дзена» профессора Судзюки.



Поселок был не крупнее соринки, попавшей в глаз. Три знаменитых горы закрывали его от западных ветров, а эсминец восточного мыса, эсминец устаревшей марки, гасил дыхание суховея. Ветры дули циклами, три, шесть, девять. Через холмы и степи дышала Россия. Оттуда шел холод. Дождевые тучи застревали на Святой горе, клочьями их сносило в долины. Выматывающий душу восточный ветер ссорил любовников, гнал по улицам детский плач. «В Средние века,— работая маникюрной пилкой, рассказывал князь,— когда задувал восточный, преступления не засчитывались». Низовка — называли рыбаки этот ветер и пошире расставляли ноги. Их совхозик, шесть-семь баркасов, лепился на краю невзрачной замусоренной бухты. «Волна Революции», — было написано на спине сарая.— Совхоз № 1». Колючка ржавела кольцами. Обожравшийся кот лениво играл с рыбешкой.

Холмы, поросшие полынью и чебрецом, обслуживали тылы, и меж них лежала раз и навсегда убитая

степь. Пересохшая до звона, в татарском узоре глубоких трещин, она играла в войну, расставив в кривом порядке низкорослую казарму со сторожевой вышкой, с десятком плоских мишеней в полный рост да фанерный, со свастикой на лбу, танк. Овцы, подгоняемые огромной овчаркой, переходили вертолетную площадку. Вместо бубенцов на шеях их болтались банки изпод гущенки с гайкой ботала внутри.

Тарантулы жили в круглых дырах, и в дождливую погоду, присев на корточки, можно было рассмотреть брюхо мамыши, собою запиравшей вход. Немая соседская старуха, с пергаментным, как степь растрескавшимся лицом, прутиком выковыривала паучих из гнезд и топила в склянке с постным маслом. Противоядие это показал мне ее внук, фотограф с набережной; хранилось оно за темной иконой Николая Угодника... Несколькими годами назад, пробираясь под теплым ливнем домой, сняв сандалии и закатав штаны, я почти вступил в густое войско сколопендр, римской когортой покидающее затопленные места. По кривым горбатым улочкам поселка носились ни на что не похожие собаки. Аборигены прозвали их «трамвайчиками» — за непомерную длину и низкую посадку. Бешенство со скоростью километр в год двигалось с Керченского полуострова в шкурах издерганных травлей лис. Филоксеры крались под землей, сжирая корни винограда. Саранчой налетали на поселок пошлейшие обожатели рассеченной литературной колонии. С конца мая по сентябрь все тонуло вокруг в густом сиропе восторженного хамства. Цены на жалкие скрипучие койки взлетали. В хрупких курятниках день и ночь шла — выражение того же князя — «возня со стоном». За статуей пионерки с обломанными по локоть руками мутноглазый детина пытался запихнуть в штаны все еще дымящееся оружие; из-под куста барбариса торчали разведенные обессиленные ноги. Жаркими вечерами парочки, прихватив одеяла, отправлялись в холмы. Млечный путь скрипел об антенны.





Тетка моя жила в двухэтажном, терпимо запущенном, со всех сторон продуваемом доме. Легенда гласила, что однажды на уже готовый фундамент привезли и поставили концертный «стейнвей» и только тогда начали возводить стены. Я числился здесь последние годы на должности поэта-кухарки. С утра кропал свой акростих, в обед охотился за продуктами, выстаивая в потных очередях одинаково скомканные маленькие вечности, гонял в теннис до шести и мчался готовить ужин двенадцатиголовому дракону веранды. В восемь я стучал поварешкой в таз, сзывая за стол внучек и бабушек, питерских знатоков сюрреализма и московских собирателей похабных лимериков. Язык веранды с трудом переводится с русского на русский.

Комната моя выходила окнами на верхушки трех пирамидальных тополей, оккупированных скворцами-пересмешниками. Они мяукали в ветвях, сводя с ума кошек, они лаяли, они, к моему потрясению, изображали стук пишущей машинки и лязг колодезной цепи. Князь Б., деливший со мною чердак, ходил надутый — комната его выходила окнами на сортир. У князя, милейшего чудака лет двадцати семи, подгуляла какая-то хромосома, и он застрял на полпути между мужчиной и женщиной. Так по крайней мере думала веранда. Некоторые все же решались на провокации. Так, отставная балеринка явилась к нему во время сиесты и, задрав юбку, сказала: «Я хочу, чтобы ты внимательно рассмотрел это...» Князь бежал. Тетка моя, Наталья Кирилловна, смеясь, журила его: «Голубчик, но она же просто прелесть! Какие плечи, какая грудь...» — «Ах, оставьте,— корчился князь,— эти отвратительные припухлости...» Князь делал маски для лица, депилятором сводил волосы с ног, дышал через одну ноздрю, читал по линиям руки, голодал два раза в неделю, пил носом морскую воду и, когда весь дом уже засыпал, регулярно отпраивался «прогулять кишку». Злые

языки шептали, что князь стучит, что его ночные прогулки не что иное, как рапорт капитану Загорулько, что поселок собираются закрыть, а пока изучают степень растленности колонистов. Во всем этом была доля правды; время от времени, волоча за собою провода, как-то не так всходило солнце; горный обвал, весь в сухих гейзерах песка, обрушивался на нижнюю дорогу, но звук непростительно опаздывал и был весь какой-то затертый; износившийся, под гальку сделанный ковер пляжа заворачивался, и тогда становились видны ребра ржавых подпорок да фаянсовый скат моря, но все же мы были способны еще реагировать нормально, и лишь иногда раздражала кукольность статистов на ночной танцплощадке или явная халтура не той стороной запущенной Луны. Но князь был чист как слеза. Помню его меланхолический, к истине близкий вопрос за вечерним чаем: «А что, если все придумано КГБ?» — «То есть как это все?» — удивилась тетка. «Ну так, все: этот поселок, эта страна, этот вид неба... Придумало вообще всю историю, Азириса, Пилата, крестовые походы, крестики-нолики, Французскую революцию... Мы же ничего не можем проверить. Вдруг вместо других стран по контурной карте СССР вниз идут обрывы и все опутано проволокой? Вдруг мир действительно держится на партийной черепахе и полицейских слонах? И лаборатория в Кинешме сочиняет музыку некоего Моцарта, а Казань отвечает за гнилой рок-н-ролл? Вдруг мир — гениально дешевая подделка для ссыльных вроде нас?» — «Я вам говорила, что нельзя валяться на солнце по восемь часов». Тетка пошла за аспирином. В глубине комнат сквозь ровное глушение потрескивало радио, в саду шел спор по-французски, старина Вилли, которому на войне отстрелило зад, вылавливал из трехлитровой банки вина жирную ванессу, Антарес мигал в черных ветвях ночных яблонь, и кто-то пробовал одним пальцем выбить мелодию душещипательного романса на теткинном «стейнвее».



Одни и те же люди приезжали сюда в одно и то же время каждый год. Тетка, несмотря на свои семьдесят пять лет, жила и зимой. Я провел в ее доме одну ледяную зиму и преклоняюсь перед ее мужеством. Ветер выдувал тепло жалкой печки уже через час после топки. На крышу наваливали огромные камни, но все равно у соседей сорвало кровлю до самых стропил. Под Новый год перевал занесло снегом, и такси с друзьями, выехавшими из Фео, вернулось, так до нас и не добравшись. Собаки жили в доме. Коты — в собачьей будке. Мыши бегали по роялю. Зимняя жизнь шла в луче. Лучом был жар спирального обогревателя. Проснувшись где-нибудь посередине января, нужно было первым делом включить луч, а уж потом собираться с силами, дабы в отчаянном прыжке покинуть постель, заваленную по крайней мере шестью ватными одеялами. Зато как прекрасен был безлюдный дикий поселок! Мы ходили смотреть свирепый ночной шторм. Огни на набережной наконец-то были отключены, и низкое небо с трудом удерживало обвал звезд. «Хокусай», — констатировала тетка, и мы удирали по узкому пирсу от глянцево-черной гривастой волны. Охала, падая, злая вода, гремела галька, шипела пена. Жизнь была бедна: посередине пустого прилавка лежали бычьи семенники, но, когда везло, можно было купить у хромого рыбака камбалу или десяток окуней. Полнолуние было последней новостью, а не арест неудачника-самосожженца в столице. Дневные прогулки в горах промывали душу: собаки, подняв зайца, неслись, заливаясь лаем, по пересохшему руслу ручья и замирали на самом краю обрыва. Море лежало далеко внизу сморщенной кожей, дряблым мускулом, а ветер гнул султаны ковыля, да трубил в ущелье от стада отбившийся бык. В безветренные дни, завернувшись в ватный узбекский халат, я читал, лежа в саду, на хромом шезлонге. Тетка бежала с Севера, спасая не только горделивое чудачество. «Если выпало в империи родиться, лучше жить в глухой провинции у моря. И от цезаря подальше,

и от вьюги...» Она вывезла из Питера редчайшую по советским временам библиотеку. Здесь было поколение погубленных, серебряный век дореволюционной литературы, упраздненные мистики, запрещенные философы, историки без марксистской подкладки, расстрелянные поэты. Книги прятались в самой дальней, самой темной кладовке и, в зависимости от количества тревоги, разлитой в воздухе, выдавались на руки под речитатив предупреждений и заклятий. Добрая треть книг была надписана авторами.

Италия и Петербург были ее детством. Ссылка вместе с отцом в Среднюю Азию съела юность. В крымском самоизгнании, живя между сбором коровьих лепешек для удобрения сада и Равелем, она, Плиний в юбке, обобщала советский опыт в язвительных афоризмах. «Голубчик мой,— говаривала она,— в этой стране одеться хорошо можно плохо, зато одеться плохо можно очень хорошо...» Заметив однажды мое пузырящееся бешенство в очереди за колбасой, она посоветовала: «Не наживайте себе язву, очередь давно пора научиться воспринимать как явление природы: как ливень, град или шторм. Стойте и переждайте».

Я любил ее дом, я любил бедный этот поселок; дикий мед ушедших столетий все еще смазывал его растрескавшуюся землю. Я написал здесь все лучшее. Цикл стихов «К небывшему», «В очереди за смертью», почти все рассказы, начало «Станции "Кноль"». Тетка была строга и судила меня без поблажек. Наш бронзовый век давался ей с трудом. «А уж каменный и подавно!» — охая, отмахивалась она, когда я цитировал кого-нибудь из юных стихоложцев... Несмотря на неумное чувство юмора, она была странным образом ревнива. Заметив, что я украдкой провел к себе наверх какую-нибудь застенчивую распутницу, она умолкала на полдня. Вместо ежедневного Моцарта она играла тогда что-нибудь ломаное современное, и лишь вечером за компромиссным чаем, в который я изрядно подливал дрянного местного коньяка, мягчела, напоследок выпуская когти. «Соитиус — минутное дело, но многие не умеют».



Говоря по правде, она спасла меня. Задерганный, перекошенный, с затравленным взглядом, я появился как-то ранней весной на ее террасе. Цвел растопыренный миндаль. В Москве на солнце все еще горел черный снег. Здесь же воздух медленно сверлила пчела, в непривычной тишине звук отъезжающего такси был слышен до самого дальнего поворота. Три года армии загнали меня в угол. Мир раскрошился, и во всем я видел лишь арматуру, цементные обвалы, бетонные осыпи. Как в детстве, после болезни, я должен был снова учиться ходить. Но я предпочитал лежать на чердаке и пить. Тетка не судила меня. Она появлялась с самодельной закуской, с веткой полыни, опускала ее в бутылку, водка заметно зеленела, пила со мною, шутила, вспоминала. Это было что-то археологически древнее: поездки с ухажером на Острова, картежные проигрыши, многочисленные рассказы про отца, который — вот обломок уцелевшей мозаики — при приступе зубной боли обычно брал револьвер и шел стреляться во флигель... Была она мягка, и лишь гораздо позже я понял, что стояло за этой мягкостью. Она расспрашивала меня, и незаметно, лежа на сеннике, кроша черный хлеб и хлебная водка, я выговорил ей все эти тридцать шесть месяцев, всю муть подземных войск, перегретый пластик пустых коридоров, белый лавсан защитных костюмов, липкие намордники и возню индикаторов радиации. Я выговорил наконец весь этот бесконечный снег наверху, вышки, проволоку, проволоку, зону...



Мы жили по системе четыре плюс четыре плюс четыре. Четыре часа на посту, четыре в боевой группе, четыре сна. Через несколько месяцев вся жизнь превращалась в размазню. Через полгода мы все тихо задвинулись. Наверху пылила звездами зима или стояло лето, но это было как в кино. Поднимаясь наверх, мы загибались от

кессонной болезни, от тяжести внешнего такого визуально нормального мира и от распирающего изнутри сюрреализма подземелья. Мы уже были кротами. Вооруженными, дрессированными, сачковать научившимися кротами. Мы дошли от скуки. Хотя что-то все же происходило. Сулейманов спал на седьмом, когда взрывом разнесло стену, пробив защиты, разорвало противопогаз: гроб, выставленный в гарнизонном клубе, был закрыт. Генкин клячил у работяг технический спирт. Какой-то сучий прол притаранил ему целую флягу. Генкин, бывший парикмахер с Таганки, чудила грешный, не проверив пойло на радиацию, даванул стакан за мир во всем мире. Спирт звенел на всю катушку. Это Генкин просек на выходе, в санпропускнике, стоя у аппарата радиационного контроля,— звонок предупреждения гремел, окошко с надписью «туловище» не гасло, и мыть спецпастой брюхо было ни к чему: Генкина даже не судили, он уже испекся. Работяга, которого он прошел из автомата, родственников вне зоны не имел, и его похоронили на новеньком местном кладбище. Олежек, с которым я не разлучался с призывного пункта на Красной Пресне, белобрысый, ноющий на верхней койке ночами: «Ба-а-абу хочу...», Олежек отправился в вечную самоволку, вышел в астрал и хлопнул дверью за три месяца до дембеля. Я был готов убить его за это, но он и без этого был основательно мертв: я несея по деревянной тропе наряда между двумя коридорами колючки, с вышек зырили очумевшие салаги — он лежал на повороте шестнадцатого поста, лицом вниз. Крови не было. Какая к дьяволу кровь, когда мороз заворачивал за тридцать семь! Тулуп, овчинный полушубок — хрен перевернешь такую тушу,— ватный бушлат, гимнастерка, свитер... Только тогда рука моя влипла в горячее. Капитан Жура, пропойца, не стеснявшийся одалживать деньги у солдат, в ту ночь, в то четыре плюс четыре плюс четыре, сам припер нам выпивки; заложи его кто тогда, кончилась бы его двадцатилетняя чин чинарем служба... Мы сидели в сушилке, все свободные от смены, никто не спал, пульт был заброшен к черту, ружпарк не заперт. «Сучий мир,— всхлипывал капитан,— их мать!» — и размазывал по фиолетовым щекам слезы.

Волосы выпадали. Мать показала мне позже, дома, мои письма — они были засыпаны ресницами. Мелкие царапины не заживали неделями. Мы таскали в нагрудном кармане индивидуальные кассеты контроля. Но поговаривали, допустимую норму облучения уже давно занизили: старая система защиты теряла эффективность. Мы же «отдавали долг рождения в великой стране». Радиация усиливала чувство голода. В тайге, на стрельбище, еще салагой, я собрал полную пилотку крупной земляники. В противогазной сумке всегда была припасена горбушка черного. Предвкушая пир, я уже собрался было затыриться за барак стрельбища, как вдруг отлично начищенный хромовый сапог вышиб у меня пилотку из рук — взводный, весело оскалась, стоял за спиной. Не объясняя, он кликнул дозиметриста и ушел. Дозик, вытаскивая жезл счетчика, спросил: «Жрал?» — «Не успел», — сознался я. «Повезло...» — сказал дозик. Земляника звенела. Звенел и березовый сок, который мы, штык-ножом сделав надрез по стволу, нацеживали в пустую патронную банку. Звенел и заяц, убитый в предзоннике под Новый год; звенели грибы, малина... Через год, сачкуя в гарнизонном клубе на липовой должности фотографа, я должен был ехать как-то рано утром с офицерами на охоту. Они пили всю ночь, резались в карты на полковом барабане, смолили едкие местные папиросы... Утро было туманное, водяная муть висела в воздухе. Мы выехали из зоны и по лесной дороге часа два добирались до дальнего озера. Называлось оно ни мало ни много Лунным, и вряд ли я когда-нибудь забуду его гнилые берега. Офицеры выпрыгивали из кузова, кто с АКМом, кто с тулкой... Грязно-розовый свет с трудом просачивался сквозь лапы елей. Слабый ветер сносил рассветный туман. Капитан Жура щелкал затвором, и вдруг все замерло: в сыром прибрежном песке копошились бесперые слепые твари — переваливающиеся, тыкающиеся в сапоги утки. Они трезвели на глазах, офицеры. Я стоял с расчехленной камерой. «Твою мать!» — не выдержал капитан и с остервенением выпустил целый пулеметный диск в несчастных тварей.



Перед самым дембелем, я был уже старшим сержантом, мы накурились плана, который моему капралу Габидулину чувиха исправно присылала в письмах, и, прихватив салагу Коломейца, втроем отправились вниз с целью достигнуть дна преисподней — минус двадцать пятого яруса. Изрядно забуревшие, дозаправившиеся спиртом, мы увели со склада электрокар и покатали по бесконечному низкому коридору. Двойные лампы мигали зеленым до самого последнего поворота, но за ним красным вспыхнула финишная прямая бетонного лимба, электрокар чуть не перевернулся на вираже, Габидулин врзал себе по яйцам прикладом — все мы носили ниже третьего яруса свинцовые намудники, — мое переговорное устройство не работало, и, вмиг взмокнув, мы стали улепетывать, бултыхаясь внутри тяжелых костюмов защиты; нас провожали поворачивающиеся телекамеры, и наконец какая-то дверь лопнула, и нас втащили в лифт. Дозик даже не взял наши кассеты, всем было ясно, что мы хватанули прилично. Но пьяного дурака судьба вывозит, анализы крови были нормальными. В то время мы еще не знали, что при взрыве в Югославии уцелел только тот, кто был в лоскуты пьян.



Я будил своих фазанов и салаг в спертом воздухе казармы, и то у одного, то у другого морда прилипала к наволочкам — кровь шла носом. Работягам платили за вредность бешеные деньги. Машину можно было купить в керосинной лавке. Дорог, правда, не было. Мы же получали за звон по бутылке кефира. Поэтому стрелялся народ не из-за на карачках ползущего времени, а из-за этой невидимой лучистой, неизвестно что с тобою вытворяющей, неизвестно где тебя стерегущей смерти.





Я выговорил тетке и зимние крошечные утренники, когда нас, по пояс раздетых, гоняли кроссом по черной дороге, воздух был еще цельным, не растормошенным, ночным. Глухо и тяжело молотили сапоги, кто-то сплевывал, задыхаясь, и вдруг нас заворачивали — дорогу пересекала черная же колонна зэков; овчарки стерегли поле, конвойные с автоматами наперевес маячили со всех сторон. Однажды меня послали в ближний лагерь крутить киношку, киномеханик то ли сломал ногу, то ли врезал дуба, справки в памяти не сохранилось. В конвое меня накормили до отвала жирным мясом — ребята подворовывали мясо в собачнике; фильм был старый, довоенный, с большеротой блондинкой в крепе-диновом платье, поющей что-то на палубе речного трамвайчика, шпарящего вдоль стен Кремля. Зэки, урки — политических к зоне близко не подпускали — выдавали пудовые шутки, но как-то угрюмо, тихо. Когда фильм отстрекотал и всех выгнали на развод, я пошел по проходу меж лавками, чтобы отсоединить динамик, и поскользнулся, а падая, чуть не размозжил себе голову, еле удержался — пол был густо забрызган спермой.



Тетка заставила меня записать рассказанное. Не оглядываясь, наспех, чувствуя, что она права, в три недели я накатал историю моей службы, и мы прочли ее вместе, сидя на кухне у печки, и на полу на газетах была рассыпана пережившая зиму айва. Это было всего шестьдесят убористых страниц, и мы сожгли их в топке и сверху поставили чайник. Я был пуст. Внутри меня можно было расставлять мебель, но я мог наконец дышать.



Дора, Дора, помидора,  
Мы в саду поймали вора.  
Стали думать и гадать,  
Как бы вора наказать...

Утро кипело, сияло, пузырилось. Дети под миндалем, встав в круг, придирчиво следили, как самая старшая, до синевы июньской сливы загоревшая, Ася, считала их:

Мы связали руки-ноги  
И пустили по дороге,  
Вор шел, шел, шел  
И корзиночку нашел...

Тетка в драмом голубом халате времен русско-японской войны кормила котов. «Mange! — с котами она говорила только по-французски.— Qu'est que je t'ai dit!»<sup>1</sup> Весь в разбитых коленках и локтях примчался соседский пацан. «Тетя Ната,— на лету крикнул он,— мамка сказала — курей завезли!» Тетка, выпустив кота из рук, склонилась теперь над кустом «глория деи». «Тля!» — громко констатировала она.

В этой маленькой корзинке  
Есть помада и духи,  
Ленты, кружево, ботинки,  
Что угодно для души...

Стрекоза вертолета протарахтела в сторону заставы. «Куры,— сказала тетка и, меня не заметив, уставилась на мое окно.— C'est pas mal...»<sup>2</sup> Тима! — вдруг грянул ее боевой вопль.— Вставайте выполнять мужской акт... Хватит дрыхнуть. Слышите, кур, говорят, завезли...»

Под миндалем теперь было пусто, но из-за бочки с дождевой водой торчал чей-то ржаной затылок и розовый сарафан, а от колодца к углу дома на четвереньках пробиралось нечто пятилетнее. «Тима,— тетка приманивала второго кота, моего тезку, буддийского спокойствия разбойника,— голубчик... куры же!..» Я печально кивнул ей из окна.

<sup>1</sup> Ешь!.. Что я тебе сказала! (франц.)

<sup>2</sup> Это не плохо... (франц.)

Дома кашу не варить,  
А по городу ходить —

писклявый голос подзадоривал водящего. «И купите мыла!..» Утро было убито. «По три двадцать...» Мылом мы называли местный сыр.



Персонажи, а не люди жили в поселке. Наша прачка, из местных, в обиходе называлась «ля баба ординэр». «Вот идет ля баба ординэр, тащите простыни». В пятьдесят два года собралась она замуж. И хоть была горькой пьяницей, хозяйство у нее имелось. Нашла себе мужика. «Хороший мужик,— поясняла она, сидя, как бы из уважения к работодателю, на самом краешке стула.— Калитку мне новую навесил. Баню, говорит, как распишемся, построю. Зарабатывает хорошо...» — «Что же он делает, красавец твой?» — спрашивает занятая лицевой гимнастикой столичная референтка газеты «Монд». «Шофер он,— терпеливо отвечает «ля баба»,— говно возит...» Мы уже насобрали в складчину деньги, присмотрели в магазине кружевную ночную рубашку, как «ля баба» заявила вдребезень пьяная, маленькое ее личико было перекошено горем. «Ванька-то мой,— забыв поздороваться, начала она,— говновоз, с дырою вышел!» И заплакала. Оказалось, перед самым загсом поволокла она своего Ваню на рентген, и не зря! — оказался супруг с язвой желудка. «Я-то, дура, радовалась: не пьет, не курит, а он порченный»,— причитала она.

Молочница наша («На море шторм. Молочница больна, и слово «астма» тяжелее гипса...») — ходячий источник самых мрачных новостей,— ослепительно белой марлей закрывая эмалированное ведро, рассказывала: «В Щebetовке, слышали, индюшка с двумя головами вышла... В Феодосии у грузина, клубничкой торговавшего,— нате! Сифилис... У почты поутру — авария! Большой начальник. С автобусом. Багажник ему помяло. Народ глянь, а там чего только нет: колбаса-то,

икра, говорят, гурьевская, еще какой дефицит... Вырезки целая корова». Когда кто-нибудь жаловался, что молоко горчит и отдает полынью, она кручинилась, глубоко вздыхала и, качая головой, говорила: «Все туда же... К войне! В Святой книге что сказано? Упадет звезда-полынь и все поотравит...» — «Да что ж ты, матушка, страху-то нагоняешь,— не выдерживала тетка,— ты коров куда-нибудь в холмы гони, а то они у тебя по солончаку колючку да звезду-полынь и жуют...» Младший сын молочницы сел за поножовщину. Старший должен был скоро выйти. Муж жил с другой, и от всего этого у нее началась астма. «Знаю я,— с обидой поднимала она глаза,— они мой волос сожгли. В могилу меня метят... А я к Казанской поеду, заплачусь... Заступница, скажу, спаси».

Здесь жил знаменитый авиаконструктор, балетных дел мастер, кремлевская старушенция, герой гражданской войны, два-три официальных писателя с достаточно громкими для провинции именами. Этих аборигены уважали и почитали. Но несколько домов, похожих на теткин, где в затянувшемся побеге жили недобитые интеллигенты, словно имели на воротах намалеванный жирными белилами крест. Народец сталинских уроков не забыл, а тогда брали именно таких, умniejszych шутников. Слово «интеллигент» уже полвека было ругательным. И бродили по аллеям писательского парка шефы: донецкие шахтеры в тяжелых черных костюмах фотографировались группами под спортсменкой с веслом, а на ближнем пляже здоровенный дядя проверял пропуск: все ли имеют право на море? Здесь читали на всех языках, здесь знали все последние новости, здесь трещали машинки, обсуждались рукописи, давались домашние концерты. Здесь в море плыл и фыркал огромный поп, а навстречу ему саженками летел рыжий дьячок. Здесь оскользнулся режим, расставивший столько сторожевых постов вдоль берегов гомеровской Киммерии. Здесь дышала, доживая последние часы, странная вольница, основанная в начале века поэтами, мистиками, художниками.

Сказать ли правду, что всего этого больше нет?



Однажды на пляже на закате подошла ко мне старушенция, та, «которая видела лешего» где-то в бунинских курских лесах. «Вы заметили,— спросила она,— что турецкий берег неизменно отодвигается? Moi, je m'en fiche...<sup>1</sup>» Была она из Петербурга, из Питера же была и ее подруга, восьмидесятилетняя гренадерского роста дама со слуховой трубкой и отличными кавалерийскими усами. Они жили вне советского времени — собирали на пляже сердолики, перечитывали «Любовника леди Чаттерлей»<sup>2</sup>, припоминали ужин у Ахматовой так, словно это и вправду было вчера и от грузинского вина еще не исчезла изжога. «Пунин невозможен», — говорила одна. «Бедная Анечка...» — вздыхала другая.

Где-то там же, между киловой горою (серо-синий вулканический пепел) и спасательной станцией, встречал я обветренную дубленую личность, именуемую Стась. Его роскошные плечи были обтянуты выгоревшей тельняшкой, лихо заломленная капитанская фуражка и коротко стриженная седая борода выдавали в нем пирата, через всю щеку шел отличный голливудский шрам. У него был дом: трехэтажный терем с раздвигающимися стенами — и самодельной сигнализацией опутанный сад. Предполагалось, что он был знаменитым рабом-скетчистом всесоюзного известного шутника. Было ему сильно за полтинник, но все его каскадные шутки неизменно съезжали к фаллосу. Я не встречал более задубевшего пошляка. Что-то лоснилось в его самодельном провинциальном мачизмо. Детская слюнка пузырилась под всегда аккуратно подстриженными усами. Взгляд не отрывался от ватерлинии проплывающих мимо красоток. «Я доволен последним поколением комсомолок,— сообщал он, мигая,— ни одного триппера за последнюю пятилетку. Точно! Пятилетка качества...» Он сидел. Намекал, что за политику. Но через несколько курятников от него жила семья, отси-

<sup>1</sup> Я, мне наплевать... (франц.)

<sup>2</sup> Роман английского писателя Дэвида Герберта Лоуренса.

девшая по десятке (антропософия), и у них были совсем иные сведения. На набережной, где каждый вечер нежнейшим образом издыхало перламутровое море («Что-то нынче на душе перламуторно...» — вздыхал Стась), где шел ленивый флирт, а заодно устраивались издательские делишки и можно было между «котлетой по-пушкински» и компотом протиснуть на вход полустгнившую в ожидании рукопись, — на набережной Стась, выгибая спину, целовал ручки, шаркал ножкой и подкручивал ус. «Кто этот забавный старикан?» — спрашивала жена писателя Тараканова, хорошенькая дуреха, состоящая из сплошного декольте. «Как? Ты не знаешь? — удивлялась ее приятельница, по прозвищу Ходячая Газета. — Это же Стась! Его рассекретили лет десять назад; наш резидент в Каракасе... Потрясный мужик...» Стась был не только Джеймсом Ивановичем Бондовым, бывал он и таинственным конструктором подводных лодок и даже тем самым, кого запустили вокруг шарика еще до Юрки... Юрка же был Юрием Гагариным. Одним словом, Стась был легендой, Омар Шарифом местного разлива... Тетка уверяла, что он клептоман. После его неожиданных визитов она обычно начинала метаться по дому. «Где швейцарский будильник? — вопила она в окно. — Он спер! Точно спер!» Я находил будильник под подушкой. «А ножницы? Мои лучшие ножницы? Он же коллекционирует ножницы...» Ножницы висели на гвоздике под барометром. «Как он не утащил мой барометр? Он же обожает барометры!...» Я ходил за нею, умиряя брыкающиеся вещи — уборка дома была частично на мне. «Тима и я, — рассказывала тетка гостям, — убираем дом принципиально по-разному. Тима все запихивает под кровати. Пройдет — и ничего нет! Я же убираю так: хожу и выясняю, где что лежит...»



Однажды Стась затащил меня к себе. На террасе как бы небрежно забытая, в складках полуистлевшего пледа лежала скрипка. Без струн. Гостиная от пола до

потолка была увешана часами и, действительно, барометрами. У окна — оно тут же уехало в сторону, и шум пляжа ворвался в комнаты — стоял мольберт с недомалеванным куском синевы. Сбоку у сарая был виден абиссинского цвета раб, ковыряющий землю. «Даю возможность поклонникам приблизиться», — сообщил хозяин и жестом Аладдина пригласил меня в кабинет. Боже, у этого человека в этой стране была коллекция оружия! Зауэр-три-кольца висел над диваном. «Желаете взглянуть?» — «Нижний ствол нарезной? — Я погладил щеку приклада. — Для "дум-дума"?» — «Ого! — Стась глянул на меня с интересом: юноша подает надежды... — А как вам нравится это?.. — и он вытащил из-за дивана ни мало ни много винтовку с оптическим прицелом. — Вот отсюда отлично видно...» Крест прицела скользнул по разогретому мясу пляжа. Грудь, зад, рука, поправляющая бриточку, гиппопотамья складка живота... «Ну как?» — Стась протягивал мне запотевший стакан розового вина. «А вы?» — «В глухом завязе. Я свой план перевыполнил... — И он принял из моих рук мелкокалиберку. — Чудесные попадают экзепляры. Вот, например, эта пистюлька... Так, кажется, и пообрывал бы ей ручки-ножки... — И он как бы с сожалением оторвался от прицела. — Около лодочной станции. В красном». И, передавая мне винтовку, подмигнул желтым глазом, из воздуха извлекая вдруг патрон, щелкая затвором... «От этого у них прибавляется прелести», — заглянул он в меня. Я посмотрел в сторону лодочной станции: мокрый песок еще с живым отпечатком ноги, волосатые ляжки спасателя, детское синее ведро, распущенные волосы, дужки очков... «Нет, вы уж извольте пальчик на курок», — горячо задышал надо мною Стась. Я выпрямился и протянул ему винтовку. Он улыбнулся безгубой улыбкой и, сморщив сфинктер левого глаза, замер с винтовкой, прижавшись к оконному косяку. Лишь фаланга его указательного пальца, к моему ужасу, не переставала двигаться, вжимаясь в курок. В момент, когда я уже собирался перехватить, направив в небо, цевье, затвор

жалко щелкнул, и Стась уже раскланивался: «Пардон за шутку...» Он провел меня через второй этаж, невзначай мы миновали его спальню: кровать размером с боксерский ринг, софиты, изрядно кривое зеркало вдоль стены и «хассельблад» на деревянном штативе. «Правда, что вы снимаете девочек?» — спросил я его на крыше. «Жалкая ложь,— он шарил телескопом по горам,— ...некоторых. На память... Прозаично спаривается нынче народ,— вздохнул он.— Или оптика сплющивает пространство? Какая-то каша из рук и ног...»



Стась вечно обменивался. Шило на мыло. Шиллера на Миллера, как сказал бы один, в Нью-Йорк спланировавший, шутник. Пронюхав, что я привез японский коротковолновик, он поймал меня в зарослях сирени. Я уже наломал целый воз и собирался отваливать, когда он вынырнул из преисподни. «Пятьдесят рублей наличными»,— сказал он и полез в карман, где явно ничего не было. Я отказался. Мы пролезли через дыру в заборе на территорию гаража. «Сказали бы мне,— Стась кивнул на сирень,— я бы вас одарил... Дельтаплан хотите? У меня приятель только что разбился». Пока мы пересекали дорогу, заворачивали за аптеку, шли через поле, он успел мне предложить: кавказскую бурку, ревнаган с комплектом вполне еще кусачих пуль, трех богинь комсомолок из личного гарема и ключи от замка на целый месяц, корень женьшеня, волчью ушанку, полное собрание сочинений каторжанина карманного формата. У калитки я извинился, я должен был кормить недобитую интеллигенцию, трех собак, двух кошек и целую банду гастрольных скворцов. «Делаете ошибку»,— сказал он мне вслед.

С тех пор, уходя в горы или к морю, я навешивал на дверь крошечный висячий замок, открыть который, конечно же, могла и залетная стрекоза нечаянным ударом слюдяного крыла.





Все это не больше чем прощание. Профессиональное нытье. Осложнившиеся отношения с *passé composé* и *futur simple*<sup>1</sup>. Способ изжить случившееся. Память — все, что у меня есть. Я занимаюсь честной подтасовкой в памяти. Подклеиваю ноги блондинки к туловищу брюнетки. Посыпаю зимнюю дорожку рыжим летним песком. Гордо говорю «прощай» там, где были сплошные слезы и сопли. Избегаю свидетелей. Да и они, признаться, здорово спятили. Вчера в «Бильбоке» одна в нарушение правил встреченная длинноножка выдала: «Если бы ты не волочился за мной как кретин, я уверена, что мой второй муж пристроил бы тебя на «Мосфильме»...» Боже! На кой черт мне «Мосфильм» и кто ее второй муж? И разве я волочился за нею, а не за ее младшей сестрой, которую не помню как звать?



Короткая, закатным солнцем подсвеченная струйка орошает облезлый бок карусели. Пацан со спущенными штанишками глазеет на ослика с позолоченными ушами. Старая карусель мертва. Сердце, износившее витки обмотки, выброшено на ближайшую свалку. Краснорожий механик возится в фанерной, Анри Руссо раскрашенной, будке. Трансплантация не обсуждается местной, несуществующей, прессой. В деревянном экстазе вскинувшая копытца лошадка, слоник с дырою на месте хобота, дромадер с девичьими ресницами и китайский, партийного цвета дракон («дракошка! дракошка! драная кошка!...») пребывают в унылом параличе. Механик выходит раскорякой и, недоверчиво глядя в люк, поворачивает рубильник. Сноп бенгальских искр бьет из будки, судорога сводит дубовые мышцы бестиярия... Я стою в очереди за пивом; тупоголовый альба-

<sup>1</sup> Сложное прошедшее и будущее простое (франц.).

трос кувыркается в темнеющем  $O_2$  и прочих примесях. Подводная лодка, кокетничающая по случаю арифметически правильной даты основания красноплавниковых военно-морских сил, зажигает иллюминацию. Старик пенсионер с криво лежащим в желудке ужином бредет по песку. Магнитные волны шуруют сквозь все и вся без спросу, но застревают и оживают в ловушках транзисторов: сарабанда Генделя с усиленными ударными участвует в сгущении верхних слоев атмосферы.

«Время идет слишком быстро,— говорит, шелестя юбками, спутнику расплывшаяся шатенка,— дни свистят, как пули...»

Чушь, думаю я, время стоит. Время вкопано в вечность, как столб виселицы в бок земли. Это мы движемся сквозь время, стирая кожу или жилы, изнашивая сердца и слишком серое вещество головного мозга. Мед и деготь, липкая масса дней и месяцев — продираясь в этом смертельном сиропе, утомляешь мышцы души. Комар со своим писком, вплавленный в глыбу янтаря: вот ты, вот я. Лишь смерть выстреливает нас прочь. Смерть — избавление от проклятия времени. Умирание мы называем жизнью, а конец плена — смертью. Я думаю о жизни как о серии бесчисленных моментальных фотографий. Где-то попался мне этот снимок: прыгун с шестом, расслоенный на целый веер шелестящих, друг в дружку переходящих образов... Эксперимент стоило бы продолжить. От рождения до смерти. В доме, в городе, в стране, в воздухе и воде, до последнего, плохо вышедшего из-за вспышки взрыва снимка — старик, пристегнутый ремнями к самолетному креслу, с коньячной рюмкой в руке падает в океан. Точка. Конец передачи. Точка. Я вижу жизнь городов, как бесчисленные перекрещивающиеся маршруты расслоенных на мигающие миги жизней. Сквозь пространство, залитое гидrolитом времени. Мы любим иногда выдергивать из собственной или чужой серии единственный кадр, обрамлять его в рамку, вешать на стену. Дальнейшее развитие визуальной идеи требует стереовиденья, нужны лазеры, кулисы, компьютеры, четвертое измерение...

Самка ракетносца, вся в траурных дымах, подходит и становится на внешнем рейде. Рядом с подлодкой. Медная музыка войны глушит старину Генделя. Народонаселение скапливается на границе твердого тела полуострова и равнодушной равнодышащей влаги. Все ждут активного раздражения зрительного нерва. Охает первый залп. Славный военно-морской флот эякулирует калиброванными фаллосами, развешивая в небе родины цветную сперму. Да здравствует плавучая смерть!

Интеллектуальный онанизм продолжается. Жизнь, думаю я, погружаясь в пиво, есть постоянное прощай. Прощай, никак не сформулированная секунда. Я не успел запихнуть в тебя ни иголку боли, ни целый шкаф радости. Прощай, недостаточно стеклянная, чтобы застыть или разбиться громче, волна. Прощай, ночное беспартийное облако, сваливающее на всех парусах в сторону заминированного Босфора. Женщина встречает мой взгляд: прощай, красотка, у нас никогда ничего не будет, а если будет, то после того, как мы выжмем друг другу тела,— прощай, краденая радость, прощай, живая вода перекрученных ласк. Где складываются эти миги умирания, эти всегда разные взрывы? Уже через минуту на месте живой судороги ничего не найти, кроме хилой агонии и вдогонку мчащегося сердца. О, я уверен, что сдвоенный оргазм — это самовольная отлучка. Мы счастливы, нас здесь нет!.. День уходит за днем — и старик Экклезиаст пусть пудрит мозги царице Савской,— и восходит солнце, но совсем не вчерашнее, и возвращается ветер, но вовсе не на круги свои. Звезды завтра в двадцать три пятнадцать по московскому времени будут не те же, пересчитав, недосчитаясь многих, а первое «прощай» было сказано в колыбели. Про кого это в коротком некрологе выдали: «Он прожил шестьдесят восемь прощальных лет»? Сердцевина жизни, то, что отравляет радость,— разлука. Искусство не есть ли попытка крикнуть «прощай» громче других? Найти ему форму, способную как можно дольше выдержать давление времени? Давай дальше, протискивайся сквозь мусор звезд... Пустая гильза шлепается рядом, пацаны дерутся из-за нее. Молодая

мать смотрит на них, улыбаясь. Будь Дианой, беби! Плюнь на победу изма, на начавшийся рак груди — застынь в веках, найди форму, затвердей в столетиях; пусть ледяной мех трогает твой сосок и твое лоно, а не эти волосатые руки горилл... Вся жизнь, вся философия, весь собачий бред утопий — не одно ли слабогрудое желание сказать «здравствуй»? Кому?

Со страшным ржавым звуком трогается наконец карусель. Вопли и слезы. Медали и ордена. Помилованные приговоренных ко сну. Очередь сопливых за билетами. В глазах осла плывет жасминный куст. Из его белого взрыва надрачивает что-то простонародное гармошка. Совсем рядом летают в воздухе крепко сжатые кулаки, лопаются мелкие сосуды, несется вскачь ошалевшая кровь, кипит лимфа, поминаются родственники женского пола с обеих сторон: «Твою мать, ать, ать... Дай ему! Дай ему промеж рогов...»



В тот вечер, когда скрипя, ибо ревматизм не шутка, старая карусель сдвинулась с места, сдвинулся с места и поселок. Переполненный, как старая барка, гениями и графоманами, антропософами и хиппарями, дзэн-буддистами и потаскушками, уже отсидевшими и все еще ожидающими отсидки, генералами от партийной музыки и гомосексуалистами, поселок накренился, загудел и отчалил от берегов родины. Началось с небольшого скандала, когда банда тунеядцев-волосатиков, изловив на выходе из писательской столовой начальника московской литературы (бедняга безмятежно ковырял в зубах спичкой), задала ему преступный по сути вопрос: «Почему в стране победившего социализма (победившего кого?) тиражом в двести тысяч экземпляров выходит на подтирку не годящийся журнал «Уголь», а журнала поэзии нет?» Начальство отрыгнуло коньячком и попробовало улигнуть. Мешал живот и улыбающиеся глаза коллег. А распоясавшиеся юнцы шпарили дальше: «Какой вред самой передовой в мире от стихов и песенок? В каких отношениях состоит ЦК с Пар-

насом? Когда кончат возить тяжелую воду на отечественном Пегасе? И не пора ли освободить от лесоповала поэта Веревкина?» Неизвестно, чем бы все это кончилось, скорее всего, микроинфарктом, ибо кто же может выдержать без физических потерь вслух задаваемые подобные вопросы, но тут грянул гром, сверкнула молния, и не кто иной, как Стась, в сопровождении хромого милиционера и бабы Гитлер явился глазам обалдевшей публики. Ловко заломив ближайшему говоруну руку, Стась сунул под нос любителям вопросов известного вишневого цвета удостоверение и тем самым заложил самого себя на веки веков. Публика запела «Интернационал». «Ишь, пастернакипь...» — рычало начальство. Хиппы, однако же, презрев традиции тридцать седьмого года, а также пятьдесят второго, не слиняли, а дружно врезали оперуполномоченному по первичным половым признакам и, подхватив друга, смылись в сторону базальтовых образований эпохи неолита. Публика, покончив с «Интернационалом», неожиданно перехлестнула на «Опавшие листья», капитан подводной лодки выслал на берег шлюпку с отлично наглаженными матросиками и на всякий случай велел расчехлить зенитный пулемет. На писательском пляже в тени, образуемой щитом с инструкцией, как вести себя во время утопания, пионерка Люся пыталась отдаться поэту Гаврильчику, но ничего не выходило. Слезы неразделенной любви орошали ее грудь. В это время на всех парусах подбежал к пирсу прогулочный катер «Киммерия», и вдребезень пьяная съемочная группа «Мосфильма» влилась в народные массы. Все, может быть, и устроилось бы, но тут хлопнуло верхнее окно Дома поэта, и вдова в круглых очках почерепашьи выглянула на набережную. Лишь Стась своим тренированным слухом да я просекли ее грозный шепот. Это были последние строчки запрещенной поэмы: «...пошли нам мор! германцев с севера...» И тут же без всяких театральных штук, врезая толпу воем, выкатилась и помчалась к гостинице «Млечный путь» «скорая помощь». Через пять минут обеспокоенные массы уже знали, что в номере таком-то дал дуба удар-

ник коммунистического труда, здоровенный дядя, фамилия неизвестна. Сказал-таки свое последнее прощай и весь в жидком дерьме протиснулся на выход. В эту самую вечность. Дежурный врач предполагал холеру. В местной лаборатории вспыхнул свет. О результате анализов было сообщено по телефону в Фео. Утром поселок проснулся, оцепленный войсками. Был объявлен карантин.



Мне пришлось выкупать Тоню у солдатиков, цепью перекрывших холмы. Накануне моей тоски она уехала в Феодосию — то ли принести жертву в храме Афродиты Привокзальной, то ли испросить совета у горбоносого авгура-айсора, прикидывающегося чистильщиком ботинок. Стоила мне моя наложница пять рублей неконвертируемой валюты и честно расплатилась тут же под кустом издохшего кизила длинным и мокрым поцелуем.

Какого хрена мы не могли ужиться вместе? Быть может, мы действительно были друг другу братом и сестрою и нас подтачивал банальный инцест?

Полномочия советской власти перед лицом стихии, будь то незапланированная смерть в виде холеры или небольшая трехмесячная засуха, понижаются, что дает грядущим поколениям небольшую надежду. Лев Троцкий, конечно же, не задумываясь, сбросил бы на поселок небольшую бомбу. Владимир Ильич приказал бы устроить идеологически объяснимое землетрясение. Гуталин Джугашвили придумал бы что-нибудь похитрее: срытие Святой горы и возведение на ее месте какой-нибудь пирамиды в виде куба. Нас же оставили без надзора. Стась исчез. «Голос Америки» звучал теперь из-за каждого забора, гомосеки встречались вечерами у «бабы Лены», памятника Ленину, и шли на танцульки. Дело дошло до грима, до трагедии, до враждебных нам по духу танцев. Катер «Киммерия» превратился в плавучий бордель. Шепотом и на цыпочках

жившие пииты начали читать свои шедевры открыто по всем террасам. В качестве профилактики народ потреблял с утра белое столовое по семьдесят две копейки за литр и был счастлив.



Мы решили с Тоней бежать. В конце концов, одно дело — жить по собственной воле на фальшивом сквознячке коктейбельской свободы, а другое — сидеть в заперти. Мы уже прослушали крамольную лекцию правозащитника Икс о презумпции невиновности, повесть Зэт о франкмасонах в сибирском обкоме и фортепьянный концерт Игрека, который, распатронив нутро рояля, играл всеми своими сорока пальцами не на клавишах, а на струнах... Мы, наконец, провели с Тоней интенсивное перемирие, полное солнечных взрывов и умопомрачительных провалов. Лишь тетка вела себя разумно и, покончив с дневными экзерсисами (Дебюсси) и очередной главой «Александрийского квартета»<sup>1</sup> (мучительное торможение словаря), пилила дрова на зиму.

Напоследок я заглянул к Гаврильчику, попрощаться. Номер раз держался за печень, но продолжал тянуть новосветское шампанское. «Старина, подпольщик стоеросовый, я тя должен предупредить,— воздвиг он спич.— Грядут, клянусь тебе, великие перемены. Кто не с нами, тот вас ис дас. Кончай играть в прятки. Мне точно известно. Вас будут травить дустом. У нас генералы созрели. Целая роща. Ракет у нас до и больше, старина... И дело не в том, правы мы или не правы, а в том, что нас теперь весь мир слушает... Правы мы будем потом... Это только вам, остолопам, из вашего окопчика кажется, что наверху нет сверхидеи. Чудило! Идеи в ЦК в бочках солят...» Грустное было прощание... Зашел рыхлый, с обвисшими телесами критик правофлангового журнальчика, покатила бочку на

<sup>1</sup> Роман Лоуренса Даррелла.

евреев: «Жи́ды-ы-ы-ы,— жужжал он,— раздракони́ли вдребезги страну, Троцкие и Урицкие, а теперь ходу́ дают, на родину... а-а-а-а... предков...» Со своей бутылкой, скромно в кресле, устроился милейший умнейший красавчик киношник, сигарку пожевал, спичкой чиркнул — так и застыл: в одной руке сигарища от товарища Фиделя, в другой — огонь. «Пробле́ма полу́кровок,— завел он,— полтинников. Кого ни копни: наполовину еврей. Так и ждешь, что вот-вот он пере́метнется. Одной рукой до́мны и нивы воспева́ет, друго́й — паскви́ли для загра́ницы строчи́т...» Девушка пришла, из провинциалок, номером раз приглашенная, застенчивая, в платье, чем-то чудовищным надушенном. Выпила стаканчик шампуньского, речи столичные про грядущую войну послушала и разревелась; сидит, слезы по румяным щекам размазывает и икает. Гаврильчик по головке ее гладит, глазами знаки делает, сматывайтесь, мол, идиоты, сверхидея у него созрела. «Будь здоров,— говорит,— Тимофе́й, и помни, у нас есть теперь трезвые, за страну стоящие люди. На западном фронте лишь временно́ без пере́мен. Пу́ть в Берли́н, сказа́но, ле́жит че́рез Афганиста́н. Знае́шь, кто приду́мал? Ле́ва Бро́нштейн. Люби́тель какту́сов».



Кстати, о войнах: вторая мировая на станции Джанкой будто бы и не кончилась. Какая там вторая! Гражданская еще: сидят пейза́ны на корточках, реву́т грязные дети, штурмом беру́тся какие-то расхлестанные вагоны; качается на ветру голая лампа — влево — гаснет, вправо — зажигается. Сука с обвислым брюхом глядит в беззубый рот жующего чучме́ка. Гражданин начальник бежит вдоль путей в сопровождении бегущего мусора... Билетов на Москву нет. Нет ни гостиницы, ни рестора́на. Налетаю́т из мрака поезда — в окна́х мужичье в майках, столы, заставленные бутылками, жирные колбасы, буханки хлеба. Дрожа́т рельсы нико-



лаевской еще дороги. За полночь я сую проводнику московского скорого пятнадцать рублей в потную лапу. «Йех, ух, твою мать, да куда же вы?» — и мы в служебном купе. Он запирает нас, рыжий дядя, Тоня виснет на мне, устала, соломинка, вот-вот сломается... Служебное купе завалено грубыми солдатскими одеялами. Мы забираемся вдвоем на верхнюю полку, кое-как вжимаемся. Спи, маленькая. Ее уже нет. Дядя Морфей в милицейской форме упер ее к уполномоченному Гипнозу. Стучат колеса. Стучит в башке сумасшедший, советского засола, анекдотец: «Петък, а Петък... скажика ты мне... вот рельсы они такие хладкие, а колеса они такие круглые — так што ж стучит...» — «Эх, Василь Ваныч, посылали тебя в академию учиться, не поехал ты.. Колесо — оно шо? Оно хруг. А площадь хруга какова? Пи-эр-квадрат! Так хвадраты и стучать!..» Гнилой ветер бьет в окно — Сиваш, ахиллесова пята русской истории, конец белого Крыма. Проморгали, ребята, Русь, а теперь в терема и бояр играетесь... Ободрали жар-птицу до дохлой курицы, деревянной ложкой чужие консервы уминаете... Мать говорила: эх, знать бы, где эта кнопочка, что мозги выключает... Не выключаются. Степь бежит за окном, заламывает руки, дышит сухой полынью. Проводник весь в молниях грязного света врывается: «Давай, паря, еще десятку, контроль идет, замазать надо...» Где там у кисоньки в джинсах трешник. ...Да не трогаю я тебя, не вздрагивай, мне десятку сивому мерину выдать нужно...



Под утро мы въехали в осень, моросило, тянуло гарью, торфяные болота дымили. К одиннадцати часам, когда разносили жидкий чай в кривых подстаканниках, повалил снежок, и Тоня вышла на станции Сентябрь. Она махала рукой, она улыбалась с платформы, она слатывала круглые, изрядно стеклянные слезы. За мелкие деньги я договорился с машинистом, и поезд завернули в Питер. В сизых морозных дымах мы ворвались под

грязный свод вокзала, вдарили по тормозам, и, поднимая ворот шубы, запихивая руки поглубже в карманы, я увидел знакомого йога, жмурившегося под схемой ленинградского метро. «Ты кого здесь ждешь?» — спросил я. «Тебя,— сказал он,— я тебя протелепал...» Питер был весь сикось-накось зарисован белым. Снег валил со всех сторон, даже снизу. Мы взяли извозчика, и он, на третьей скорости, покатил по Невскому. Князь Юсупов стоял в распахнутом окне и дымил длинным мундштуком. Николай Гумилев, в чем мать родила, сидел верхом на коняге Клодта. Пролетели легкие санки балерины Кшесинской. В ресторане «Крыша» половой, кланяясь в пояс и не показывая лица, принимал заказ: «Расстегай, соляночка два раза, штофчик той, что посинее... балычок...» Он поднял-таки голову и расстрелял меня в упор глазищами — Распутин! «Тим, Тим,— трясла меня Тоня,— проснись же...» Поезд стоял, солнце лупило по своим, баба в белой до слез русской косынке протягивала в окно горячие рассыпчатые картохи. Курск! Иван Бунин с запавшими глазами, с картузом в повисшей руке стоял под горячо дышащей яблоней и повторял женское какое-то имя... «Да проснись же ты!» Во рту было кисло, пылью пахли одеяла, малосольный огурец стоит двадцать копеек. Дернуло, поехали... «А хлеб у нас есть?» А хлеба у нас была черная тминная горбушка. «Как спала, егоза?»



Короткое северное лето постояло в дверях, подразнило легкой жизнью и хлопнуло дверью. Еще бежали вперегонки вихрастые липы бульварного кольца, таяло мороженое на всех углах, и с треском вспарывали ножи азиатские черепа арбузов, еще распахнут был всеми окнами крикливый трамвайчик, шпарящий через Язу, еще продолжались вечерние дачные посиделки: с самоваром, перекормленным сосновыми шишками, со свежесваренным малиновым вареньем, еще нежны были наползающие с лугов туманы, а на вокзалах продава-

лись жирные астры, еще пусты были чисто вымытые улочки центра, как грянуло вдруг со всех сторон первое сентября, хлынули из всех дверей наглаженные, причесанные школяры, дохнуло недвусмысленной свежестью и погода пошла мелькать все серее и серее, вплоть до грязных каких-то чернил, крепко к власти приписанные денечки.

В конце листобря я подрядился накатать несколько радиоинсценировок по сказкам братьев Гримм, а чуть позже Тоня познакомила меня с застенчивым крошечным гравером, у которого приятель, женатый на немке, уехал в гости к Гёте и квартира стояла пустая. Крошечная кухонька, кривобокая ванная и Г-образная комната были свободны до первых телодвижений властей, до стандартного доноса из посольства, что гражданин Перебежчиков не явился для продления визы. Плата была мизерная, домишко — волшебнo-старый, замоскворецкий, с кустами бузины, с тополями, кошками, заборами, сараями. В середине дождебря я разделался с безработными принцами и грустными карликами, неделя первых заморозков ушла на разработку сценария для Никитки, который в содружестве с Берем-и-Едем поднял драный флаг семнадцатого года: «Грабь награбленное!» В затею я не верил, но на Николу зимнего получил двадцать хрустких пятидесятирублевков и совет провести Новый год подальше от стен Кремля. Роль посланника исполнял Понт; ни Никитки, ни Берем-и-Едем в российской федерации не было — друзья отправились дышать озоном Армении, глазеть на Арарат да отпаиваться чудесным местным коньячком. Операция, базировавшаяся на моем старом рассказе («Хичкок в лаптях» — Осина реакция), прошла с некоторой отсебятиной, но в целом авторские права я удержал: в окраинную «Березку» нагрянула компания восточного типа людей, солидно одетых, хорошо откормленных; они набрали полные руки изрядно недешевого товара — кто шубу жене, кто колечко с камушком, кто стереохреновину (истинный ассортимент мне не известен); расплачивались странного вида валютой — вроде бы твердой, но

вроде бы и не очень; кассирша, строго следуя инструкции, попросила разменять лиловые банкноты Лилипутии с тысяч хотя бы на полтинники и нажала волшебную кнопку вызова опергруппы. Покупатели загулили, затараторили по-чучмекски, выражая общее недовольство, но тут доблестные мусора их и повязали. Прихватив с собой в качестве свидетеля кассиршу, опечатанную в срочном порядке кассу с лиловыми фальшивками, выбранный проходимцами товар, оперативные работники расселись по черным машинам и на приличествующей их положению скорости растворились в вечеряющей дали. Настоящие опера приехали минут через семь.



Совета я не послушался и Новый год встречал в пустом зале театра «Современник». На сцене горела голая дежурная лампа, динамики сотрясал «Диалог квартета Брубeka с оркестром Бернштейна», в фойе кипел банкет, и я, сидя в последнем ряду со стаканом теплого шампанского, вспоминал, как здесь же, в закутке на сцене, я спал сколько-то там лет назад между спектаклями на сваленных горой пыльных кулисах. Валя Микулин, «актер актерыч», подкравшись однажды, вытащил из кармана моей куртки дедовский маузер, взвел оба курка, имея, к несчастью, в виду, что это лишь бутафорская игрушка, и разбудил меня пинком. Это был отличный двадцатичетырехзарядный маузер с рукояткой черного серебра. Дед мой умер, я бросил школу и бродяжничал; театр был моим единственным пристанищем. Я начал рабочим сцены и перешел в бутафорский цех. У Микулина до сих пор знаменитый зазубренный, запаутиненный голос. Наждак, да и только. Увидев наведенный в упор маузер, я резко крутанулся вбок, адреналина в ту эпоху хватало, свалился с кулис, и Валентин всадил пулю в гору тряпок. Когда до него доехало происшедшее, он затрясся и его и без того лошадиная морда вытянулась до колен. Мы тяп-

нули в подвале театра по стопке «старки», он хрипел извинения на нижнем регистре, а потом долго-долго играл кул на разбитом пьяно: он был отличным пианистом. И теперь из фойе доносились ржавые скрипучие перекаты его голоса...



Опять, шурша грязными юбками, на город уселась зима. Все было до тоски знакомо. Дохлые осыпавшиеся елки, выброшенные после праздников. Баба с двумя авоськами апельсинов, испуганно озирающаяся на перекрестке. Шпана в пальтишках на рыбьем меху, с шакальим оскалом, с обветренными красными руками, не вмещающимися в узких карманах. Винные магазины с лужами, матом и гнилым коллективизмом. Постовой в огромных валенках, с хорошо отъетой ряхой. Фраза приятеля по поводу постового: «Это его власть. Не твоя и не моя, а его...» Но было и новое — город прохудился, дал трещину, и через нее исчезали люди. Пришел прощаться Цаплин. Рыдал. «Страшно, старичок, конечно же, страшно... У меня там никого». Через полгода голубиной почтой домчалась его открытка из Рима. «Старина,— писал он,— сижу в кафе «Эль Греко», бархатные диваны, картины на стенах, из Израиля еле сбежал. Мы никому на хрен не нужны. Первое время я бросался на книги, шатался день и ночь по музеям. Здесь все есть, все доступно, но никто ничем не интересуется. Вопросы, которые они задают о нас, чудовищны». Уехал художник Иванов. Трясся, что с такой фамилией его по израильской визе не выпустят. Проскочило. Уехали Мышкины. Всей семьей. С кастрюлями, подушками, электросамоварами. Малым ходом заслали вперед все, что можно было. Собрался на проклятый Запад даже старик Олин. «Куда ты?! Спятил, старый хрен? — приставал к нему Ося.— Что ты там будешь делать?» — «Клошарить...» — был ответ. Фантастические новости о закордонном мире стали просачиваться в Москву. Люди были свои, подпольные, изучен-

ные, можно было верить. Поэт Сухомилин, получив премию Петрарки, снял в Риме в дорогом отеле целый этаж. «Зачем, я и сам не знаю... — вопил он по телефону.— Так... с панталыку...» Новые места, вернее, дыры от уехавших не затягивались. Поколение молодых нахалов — сочиняющее, малюющее, на дудках играющее — ничем не было похоже на наше. Они были какими-то американцами: деловыми, динамичными подпольщиками. Спикали. Парлевукали. Отнюдь не рыдали, получив на руки невиданную книженцию. Бегали кроссы. Коротко стриглись. Уповали на военный путч. Но и из них некоторые уже нацеливались на Нью-Йорк. «Я не эмигрирую,— объяснял мне один из них,— я еду домой...»



Роджер передал мне короткое письмо парижского издательства: «Станцию “Кноль”» собирались тиснуть, лишь просили пройти по последней главе... Голова моя пошла кругом. Рубикон был не шире ручья; можно было, конечно, расставив ноги, удержаться на обоих берегах. Не лучшая все же поза для жизни. В то же время начать играть в открытую означало бы потерю анонимности, возможности писать вне контроля. Ты же мечтал, кретин, перестать писать в стол! — орал я сам на себя.

Замоскворечье — все еще не Москва: улицы тихи, дома приземисты, церкви дыбятся на каждом углу. Я бродил кривыми переулками по заснеженному городу и решал и не мог решить... В конце концов, псевдоним тоже чушь; стилистический анализ ГБ практикует десятилетиями, и какой-нибудь старый хмырь, милейший профессор запятых, знаток Тютчева и Элиота, кряхтя над вечерним чаем, соорудит вполне резонный рапорт о неумолимом сходстве Тимофея Сумбурова с Ефремом Курагиным, он же — Афиноген Фталазолов... Я дал знать парижскому издательству теми же окольными путями, что пересматриваю последнюю гла-

ву. В это время в Питере начался процесс по делу Куна. Седой очкарик собрал антологию подпольной прозы и поэзии и тиснул ее домашним, в одиннадцать копирок, тиражом, да был заложен литературной бездарью, платным осведомителем... Банально до икоты. Я знал Куна по Крыму — беспомощный, милейшим образом задвинутый дядя. Я дал ему «Параллак» — лучший, как я считал, рассказ. В первый день суда я вылетел в Питер. По аэродрому гуляла сухая поземка; когда такси выскочило на Невский и вдали малиново вспыхнул шпиль Адмиралтейства, я понял, что никакого псевдонима не возьму. Все осточертело. Я избегал коллективных писем и акций, чтобы писать вне сыска, — видимо, это время кончилось. Мог ли я подумать, что скоро вовсе забуду о своем призвании?



«Параллак» давным-давно гулял в самиздате. У меня была слабость к фотографам. Они в разных видах, наскоро переодевшись, перебирались из истории в историю. Герой «Параллакса» видит мир таким, каков он есть на самом деле, лишь через видоискатель «лейки». В обычной жизни он крот. Ему нужно выбирать: или бросать ремесло, или, так сказать, просветлять собственную — левый глаз 0,6 — оптику. Иначе — прогрессирующая шизня. Я сам когда-то мечтал быть фотографом, изрядно испортил пленки, кое-что просек в этом виде визуального воровства, но, увы, отказался от дальнейших потуг по простой причине: гроши, бабки, капуста... Однако приступы свирепой ненависти к писательству как таковому все чаще и чаще заставляли меня облизываться на витрину комиссионного магазина, где умопомрачительно сверкали «ролексы», «хасельблады», «никоньки» и «лейки». Цены, как кольца сигарного дыма, состояли из сплошных нулей.

Кун считал «Параллак» слишком социализированным. «В этом вся проблема, — бубнил он, — совласть засасывает, как воронка смерча, мы освобождаемся

временно, когда мы пишем; но, хотим мы или нет, смерч опять завихряет наши мозги. Литература нынче на Руси, увы, лишь способ персонального сопротивления. Поэтому ГБ, щелкая неправовверных бумаго-марателей, абсолютно право».

Так или иначе, я все больше осознавал себя жертвой зрения. Нужно было описать деталь или случай, чтобы от них избавиться. Привычка слишком многое видеть, привычка из глубины заброшенного детства, оборачивалась террором. Кой хрен я должен видеть хроющую палому, жалко бьющую помятым крылом за полсекунды до хромированной, по осевой летящей смерти? Ничего, кроме шелеста колес. Я никогда не мог отвести глаз. Ни от бабы на станции Джанкой, широко расставившей ноги и опорожнявшей себя под прикрытием грязных юбок, ни от жирных пальцев задумчивого узбека — он методично рвал проволоку лезущих волос из ноздрей, складывая на ресторанный скатерть. Я был забит до самой макушки виденным. Оно никуда не исчезало. Но неприглядное застревало обычно с большей силой, обладая ранящей энергией. Бесчисленные закаты, игра красок, горный вечерний лес по-над морем, полнолуние в зимней степи — все это звучало более расплывчато, нажимая на слишком много педалей. Или душа, кою я вечно чувствовал гостьей, по крайней мере отдельно (отдельно) от заболоченной облачной психики, была покрыта амальгамой и прекрасное лишь отражалось, в то время как ужасное — царалась? Не я охотился на удачные и неудачные образы, а они подстерегали меня, набрасывались из-за угла, претендуя на изысканность, и, увы, пользовались уголовным методом — ударом по голове. Одно время я предпочитал глушить себя запоем или спастись ненавистными мне транквилизаторами. Это была эпоха, когда я начал носить с собой пять-шесть розовых таблеток, способных из дергающегося, резкого человека сделать кашу. Без них я не мог выйти на улицу. Одна лишь мысль о том, что я забыл их дома, рождала панику, пот и срывала с места в галоп сердце. Фотография поэтому казалась мне прямой сублимацией, изба-



влением от проблем. Заноза внешнего мира вытаскивалась фотографическими щипцами. Преступление видеть не так, как все, принадлежало не мне, а объективу, фиксация шла на мокрой скользкой бумаге.



Суд шел в бывшем здании царской охраны. Это был спектакль по грубо сколоченному, с торчащими гвоздями, сценарию. Две трети маленькой зальцы занимали статисты в штатском. Старина Кун, и без того похожий на трость с набалдашником лысой головы, осунулся, но держался бодро и улыбался своим в публике. Дело было явно спланировано задолго до ареста, заткнуть глотки говорунам, припугнуть расплодившихся гуттенбергов. Судья клевала носом, заседатели резались в морской бой. Прокурор, сыграв вступление на небольшой эбонитовой флейте, потребовал семь лет за распространение клеветы, за порнографию и нарушение общественного порядка. Защитник отрещивался от защищаемого и, танцуя чечетку, призывал подумать о потенциально осиротевших детях. «У нас здоровое общество,— парировала судья,— оно и займется подрастающим поколением». Свидетель Зимерман от дачи показаний отказался. Ему пригрозили чуть ли не расстрелом. Зим, как все мы его называли, ласково разъяснил вмиг расшвирипевшей публике, что максимум, на что советская власть отважится в эпоху протухшего детанта,— это штраф или полгода принудработ. Зим был переводчиком китайской философии, три года гнил в отказе, процессуальный кодекс выучил, как трамвайный билет. Но народные массы не спали. «У, сионистское отродье,— прошипел кто-то.— В Израиль его! Нахлебника!» Зим поклонился ожившему залу: «Сделайте одолжение, первым же самолетом...» Саша Кулик, которому в отместку за устраивание нелегальных выставок сожгли ступни ипритом, крикнул из последнего ряда: «Вас сажать надо, быдло, а не нас!

Засрали страну вконец...» Его выволокли в коридор. Прокурор потребовал привлечения к ответственности и участников альманаха. «Нужно еще выяснить, кто стоит за спиной отщепенцев и бумагомарателей. Если они действительно достойны называться писателями, почему они не приняты в Союз писателей? Почему народ не знает их? Где их книги?»

Куну вlepили трешник.

Я протиснулся к дверям, когда его выводили. «Прости, старик,— сказал он, улыбаясь,— так уж получилось...» Боже! Праведный Боже! Он извинялся, он сочувствовал, он, уже закрытый солдатскими спинами...



Денек меж тем продолжался. В морозных дымах солнце заваливалось за крыши, снег был синим. У подъезда суда маялась опухшая от слез Наташа Р., приятельница Куна. «Меня в зал даже не пустили,— всхлипывала она,— сказали, мест нет. Я пошла к частнику и зуб вырвала... Здоровый...» Мы отправились куда глаза глядят, вдоль канала, забрели в Новую Голландию. Достоевский квартировал здесь. Век назад. Достоевщина стоит постоем нынче. Мы выпили с ней в рюмочной — три ступеньки вниз — подряд одну за другой пять рюмок «старки». Каждый раз продавщица подсовывала плавленый сырок: «Без закуски не продаем». Народец топтался в лужах растаявшего снега, в меру шумел, говор был северный, свежий для московского уха. «А ты не вылезай,— раздавалось сзади.— Вылез, и ан тебе по яйцам... Что? Лучше других, что ли? Не умничай!..» У закосевшей Натальи комок платка был в крови. «Я пойду,— сказала она,— ты у кого остановился? Хочешь у нас, на Кронверке?...» Я поблагодарил: старина Вилли, тот самый с отстреленным задом, дал мне ключи от квартиры гастролирующей актрисы. Она ушла. «Не выпендривайся,— повторял все тот же голос.— Сиди по-тихому. Лучше все равно не будет. Дай Бог, чтобы хуже не было...» Вот-вот,

думал я, кристаллизовавшаяся формула жизни: лучше не будет. Не рыпайся! Единственное, чего от тебя хотят. Сиди себе тихо и сопи в две дырочки. Тогда тебя никто не тронет. В армии, помнишь, овчарок надрочивали — руку поднимешь загривок почесать, и откормленная тварь уже висит на тебе, впилась в ватный рукав мертвой хваткой... Вся страна одна большая зона; мозги у всех работают по-лагерному... Даже тетка и та учила — не выделяйся, не давай им шанс зацепиться за твою инакость...



Я прошел весь Невский до Лавры, повернул, добрал до Елисея, протиснувшись, купил фляжку коньяку и лимон. Хотелось есть. Куну небось тащат гороховую размазню, два куска черного... На углу проспекта и канала пьяная рожа, обветренная до свекольного цвета, продавала пирожки. Я встал в очередь. «С чем пирожки?» — спросили сзади. «С кошатиной», — ответили спереди. «С капустой, чтоб ей было пусто», — вставил еще кто-то. Налетевший с Невского шальной ветер вдруг вырвал из замерзшей лапы продавца ворох бумажных денег, и они полетели — к чертям собачьим: рыжие, розовенькие, лиловые — в канал... Ахнула, устраиваясь поудобнее вдоль парапета, толпа. «Батюшки! Утопился, что ль, кто?» — охала, продираясь локтями, старушенция. Прыгал, разевая рот, краснорожий дядя, тащили откуда-то лестницу, спускали на лед. «Посторонись!.. Куда прешь?» — «Извините, как пройти на Литейный?» — «Куды?» Зажглись фонари. На четвереньках, мимо вмерзшего в лед распутинского сапога, мимо разломанного ящика, хватать десятку, хватать трешник, еще один, ну! дотянуться бы — полз дядя. Слабенький ветерок гнал и гнал денежный мусор к черной полынье. Я повернулся уходить и, прежде чем увидел, вздрогнул: в длинной, не по нашим временам, шубе, с оренбургским платком, сбившимся на плечи, с красными от ветра глазами ты стояла у порти-

ка сберкассы, и твоя зажигалка гасла и гасла вновь. Я помню, как, по-идиотски ухмыльнувшись, я отпил добрую треть из фляжки, такси остановилось возле тебя, ты, подбирая шубу, устраивалась, таксист, повернувшись, ждал адрес, пластмассовая пробка все соскальзывала с резьбы и не закручивалась. «Европейская», — сказал я, как во сне, усаживаясь рядом. Ты смотрела, не узнавая, улыбка никак не удавалась тебе. И хотя я всем сердцем ненавижу тебя (ложь! ложь! не слушай...), я благодарен (глагол не несет нужной нагрузки), а до сих пор, я всегда... «Здравствуй!» — наконец сказала ты и — узел тяжелых волос, узкие скулы — просияла навстречу с той искренностью, от которой у меня всегда свербило в горле, и мы полетели, заскользили по Невскому, вдоль нашей жизни, и я умолял старину Куна не улыбаться мне больше из призрачной вечерней толпы. Я тут, ты — там. Мы встретимся в Яффе, где на грязном пляже валяются одуревшие от шума крови парочки и узи лежат рядом в песке и бывшие советские зэки, вроде тебя, старина Кун, смеют одну за другой, думая хрен его знает о чем, наискось глядя через море...



Сновали вполне прозрачные официантки, плохо выспавшийся оркестрик рассаживался на сцене: помятые лабухи, кого вы хоронили в полдень после вчерашней свадьбы? Ты помнишь, о чем мы говорили? Я — нет. То есть да — ты приехала с группой зевак, переводчицей, переводчицей моего терпения, в Питере, согласен, безумно красиво зимой. «Суматохин отличный парень, я думал, что вы...» — «А, нет — он предпочитает мальчиков...» — «Здорово же ты пьешь, совсем по-русски». Харчо было огненным, водка ледяной, я любил тебя всегда. Глагол, который я никогда не употреблял. Аппендиксом, макушкой, армией мурашек, надпочечниками, резус-фактором со знаком минус, всеми молекулами ДНК, кожей, слизистой оболочкой, всем моим прош-

лым, в тебя запрятанным будущим. Ты проделала во времени дыру. Мне не хватало ни цинизма, ни сентиментальности, чтобы определить свои чувства. Меня подключили к мощному усилителю и вывернули ручки громкости до хромированного хруста. Я плавал в лаве неправдоподобной ревности, я, не имеющий права на миллиметр твоей территории. Я всаживал пулю за пулей в разнокалиберных мерзавцев, суетившихся за твоей спиной. Они мяли твои плечи, впивались в твою шею, тискали своими волосатыми щупальцами твою грудь. «Па-а-ад жгучим солнцем Аргентины», — микрофон следовало бы заткнуть директору ресторана в зад, давно мог бы купить новый... На какой-то момент на меня навалилась жуткая, тонн в двадцать, тоска. Что я Гекубе? Серо-голубые глаза, ямочки на щеках, мягкие, чуть раздвинутые губы, крепкая шея, вырез платья, в который срываешься без всяких надежд на спасение, этот чудный акцент и взмывающие интонации — при чем здесь я? Был курьезный эпизод, ты помнишь? Здоровенный убийца, первый в веренице последовавших, задирает меня на драку. Официантка подмигивала. Я по-идиотски улыбался... Ты морщила лоб. Мы пошли с ним на кухню, но повар с огромным тесаком загородил нам путь. До меня стало доходить, что это ГБ, что ты же иностранка, что мы говорим пятьдесят на пятьдесят на франко-рюс-английском. «Слушай, кореш, — наконец сообразил я, — я не по вашему департаменту, я за Москвою числюсь...» Узел развязался мгновенно. Гора мышц пригласила меня выпить. Я изобразил легкую тошноту. Мы вернулись в зал. То, что было под соседним столиком, выглядело теперь как банальный портфель с деревянным магнитофоном. Официантка подмигивала не зря. «В чем дело?» — спросила ты. «Говори по-английски, — попросил я. — Они приняли меня за валютчика». — «Я не поняла, что они собираются тебя бить, — сказала ты. — Почему ты мне ничего не сказал? Я умею драться!» Золотце мое, никакому международному обмену не подлежащее! Ты собиралась драться на моей стороне против этих командос? Ах, я не знал, мы бы общипа-

ли их, как курят! Я бы одолжил у повара тесак. Нам бы дали одну камеру на двоих до конца жизни, и все проблемы сразу бы устроились. Как мне сказать тебе, что... «А ты не бойся,— сказала ты,— я, знаешь, люблю смелых мальчиков...»



В такси, целуя твою горячую шею — «Ну вот, началось», — смеялась ты, — я больше всего боялся, что у меня с тобой ничего не выйдет. Кретин, уговаривал я сам себя, не думай об этом, думай о других органах, об органах безопасности... Черная «волга» висела у нас на хвосте, таксист нервничал, ядовитые чернила рекламы — ГОССТРАХ — текли на черный снежок. Аббревиатура страховки выглядела формулой жизни. «Шеф, — попросил я, — нельзя ли нам оторваться?» Вместо ответа он тормознул, и черная «волга» остановилась рядом. Он выскочил и уж, ей-Богу, совсем истерично гаркнул: «Тут, товарищи, у меня, беглецы, понимаете... Нельзя ли, говорят, оторваться...» Старый хрен, в предкремационном уже периоде, а еще дергался. Госстрах его заел. «Езжайте», — был ответ из машины. И все дела. «Скотина ты, шеф, — поблагодарил я его, — останови у булочной, лбом надо в церкви об пол стучать, а не товарищам...» В Питере есть отличные глухие проходняшки. Я проволока тебя через туннель высококачественной тьмы, затянул в обшарпанный подъезд — три тени, одна за другой, промелькнули за грязными стеклами. Мы пережидали, прижавшись к раскаленной батарее. Я распахнул твою шубу, я отрывал пуговицы своей. Я обнимал тебя и стучал зубами. Ты была вся сплошной ожог. Мои страхи рассеивались, я звенел, как натянутая струна. Хлопнула дверь машины. Взвыл кот. Мы выскользнули из подъезда и, задевая крыльями стеклянные кусты, пролетели дворик, завернули за угол, миновали тлеющую помойку и, наконец, впорхнули в кислый парадник. «Пятый этаж налево», — бубнил я. «Не зажигай

свет»,— посоветовала ты. Я боролся с дверью, стараясь понять, на сколько оборотов закрыт замок. Она лязгнула, жалкая питерская дверь, и защелкнула нас навеки.



Помнишь эту бездомной луной освещенную квартиру? Крест окна лежал на полу. Ты нашла подсвечник, щелкнула зажигалкой. Мы наспех обследовали двухкомнатный сезам. Актриска жила хорошо. «Шик... — сказала ты,— мне бы так в Париже...» Ты исчезла в ванной, вернулась с выстиранными колготками, ловко накрутила их на батарею. «Можешь помочь?» — спросила ты, подставляя согнутую шею. Я отцепил застежку молнии от цепочки. «Тебе не холодно?» — платье твое полетело в угол. Мы протанцевали к еще не раскупоренной постели. Простыни гремели, как жесь. «Это все, что у тебя есть?» — немного преждевременно пошутила ты. Но ни слова больше о той ночи, ни слова. Je reserve ça pour moi-même<sup>1</sup>.



Меня разбудил стук в дверь. Было темно. К испуганным часам прилипло полвосьмого. Мы заснули лишь час назад. Я накинул твою шубу, подошел к двери. «Кто там?» — «Из ЖЭКа,— был ответ,— маляры, открывай...» Я до сих пор благодарен комитету госбезопасности, что большую часть ночи нас не беспокоили. Но какая липа! Маляры! Красить двери! На рассвете... В дверь ухнуло плечо. Еще раз. Видимо, все те же мордovorоты с новыми инструкциями. Я вернулся в спальню. Ты сидела, шурясь, завернутая в одеяло. Я снял со стены изрядно ржавое мачете, судя по всему подаренное актрисе кубинскими поклонниками;

<sup>1</sup> Я оставляю это для себя самого (франц.).

рукоять была обмотана кожей, вернулся к трещавшей двери. «Открывай!» — рычали маляры. «А пошли вы на...» — отвечивал я в унисон. И тут вмешался женский голос. С хорошо темперированной стержозностью, сразу карабкаясь на верхнюю октаву: «Ах, б-а-а-а-ндиты! Эта что ж творится! Да я сейчас милицию вызову...» Милейшая ведьма соседка спасла нас: звякнуло ведро, мокро шлепнула кисть, провела полосу, запахло олифой. И то дело, пусть подправят дверь Мельпомены... Я прихватил мачете в постель. Мы проспали до полудня.



Зимой в Летнем саду голорукие богини и бугристые герои закрыты ящиками. Молоденький офицер шептал что-то на ухо румяной десятикласснице. Пара длиннолягих девчушек с перекинутыми через плечо «фигурками» хихикала, оглядываясь на нас. Мы стояли под деревом, все еще занятые соединением различных частей тела. Как много крови сразу бежит в этих пограничных областях! Как меняется дневной свет, когда вынырываешь из обморока горячего на морозе поцелуя... Как значительны эти мелкие чепуховины, участвующие в скольжении руки: пуговицы, бретельки, складки белья... Мои ноги дрожали, да и ты ослабла: мы долили себя до дневной нормы в какой-то крошечной забегаловке. Лето было жаркое той зимой. Домик Петра Первого был распахнут для просушки. Детские велосипедные звоночки были развешаны в потном воздухе. Старый онанист загоразивался партийной газетой от заголившейся ноги сдобной девки. То бишь наоборот: подсматривал маленьким глазом из-за передовицы: «Прогрессивное значение обратной стороны Луны в деле освобождения народов Африки». У тебя потрескались губы; я объелся твоей помады; тело давно уже не имело веса — ни личного, ни общественно-го,— лишь зудело и горело всей кожей да жаловалось,



что ее мало, чтобы залепить тебя со всех сторон. Жирная листва кипела. Толпа цветастых цыганок налетела на нас. Одна из ведьм, с маленьким сухоньким личиком, уже уволокивала тебя в сторону, три других — золотой блеск колец, серебряных монист, взлетающие рукава — гарпии! — накинулись на меня, жертву разделенной любви... «Молодой красивый, позолоти ручку, всю правду, ах, скажу», — пела умненькая красотка, сверкала глазищами, давила меня грудями, вдавливала в своих товарок... О, я боялся лишь одного: сглаза. Разозлишь смуглянку, шепнет она сухонькими губками заветное словцо, и нечем будет укреплять дружбу между народами. Я опустил руку в карман. Там хрустело. «Дай красненьку, — пела цыганка, — красненькая у тебя не здесь...» И правда, красненькая была у меня в нагрудном кармане. Я вынул ее и показал. «Не жалея говна, — схватила она меня за руку, — твою тайну открою...» Народ останавливался возле нас, советовал вызвать роту красноармейцев, цитировал уголовный кодекс; крутанулся, да не тут-то было: одна из бестий дергала меня за волосы, другая прицеливалась к браслету моих часов, а третья, цепляясь, щурила глаз: «Нэ веришь? Молоком детей моих клянусь! Такую правду скажу!» — и, к моему потрясению, из прорези блузки она вытащила маленькую сморщенную грудь и, сдавив ее, брызнула мне в лицо. Я обалдело оттирался рукавом, десятка моя исчезла в складках ее юбок. «Не бойся, — теперь уже улыбалась она, — правда твоя не трудная: любиться будешь...» И с гортанными криками, взмывами они свалили. Ты помнишь? Я подошел к тебе, ты отделалась трешником да пустой, загнипнотизировавшей их пачкой «Житан». «Знаешь, — сказал я, — мое будущее?» Народ все еще не расходился. Ты смотрела на меня, как это часто бывало с тобою, вне всякого контекста, не отсюда, размыто и в то же время пристально. «Карменка сказала, что мы опять будем...» Мы хохотали, обнявшись, мы куда-то шли, мухи делали дыры в воздухе осуществленного социализма, на скамейке сидела банда подпольных поэтов. «Элиот здесь

бы не выжил»,— сказал Кривулин; «А Оден<sup>1</sup> и того подавно, загнулся бы»,— добавил Охапкин. «Нам нужно ставить памятники, хотя бы потому, что мы не спились»,— закончил Кузьминский. Блеснула Нева. Катер отчаливал на Острова. Молоденький матросик придерживал канат, мы прыгнули, речной ветер ударил в лицо... У меня есть фотография на обложку: ты сидишь на корме в белом пиджачке с Bloshinoго рынка, летит красный платочек, летят твои волосы — откинув голову, ты пьешь теплую водку из горлышка, забыв про протокол... На снимке отлично вышла всегда студеная нельская волна и Петропавловка с золотым шпилем; небо было чистое в тот день.



Если я о чем и жалею нынче, если меня и тянет вспять, то лишь в подмосковный дачный полдень да на Острова. За сущую чепуху я нанял неуклюжую плоскодонку, всхлипнула вода, весло ударило и разбило желток солнца, пустило золотую рябь, ты легла, опустив руки за борт, обдав сыростью, наехал мост, ноги твои заголились, сетка горячей светотени закрыла нас. Как я ни искал безлюдной отмели или папоротниковых джунглей, все было бесполезно: народец распивал пиво и распевал песни; убегали с хохотом от преследователей розовоплечие наяды, пускал слезу и стучал костылем, глядя на них, застиранный до белесости инвалид. Благословен мирный полдень и отсутствие лозунгов на Островах, благословен жужжащий моторчик шмеля, не осведомленная в валютных тонкостях лягушка, ржавый бок старого баркаса. Мы пришвартовались к нему, часики твои совсем немилосердно вдавились в мою шею. Ах, ты всегда была щедра, с тобою не нужно было терять голову, с тобою наступало имеющее глубокий смысл безмыслие. Дура чайка что-то прокричала над нами. Она не сглазила меня, хитрая смуглянка.

<sup>1</sup> Оден, Уистен Хью (1907—1973) — английский поэт.



Мы обедали на Невском. «Ну что ты все ешь меня глазами? — улыбалась Лидия. — Обьешься — тошнить будет...» За окном валил, все закрашивая, снег. До августа, до солнечных Островов, было далеко. Небритый официант кемарил в углу. Таракан сидел на зеркале. Спички отсырели и ломались. «Иди первый, — попросила она, — будь хорошим мальчиком...»

Сучья жизнь! Кариатиды дворца плавилась у меня в глазах, несущийся вскачь троллейбус размыло до цветного пятна... Я свернул на канал. «Аты-баты, шли солдаты, аты-баты, на базар...» Взвод матросиков шлепал в баню. Кирза месила снег. «Может быть... — сказала она ночью, — не знаю, может быть, приеду...» Разве мало в Москве красивых девочек? В Париже веселых мужичков?.. Такси тащилось навстречу. Я сделал пальцами V. Моя победа, в переводе на советский, означала, что плачу я вдвое. Такси, подняв волну грязи, тормознуло. «Куда едем?» — высунулся дядя. «В Париж, — сказал я, садясь, — отвези меня, шеф, в Париж». Он опустил голову, вычисляя, шучу ли я. «Ресторан, что ли, новый?» — наконец повернулся он. «Кол тебе по географии, — сказал я. — Давай на Московский вокзал...» — «Все вы такие, — крутанул он баранку, — москали. Все, черти, шутите!..»



Пять дней в феврале. Три в марте. Еще три в конце марта. Неделя на Пасху. Такси, самолеты, переезды, интуристовские отели, бары для иностранцев. И везде одно и то же: кое-как сброшенная на пол одежда, развороченные внутренности чемодана — где-то у меня была здесь фляжечка — и обморок за обмороком, все дальше задвигаясь, все глубже проваливаясь, взрываясь всегда вместе, истончая внешний мир уже до какой-то немислимой бледности, до зыби. И всегда, раньше или позже, стук в дверь: мадам переводчицу

требуют по срочному делу... Кретины! Единственно срочным делом было для мадам переводчицы мычать да кусать подушку!.. Она, пошатываясь, одевалась, недовольно морщась, разглядывала себя в зеркале, отпивала из бутылочки изрядный глоток «кинзмараули». «Спи,— говорила ты,— я сейчас вернусь. Если кто постучит, не отвечай...» И она запирала меня на третьем этаже гостиницы «Националь», на шестом «России», на одиннадцатом «Интуриста», и я слышал, как ее усталый голос преображался, приветливо выпрашивал, какое, к чертям собачьим, случилось мероприятие, оно же — происшествие. Конечно, чаще всего это были проделки поэтажных надзирательниц, хитрющих ведьм все из той же уныло-могущественной организации. Лидия привозила целые корзины мелких даров — задабривать прожорливую систему. В дело шли чулки, авторучки, сигареты, заколки, пудра, одеколон, зажигалки. Швейцары, официантки, этажные, уборщицы, таксисты — все получали свой вещевой паек. Временно нас оставляли в покое. Потом объявлялась вторая смена, или у этажной случалась беда: крали скляночку французского лака для ногтей и она сидела зареванная, или, что происходило регулярно, шла обычная двойная игра: принимались дары, но все же сообщалось в дежурку, что у нее в номере торчит неизвестная личность. Однажды в Киеве поворот ключа разомкнул створки моей дремоты, и я, идиот, улыбнулся открывшейся двери — в номер вошли и усталились на меня двое местного засола, коренастых и чернявых, сотрудников. Они кисло рассматривали меня, я был крайне мало одет — сапоги, вот и все, что уцелело на мне, когда нас настигла гроза нашей тра-та-та (придумай другое слово). Мне было так далеко до мира этих тупорылых, я был так глубоко перепахан любовью, что единственное, что я сделал, и спасло меня: я взял со стола пачку сигарет, закурил и бросил им. Они улыбнулись, и их размыло. Советский человек не мог бы отреагировать с таким равнодушием к ситуации — тревога, страх, простое смущение выдали бы его. И не то чтобы я обнаглел в итоге, нет, просто с тобой во мне

открывалось что-то мне самому неизвестное, я начинал действовать по-другому, вернее, я просто-напросто начинал действовать... В другой раз, в столице, раздраженный постоянным приставанием разнокалиберных стукачей, я отправился к этажной и, показав ей свое фуфловое журналистское удостоверение обратной вполне гэбэшного цвета стороной, спросил какую-то чепуху: номер телефона шереметьевского аэропорта, дату рождения Мао Цзэдуна, длину экватора в дюймах... Нас немедленно оставили в покое. Но если не нужно было ехать, лететь, тащиться с группой зевак по расколдованным аттракционными местам Союза, мы запирались в замоскворецкой квартире, и в часах кончался завод. Я обнаружил время внутри времени; природа его была неподвластна грубому математическому учету, зато реагировала на такие мелочи, как смех, отсутствие сигарет или телефонный звонок.



Май был полон тяжелых стремительных гроз. Роскошные брюхастые тучи, криво застегнутые на лиловые трескучие молнии, надвигались со всех сторон. Темнело. Заходилась плачем здоровенный пупс, забытый в коляске под топодем. Хлопали окна. Замирало. Рушилось. А через десять минут солнце уже горело на новеньких глянцевых листьях отцветшей сирени, от земли шел пар, пар шел от тарелок борща на столе. Воробьи аккомпанировали Чико Буарке — крутился тобою привезенный кассетник. Ты сидела с ногами в кресле, курила, глядела исподлобья. «Что мне нравится в тебе,— говорила ты,— так это то, что ты богат и имеешь солидный пост. За это я прощаю тебе и седую голову, и фальшивые зубы. Налей тете водочки...» — «Хочешь,— спрашивал я, доставая из холодильника чудом добытую банку,— апельсинового сока?» — «Разве я больна?» — удивлялась ты.

Шелк, употребляемый для известных сравнений, давно протерт до дыр. Твоя кожа была нежнее шелка.

Но самое удивительное, драгоценное в тебе, было ощущение благодатной тяжести, тяжести, долго имевшей для меня неуловимый смысл. Я конфисковал в городе Париже, в одной захлавленной несчастьем квартирке, твою безнадежно юную фотографию: полосатый купальник, Лазурный берег, обломок кариозной скалы. У тебя взгляд пытливой девочки, ты ворожишь, заглядывая в объектив, но ты уже тяжела. Слово это не имеет ничего общего с весом. Просто тебя нужно делить на два. Но что действительно сводило меня с ума — перепад температур (звучит, как учебник белоробых эскулапов) различных частей твоего тела. Приступ малярии, хихикающий из надвигающейся тьмы последней главы, безнадежно пародирует горячие и холодные окаты, сквозь которые двигались те дни. Даже сейчас, под анестезией моей горячей к тебе нелюбви, по заправку моему хлещет озноб.

Слишком много плоти. Слишком много лежания вместе. Слишком много этих ленивых до поры до времени касаний. Слишком много глядения в глаза. Всего было слишком много: глупых слов, неизбежной в нашем с тобой случае водки, которая не действовала до последнего прощания, до проклятого КПП Шереметьева, до мостика, по которому ты шла, улыбаясь, в другой мир, к белобрысым затылкам солдатиков паспортного контроля.

Ты была щедра. Ты была умна сердцем. Ты была терпелива. Через тебя хлестал в мою жизнь неизвестный мне мир. Со мною, по крайней мере я так думал, ты получала свою Россию. Ты была моим первым свободным человеком. Без метафизических потуг. С тобой я начал меняться: поползла кожа, затрещали суставы, я начал вставать с четверенек. Я набирал силу день за днем. Передовое общество все еще кололось, но уже не кусалось. Казалось, еще момент — и лопнут к чертям последние перегородки, затрещит фанерный мир, проступит неподдельная реальность... Ты рожала меня, а я забывал о твоих муках, я дергался, ожидая света. Я не подозревал, что ты сама на исходе.



Скорость наших отношений вырывала нас из реальности. Три дня за два месяца? Два месяца за три дня! О, ты научила меня многому: быть позитивным в кислнейших ситуациях; тому, что лишь сильный может позволить себе быть слабым... Ты пыталась пробудить меня от мечтаний, ты распахивала окно. «Сирень»,— говорил я. «А дальше?» — спрашивала ты. «Облако»,— отвечал я. «Еще? еще!» — «Самолет... тащит нитку воздушной пряжи...» — «О-о-о,— вздыхала ты,— а где скамейка? Где лужа, гараж, помойка, белье на веревках?» — «Любовь»,— говорил я. «Гра-та-та,— хмурилась ты.— Осторожно,— просила,— мальчик мой, умоляю тебя, осторожно...»



Я полюбил аэродромы: особенно провинциальные караван-сарай с увядшими ромашками в зале для иностранцев; с табором страдальцев, ожидающих вестей с неба, в общем зале. Я освоил приемы общения с различного сорта буддами, восседающими за стеклом одинаково мрачных касс. Я больше не обращал внимания на то, что билетов не было. Их не было с семнадцатого года. Я выучил имена больших заоблачных начальников и лишь мимоходом интересовался их здоровьем (в Симферополе) или семейной ситуацией (в Киеве). Билет при этом я брал неохотно, почти с сожалением. Оказалось, что, если сосредоточиться и психологически не выходить из роли, проблемы этой из проблем состоящей страны — исчезали. Нужно было лишь, чтобы маленькие начальники верили в твою принадлежность к большим. А для этого существовала своя сигнализация, язык полуприказов, полугроз. Я обнаглел до того, что несколько раз проходил без всякого билета, затесавшись в твою группу. Стюардесса считала своих баранов. «Who's afraid of

Virginia Wolf?»<sup>1</sup> — шептал я ей на ухо, но она не отвечала и лишь милейшим образом улыбалась. В счете выходил перебой, старушка из Гренобля оказывалась лишней, арифметика начиналась сначала, но в это время я уже скрывался за спиной последнего кресла, и дважды два опять выходило четыре. С пачкой паспортов ты пробиралась к последнему ряду, и тогда, словно я был у тебя в сумке, на соседнем кресле прорастал и я. Билетов не было, но самолеты летали полупустыми. Так мы перебирались из Риги в Сочи, из отвратительного Минска в отвратительный Воджесгорск. Как хорошо, что ты никогда не носила джинсы... Мы курили втихаря заранее свернутую травку, была ночь; одеяло сползло на пол; я был преступно спокоен.



Ты не могла прилетать как частный турист. Слишком дорого и слишком ясно для сов, что ты частишь неспроста. Но и переводчицей часто не выходило. Все было — «может быть». Все было под вопросом. И все держалось на тебе.

Как всегда, в делах «Интуриста» был полный бордель. Мы никогда не знали точно, прибывает ли самолет вовремя, не переменят ли гостиницу или программу. Я ждал тебя в Питере, напротив Исаакия: час, два, три... Входили в гостиницу японцы, привозили вдребезень пьяных финнов, наваливались когортой немцы, лишь французы куда-то пропали. Я звонил в Москву — так и есть — вас посадили в столице. На одну-единственную ночь я перелетал к тебе; мы встречались в два часа ночи посередине клумбы (пятиконечная звезда, георгины) в Зарядье. На тебе была разлетающаяся накидка, лихо на глаза надвинутая шляпа. Куда мы шли? Город был мертв, пуст, вымыт. Мы шли в бар для иностранцев, в гнусный привилегированный

---

<sup>1</sup> «Не боюсь Вирджинии Вулф» — название пьесы известного американского драматурга Эдварда Олби.



подвальчик, где здоровенные ряхи играли что-то а-ля рюс. Пятьдесят на пятьдесят: на одного иноподданного один стукач. Спать идти не имело смысла: утром по программе твоей группы мы улетали в Питер.

Не все мне сходило с рук. Особенно в Шереметьево. Как-то с грузинскими цветочками, задержанной мордой я ждал тебя в толпе дипломатов, работников фирм и мидовцев. Народ все шел, а тебя все не было. Но в тот момент, когда я тебя увидел, двое солдатиков пригласили меня на тур вальса. Раз-два-три, раз-два-три, раз... Ты проходила таможенный досмотр, меня тащили под руки в закуток возле сортира: намозолил я глаза начальству дыры в железном занавесе. Я не качал права и не жалобился, я давно заметил высокие хромовые сапоги под кремовой шторой второго этажа. Самого капитана не было видно, лишь эти неподвижные сапоги. Он был прав — какого хрена я торчу на границе двух миров? Я безмятежно перевел тебя в категорию близких родственников, что было неподдельной правдой. Удостоверение прессы и тут меня выручило... В Союзе так мало вишневых с золотом удостоверений... Ты все еще была за цепочкой охраны, когда меня выпустили. Я никогда не мог обнять тебя в этом зверинце, мы лишь улыбались издалека друг другу.



Я бы повесил мемориальную доску в буфетике этого заведения: столько прощаний, столько удушенных на полпути слов. Под китчевыми советскими Зодиаками — Водолей крутит колесо гидроэлектростанции, Близнецы обмениваются классовым опытом, Козерог сдает рога на пуговицы, Стрелец целится дяде Сэму в глаз — за мокрыми столиками мы пили жидкий кофе, я заплетал косички твоей шали, таксисты набирали попутчиков в Москву, объявляли рейс на Токио, мальчишки и девочки, обладатели счастливых свободных паспортов, тащили свои сумки. «Береги себя,— говорила ты,— не оставайся один, прошу тебя, хочешь, я при-

шла тебе какую-нибудь японочку?» Я хмыкал, я давно уже не мог вернуться к скучному слипанию с остальной частью женского населения планеты. После тебя это было издевкой... «Ну, мне пора», — говорила ты, твое стадо уже маялось на выходе, поглядывая на нас. Я трогал твою руку, ты улыбалась, я отворачивался. Потом я стоял внизу у стеклянных дверей и ждал, пока ты мелькнешь на лестнице — две-три секунды перед тем, как выскользнуть в иной мир. Ты появлялась — знакомая до бреда, до бреда уже нереальная, — я получал четверть улыбки, поворачивался и шел на улицу. Рейсовый автобус бил копытом на стоянке. Я сажился, меня трясло, и, прижавшись, вдавившись в грязное стекло окна, я отдавался процессу влаговыделения, старательно приглушая всхлипы.

Я был лишен хоть какой-нибудь возможности выбора. Я мог лишь ждать, сидеть душой Пенелопой и надеяться, что тебе не закроют визу, что у тебя достанет сил тянуть эту историю, что меня не загребут за нежелательные контакты, которых теперь становилось все больше и больше. Сесть на этот раз означало совсем другое — навсегда потерять тебя. Я был невыездным, о'кей... Но посадка теперь имела для меня новую цену. Меж тем я как раз делал все возможное, чтобы отправиться глазеть на северное сияние. Причина была одна — деньги.



Нужно было как-то покрывать эти невыносимые расходы: перелеты, такси, рестораны, взятки. Я решил поговорить с Роджером. Мы встретились на крыше «Нерензея». Дети гоняли в салки, старушки сплетничали за вязкой, Москва, крупно нарезанная проспектами, лежала внизу; купола церквей сверкали в лучах заходящего солнца. Я встал так, чтобы видеть входную дверь на крышу — после нас никто не вошел, мы могли говорить. Но Роджер сразу же отказался от моего

предложения. «Я могу помочь вывезти твои рукописи, твои собственные вещи, если тебе нужно, но не антиквар. У меня и так хреновые дела с вашими бондами. Кажется, они меня наметили на роль очередной жертвы и собираются выслать, если Вашингтон вышлет завалившегося на техническом шпионаже очередного Иванова... Короче, они меня держат на мушке. У меня же слишком много нежелательных контактов. Но, черт побери, давай я тебе дам денег? Не стесняйся. Отдашь, когда сможешь. Я буду рад тебе помочь. Подумай...»

Роджер отпал. Лидия меня познакомила с несколькими французскими бизнесменами, но у них не было никакого прикрытия, а я не мог, однажды решившись и рассчитав все ходы, провалиться в самом важном звене. В моем списке на последнем месте стоял красавчик Рафаэль. Он исчез из поля моего зрения. К моему удивлению, он согласился с полуслова.



Я почти не видел Тоню, не видел Осю и Саню. Я больше не писал, не читал, не участвовал в чердачных хэпенингах, не шлялся на нелегальные выставки. Мне все было неинтересно. Никита вывел меня на семью харьковских отъезжантов. Я должен был обеспечить отpravку за бугор их сокровищ. Среди колечек, золотых цепочек, довольно крупных камушков, подстаканников, брошек с изумрудами и чьих-то автографов там была отличная, не позже пятнадцатого века «Троица», два зимних пейзажа, довольно грубо намалеванных поверх старой грунтовки, великолепное пасхальное яйцо и рисунок пером Дюрера. За переправку я должен был получить изрядную сумму наличными, а Рафаэль роскошную доску с более поздним окладом (золото, эмаль, проба на месте). Аукционная цена иконы, предполагаемо, была около пяти тысяч долларов. По крайней мере в каталоге аукциона Кристи более бледная

икона схожего сюжета была оценена в две тысячи фунтов. Рафаэль не рисковал ничем. Харьковская семья — деньгами. Я — посадкой. В начале августа, за неделю до твоего приезда, я получил аванс и тяжеленный чемодан эпохи первых рок-н-роллов. Меня ласково предупредили, что в случае неудачных телодвижений и ошибок с моей стороны будут приняты соответствующие меры. Все шло через Никиту: я не знал ни одного имени, не видел ни одного лица. В то же время меня показали хозяевам...

Я выбрал бойкую вечернюю стоянку такси в центре города. Два первых поворота были без светофора, а дальше начинались сказочные проходные дворы, кривые переулки, сразу за ними — прямая, обычно пустая в этом месте набережная. Был душный вечер, все поыхало у меня в глазах. То, что меня пасли последние полгода, было ясно как Божий день. Не плотно, время от времени. Стоило меня лишь захватить с этим синдбадовским сундуком — так, проверки ради, — и здравствуй, грусть!.. У меня было огромное искушение избавиться от него: передать хромающему мимо инвалиду всех войн, просто оставить на стоянке, оттаранить в ближайший околоток, раскрыть и предлагать публике по копеечным ценам... Врежь мне кто по кумполу в тот момент, я бы выпустил из рук свинцовый чемодан и вырубился бы надолго и с облегчением. Но народ в очереди попался мирный, вечерний. Обсуждались проблемы зимних сапог («Завезли в Дом обуви, очередь на километр...») и перемены климата («В наше-то время лето было летом, а уж зима — зимой. Нынче же...»). Подошла моя очередь. Я пропустил парочку старушек, они залепетали что-то про невиданную вежливость. В отдалении показался «БМВ» Рафаэля. Я оглядел площадь — все было тихо, скользил вдаль одинокий велосипед, дежурных наружек<sup>1</sup> не было в помине. «БМВ» приближался, я сделал шаг, выходя из очереди, моментально почувствовав на себе взгляды созна-

---

<sup>1</sup> Машины службы наружного контроля.

тельных граждан. Задняя дверь была приоткрыта, он придерживал ее рукой. Было странное понимание между мной и людьми на стоянке: все прекрасно знали, что происходит недолжное, что вся загвоздка в отсутствии милиционера или дяди в штатском. Я был уверен, что кто-то уже пережевывал губами номер иностранной машины... Ах, нехорошее это дело садиться в такую машину с чемоданом в руке... По лбу у меня катился пот, в машине пахло духами. Рафаэль улыбался. Мы нырнули в проулок, выскочили на набережную — был лиловый мирный вечер, — и тут чертиком выскочивший из-под земли постовой в белых перчатках остановил нас: еще крутилось колесо опрокинутого велосипеда, шел, расстегивая на ходу шлем, понурый мотоциклист и лежал, дергаясь на проезжей части, худой пацан в динамовской футболке. Милиционер указал нам объезд, и, уже на повороте к Кремлю, навстречу нам выскочила и наддала, захлебываясь плачем, «скорая помощь».



Не знаю, чем он мне не приглянулся сначала, — он был отличный малый, Рафаэль. Он переводил Бодлера, отлично разбирался в живописи, был неподдельно внимателен, его пластинки были подобраны по высшему классу, его юмор ничего общего не имел с обычным хохмливый выпендриванием аморального меньшинства. Служанки не было, но ужин был в духовке. Не помню, что мы ели и пили, лишь всплывает изряднейшая полночь да Крейцера соната с Иегуди Менухиным. «Оставайся ночевать, — сказал он. — Мне легче тебя вывезти утром; да и тебя сейчас ничего не стоит зацапать: хотя и не с чем — вид у тебя дурной». Он отвел меня в комнату для гостей, и я почти сразу, все еще с коньяком в руке, кое-как раздевшись, заснул. Проснулся я как от толчка. Комната была черна, лишь стрекотали часы, кто-то гладил меня по спине. Я не повернулся, я лежал с открытыми глазами, в конце концов, это даже

было приятно; я лишь должен был побороть протест внутри себя. И лишь через какую-то паузу кто-то тихий внутри меня сказал: «I'm tired, man... I'm deadly tired...»<sup>1</sup>



Я был богат в тот раз. Я купил у Никитки старые русские кораллы для тебя — пять тяжелых низок с серебром. Ты была в Ялте. Мест в интуристовской гостинице, естественно, не было. Никита дал мне адрес капитана ГБ. «Алкаш,— сказал он,— в трезвом виде невыносим. Все устроит». Я добрался из Симферополя до Ялты на самосвале. В гостинице никто не шевельнулся узнать, кто я такой. Я спросил по-английски номер твоей комнаты. Дверь была не заперта. Ты спала, разметавшись среди сбитых простынь. Я сел на балконе. Внизу было море, бетонными стенами огороженный пляж. Пахло гниющими водорослями, чесноком, кремом для загара. Ты проснулась со стоном, завернувшись в простыню, вышла на балкон; лицо твое было покрыто потом. «Мне приснился кошмар,— сказала ты, закуривая,— словно я иду по Сен-Жермен сквозь демонстрацию и пули попадают в меня и вязнут во мне... Мы приехали поздно вчера, и, только заснули, нас разбудил шум: какой-то югослав выбросился с последнего этажа... Рабочий, строил этот отель. Наверху у них что-то вроде клуба...»



Капитан оказался маленьким облысевшим человеком. Насколько я понял, он завалился на чем-то в Сомали. Теперь он тихо спивался — отпаивался, поправил он — в своей запущенной квартирке рядом с Ливадийским дворцом. Он дал мне ключ, но мы провели там

---

<sup>1</sup> Я устал... Я смертельно устал... (англ.)

лишь несколько часов. Невозможно было жаркой ночью сжимать друг друга в объятиях, чувствуя за фанерной перегородкой лежащее на раскладушке одно большое, огненное, заросшее волосами ухо. Я перebrался в твой номер, очередная этажная надзирательница получила скляночку духов, и все затихло. Лишь накатывалось море да развозил по нему бодрые песни прогулочный пароходик. На интуристовском пляже поджаривались восточные немцы, в баре было навалом выпивки, сморщенная ведьма в закутке, огороженном сеткой, выдавала деревянные лежаки. Рядом, в пятидесяти метрах, был пляж аборигенов — серая пустыня крупной гальки. Я лил тебе на спину масло, растирал. Было тихо, спокойно, твои волосы быстро выгорали. Перед самым отъездом мы отправились в горы на левой машине: виток за витком среди перегретых сухих сосен. Там, над Ялтой, мы сидели над озером на прохладной террасе ресторана, улыбчивые официанты открывали «саперави», тащили перепелок, горячий, только что выпеченный хлеб. «Сюда,— отвечал я на твое удивление,— могут добраться только местные нувориши, начальство или иностранцы. Оттого-то обслуга и не стервозна». — «Все-то ты видишь в черном свете,— вдруг сказала ты.— Почему бы тебе просто не думать о людях лучше?» Я поперхнулся. Я откровенно ненавижу Ялту, заповедник советского истэблишмента, иностранных туристов, гостей Кремля,— жирное, гноящееся, продажное место. «Ненавидеть легче всего»,— сказала ты. Что-то новое было в твоих глазах. Что-то сквозило за твоими словами. Я протянул руку поправить твою челку. «Оставь!» — сказала ты резко. Ялтинская тишина оборачивалась затишьем.



Еще в первый раз (во второй, когда ты приехала уже ко мне) ты привезла и оставила на столе туго набитую сумку. «Что это?» — спросил я. «Детишкам на пряники,— ответила ты.— Чепуха с Блошиного рынка. Про-

дашь, будут деньги меня угощать...» Я отдал сумку Понту. Там были джинсы, рубашки, духи, зажигалки, еще что-то. Перед самым твоим отъездом ты попросила достать икры — в открытой продаже ее практически не было. Мы обегали несколько веселых буфетов и в итоге купили за двойную цену у официанта в «Пеште». За два килограмма мы выкладывали (с помощью Понта) всего лишь потрепанные «лейвисы». Ты старалась взять с собой как можно больше: четыре, шесть килограмм — икра окупала все твои поездки. Времена еще были терпимые, таможенники заигрывали с тобой, пока ты пропихивала сумки на выход. Конечно, случалось, что и отбирали. С твоими знакомыми я отправлял в Париж что мог: шелковые русские шали, кубинские сигары, янтарь, бухарское серебро. Рафаэль отослал с одним из своих мальчиков немного старья: складень XVIII века — перегородчатая эмаль, несколько сухих, с помощью Никиты надыбанных досок. Складень, писала ты, оказался подделкой, иконы — отличным письмом, может быть, даже конца семнадцатого века. Но на их реставрацию нужны были деньги. «Дядя мой,— писала ты,— предпочитает «Ромео-и-Джульетта» или «Хосе Женевьев». Пришли ему что-нибудь ко дню рождения...» Это означало, что сигары идут хорошо и что это реальнее эмали и финифти. Конечно, я был ребенком по сравнению с людьми, которые проявились теперь из глянцевого тьмы заполненных ожиданием Лидии будней. Народ скупал драгоценные камни, редкие монеты, марки. Деньги вкладывались с расчетом легчайшего вывоза. Князь Б., встреченный мной в консерватории, конечно же, все знал и, отпустив злую шутку насчет перемены моей профессии, предложил натюрморт... Гитлера. Дьячок из Сокольнического храма, бывший сезонный хиппарь, поэт-модернист, а ныне экуменический подвижник, осудил мой частный сыск уцелевших икон. «Меня это не колышет,— отвечал я на странном, среди фарцы подцепленном, языке,— из досок в этой стране жгли костры, делали табуреты и двери — я сам видел дверь в хлеву, сделанную из



цельной иконы. Для меня моральной проблемы здесь не существует. Иконы уцелеют на Западе и, нужно будет, вернутся в Россию. А отток флюидов и эманаций — бред для школьников старших классов...» Он согласился со мной, белобрысый старикан лет двадцати шести, житель города Кёльна в настоящий момент...



Иногда я думаю, что уехали все. Вообще все. Осталась только шайка герантов за кирпичными стенами да пустая, дохлыми танками заставленная страна...



Я выучил голоса телефонисток международного пункта связи. «Париж,— говорила одна явная стерва,— завтра после четырех, не раньше». Другая специалистка словесных фильтраций была помягче. Я ждал несколько часов, пока где-то проверяли мою фамилию, гадали, какого черта я звоню по телефону выбывшего на Запад потенциального перебежчика и какие последствия для народного хозяйства могут иметь мои мычания и бульканья. Кто-то решал все это. Давали Париж. Твой голос спускался с небес. Было плохо слышно. У тебя были гости. Мы говорили о погоде, о вещах несуществующих. В трубке явно жила кроме нас группа опытных придыхателей. Любой намек попадал в лузу, любое срывание на английский ухудшало слышимость. Ты не могла сказать ни дату возможного приезда, ни положения с визой. «У нас холодно»,— говорил я. «Говори громче».— «Холодно. Дожди шпарят».— «Я тебя отвратительно слышу».— «Как ты?» — «Чудесно. Не пью. Худею. А ты?» А я?

Я больше не жил, я существовал внутри плотного угара ожидания. Я не читал ничего серьезнее Кристи.

Я старался просыпаться как можно позже. Я метался из угла в угол моей квартирки, я метался из угла в угол города, и, если встречал знакомых, они с трудом узнавали меня. Я пытался играть в теннис, но те, кому я раньше давал уроки, теперь несли меня вскачь; я превратился в гнилой пень, я не успевал ни к сетке, ни к нестрашному посылу в угол. Мать заставила меня сделать анализ крови. Чушь! Я был всего лишь навсего мертв без тебя. Мои письма, все тем же бумерангом засланные в Париж, были полны стонов и воплей в то время; я корчился в каждом слове, я был болен тобой, твоим отсутствием, невозможностью хоть что-то сделать, хоть как-то дотянуться до тебя. Тоня пришла меня спасать! Милая, нежная Тоня. С букетом астр, с бутылочкой армянского коньяку, с осторожной, словно я был при смерти, улыбкой. Мы все это оставили на столе, включая пугливую улыбочку, мы разворошили и перевернули постель — она плакала, моя бывшая наложница. «Что с тобой? — утешал я ее. — Я сделал что-нибудь не так? Я тебе больно сделал? Да не молчи же ты!» Да нет... Все было так. Просто ярость, с которой я в нее вгрызся, никакого отношения к ней не имела...



«Ты меня случайно застал, — говорила ты, — звони позже или утром». Ах, девочка моя, разве я выбирал... «Ты меня еще помнишь?» — интересовался я искусственным голосом. Ты ласково хмыкала: «Так, чуть-чуть...» «Заканчивайте», — как будто это было тюремное свидание (именно!), встревала телефонистка. В трубке шуршало разорванное пространство, я лупил кулаком по ручке кресла — московская моя комната, расплывшаяся было до тусклого фона, возвращалась, подсовывая надоевшие детали.

Никогда в жизни я не был так слезлив, задерган и одинок.



Я встретил в то время пугливое взъерошенное создание: валютную крадю из «Националя». В ее потерянности мне виделась моя собственная. Время от времени я оставался у нее. Маленькая, бледная, смолвившая одну за другой, ругавшаяся как сапожник, она устраивала меня: она жаловалась и злилась, ни на что не претендуя. Истории ее были одинаковы: я — сижу — он — подходит — можно — говорит — вас — на — танец — заказал — шампанского — пошли — к — нему — в — номер — дал — двадцатник — зеленью — из — Канады — а Валерка — опер — говорит — посмотри — у него — нет — ли — там — фотопленок — в — атташе — кейс — а — жена — у — него — на — фото — как — игрушка — а кончить — он — ну — никак — не — может... Она плохо спала, а когда засыпала, вздрагивала во сне, даже не вздрагивала, а подпрыгивала. Я лежал с открытыми глазами, слушал дождь, проваливался лишь под утро. Она меня не будила; на аккуратной ее кухоньке был сервирован завтрак на одного, лежала какая-нибудь смешная записочка, опечатанная жирным карминным поцелуем...



В сентябре (группа французских кардиологов, гостиница «Россия», конференция Академии наук, поездка в Самарканд и Бухару) я повез тебя за город. Стояло бабье лето. Прозрачные до этого дни словно запотели. Ты была в моем любимом лиловом платье. От станции мы шли узкой тропинкой, заросшей подорожником и дикой ромашкой. Дачный поселок был пуст, лишь мелькал меж сосен и исчезал картуз лесничего да смуглый хулиган жевал яблоко и длинно сплевывал, стоя в распахнутой калитке. Хозяйка, моя добрая приятельница, сидела на горе подушек — рыжая в зеленом боа, — курила, не затягиваясь, сигарету в янтарном мундштуке. Белки кувыркались в густой зелени елей,

пахло грибами, закипал самовар. «Сразу после революции,— рассказывала хозяйка,— мы перебрались с мужем из Питера в Москву. Питер был мертв, словно ушел под воду, затонул. Трамвайные пути зарастали травой, одуванчики цвели меж торцов знаменитых площадей, дворцы стояли с выбитыми окнами... Москва же наоборот: кипятилась постной похлебкой энтузиазма, неслась вскачь, торговала будущим оптом и в розницу. Я была худа как палка, острижена под ноль, и дети во дворе, увидев меня, кричали: „Шкелетина идет!..“

Я глядел на тебя сбоку и, как это иногда бывает, видел твое лицо в будущих наслоениях, таким, каким оно будет через пятнадцать лет. Мы поругались вчера, на самом исходе ночи. Ты кое-как одевалась, собирала вещи. «А-а,— рычала ты,— как мне надоели твои умирания! Ты болен? Ты больше не пишешь? Ты без меня не живешь? Вот спасибо! Обрадовал... Я-то думала, я тебе в радость. Bordel de merde!<sup>1</sup> Отстань! Я тебя лечить не собираюсь; меня такой банальный уровень отношений не устраивает. Слезы-мимозы, сопли-вопли...» — «Но,— пытался встрять я,— пойми же, я не могу ничего сделать, я лишь могу сидеть и ждать, ждать, ждать! И ничего больше! Я каждый раз трясусь, что тебя не пустят!» — «Не трясись,— ты нашла одну перчатку, не могла найти вторую, швырнула в угол и первую,— не трясись — живи! Я же здесь! Я же приехала? Не провожай меня...» Я все же вышел с тобою на улицу. Я пытался улыбаться, пытался взять себя в руки, ничего не выходило: меня трясло. Значит, все кончено, думал я, так глупо, так по-идиотски? Какого дьявола я действительно разнылся? «Лидия...— ты садилась в такси,— послушай...» — «Иди к черту,— сказала ты. — Tu m'emmerds!..»<sup>2</sup> В девять утра я был в гостинице. Я прошел мимо швейцара как торпеда. Ты была внизу, на завтраке. Я сел рядом, взял чашку, кофе еще был горячий. Ты улыбалась.

---

<sup>1</sup> Дерьмовый бардак! (франц.)

<sup>2</sup> Ты мне осточертел!.. (франц.)

Глазами, ямочками на щеках, губами. «Ты пойми,— сказала ты чуть позже в номере шестьсот каком-то,— если я с тобою ругаюсь, это потому, что я тебя ищу. Когда я тебя к черту посылаю, мое отношение к тебе не меняется; я хочу понять, какой ты внутри себя... что у тебя там, кроме колючек и греческих трагедий... Ты мне весь нужен, а не только твои... достопримечательности...»

Зазвонил телефон, хозяйка, астматично дыша, опираясь на палку, вышла. «Оставайся в Москве,— сказала ты вдруг.— В Бухаре будет слишком много работы...» — «Ты не хочешь, чтобы я летел с тобой?» — утренний страх возвращался. «Нет,— сказала ты,— сиди дома. Сиди и не переживай, а то отправлю тебя в госпиталь... Я приеду в конце октября на всю зиму. Я, кажется, взяла здесь работу, на одной хитрой фирме..» — «Правда? — взлетел я.— Правда, о...»

«А потом мы уехали в Китай,— продолжала от дверей хозяйка.— Шанхай в то время был большим и веселым сумасшедшим домом. Везде были русские: молодые, безденежные, но веселые...» — «Мой дед,— начал я автоматически, весь уже погруженный в нашу с Лидией совместную жизнь,— жил в Китае. В детстве у меня были плоские шелковые куклы...»



Я ожил. Я носился по городу, восстанавливая нужные и ненужные связи, штопая дыры полугодового отсутствия. На радио опять обещали кой-какую работенку; Гаврильчик, пойманный у Милы, советовал подрядиться писать для ЖЗЛ. «От Понтия Пилата до наших дней»,— вставила Мила; Ося на все смотрел скептически, но все же позвонил какому-то кретину на «Мосфильме», и тот согласился посмотреть мою заявку на... «На что?» — спросил Ося. «Сценарий детского фильма. Кащей Бессмертный, раскаиваясь, вступает в партию. Змей Горыныч служит на границе. Василиса Премудрая кончает разбазаривать здоровье и торгует

первым в мире нетающим мороженым. И так далее. Багдадский вор поступает в уголовный розыск. Граф Монте-Кристо отдает замок пенсионерам. Американские космонавты стыкуются с советскими, и те, перейдя на звездно-полосатую территорию, просят политубежища...»

За неделю до приезда Лидии из военкомата завалился хмурый тип в чине лейтенанта. Его интересовал хозяин замоскворецкой квартиры, исчезнувший любитель фрау Н. Визит при извлечении квадратного корня из ситуации означал, что пора было сматываться; это было своего рода предупреждение. Я заметался по городу в поисках жилья. Бедная бульварная газетенка, принимающая объявления, обещала тиснуть мой призыв к гражданам Москвы не раньше чем через четыре месяца; никто никуда не уезжал, меня охватила паника, но появился шутник Саня с виолончелисткой, розовощекой до неприличия кисонькой, сообщил, что вопреки Марксу «небытие определяет сознание», и я неожиданно опять получил ключи от дачи академика и заверения, что мамашинной ноги там не будет. Заверения были даны как-то кисло, но Саня на кухне пояснил мне, что мамаша распорядилась своей жизнью, наглотавшись персефонных таблеток, и выбыла из рядов строителей будущего.



Я знал, что тебе понравится жизнь в этой избушке на курьих ножках. Я выскреб полы, вычистил сад, перевез вещи. Вечером за день до твоего приезда я жег в саду сухие листья. Ветра не было, и дым ровно поднимался к розовому небу. Я был счастлив, так по крайней мере мне казалось, хотя я и не употребляю обычно это слово. Мы будем зимовать вместе. Ты и я. И снег, и вороны, и старые яблони под окном. И все проблемы исчезнут, все страхи сойдут на нет...

Любитель идилий! Создатель иллюзий... Со временем я понял, что вместе с адреналином, желудочным

соком, мочевиной и прочим я вырабатываю иллюзии. Я — машина иллюзий. Когда набирается несколько тонн, я обрушиваю их на тщательно выбранную жертву и она корчится под обвалом, в конечном счете предпочитая проклятую реальность моим мифам.



Она приехала на поезде. Сияющая, веселая, с корзиночками, сумками, чемоданами. Я выстроил на перроне всю свою гвардию. Оркестр играл марш военно-воздушных сил. Ося был торжественно-бледен. Никита, перехватывая чемодан, гаркнул: «Твою мать! Вот это баба!..» Тоня утирала поплывший глаз. «Детант в действии», — комментировал Саня.

Нагрузив Осю скарбом, я посадил Лидию в такси — жить у меня она никакого права не имела. Фирма давала ей однокомнатную квартиру на Ленинском проспекте, но там не имел никакого права жить я. Все это нужно было быстро обыграть, отметить в посольстве, а уж потом катиться на дачу.

Я сварганил грандиозный обед в тот раз: заяц, утопившийся в чешском пиве. Никита притаранил два ящика «мозельвейна». От цветов было душно — слава Богу, стояли последние сухие дни, — я распахнул окна в сад. Лидия привезла свое стерео и кучу кассет: поселок залихорадило от Стива Уондера. Мы просидели до последней электрички. Все расспрашивали ее про Париж. Было тепло, уютно, радостно. Я впервые видел Осю пьяным. Он ронял голову на стол, хмыкал и советовал нам купить корову. «Купите корову и сделайте ей французские документы. Тогда ее в колхоз не возьмут. А чуть чего — обострение международной напряженности, — вы ее быстренько задворками тащите в посольство. Еще лучше ее покрасить под французский флаг...» Они набились все в Осин «роллс-ройс»; Никита вел машину. Мы остались одни. Обнимая ее, «знаешь», — начал я, но она перебила: «Молчи, молчи. Идем баюшки...» Глаза ее смеялись.



«Дело в том, что в равновесии стратегических сил наступил перелом. По улицам столицы в сторону Кремля неслись с танковым скрежетом черные лимузины. Паники не было, было всеобщее обалдение, янки, коротко стриженные длинноногие янки наловчились промышленным способом производить свободу. Самое обидное, что лаборатория в Ярославле давным-давно вывела формулу производства синтетической свободы, за что начальник лаборатории, профессор Китайчук, был немедленно расстрелян. Формулу обрили, закоптили, перевязали бечевками и засекретили. Теперь же все пошло коту под хвост. В Чикаго уже шуровала на полную мощность фабрика, выпускающая в день около трехсот тонн высококачественной демагогоустойчивой свободы. Конечно, прежде чем наша разведка сообщила точные сведения, информация просочилась в левую французскую «Либерасьон». Серис Жоли писал в переводе: «Нам не нужна свобода по-американски, свобода, которую будут навязывать человечеству насильно — столько-то капель в день... Слухи, что американцы собираются распылять свободу над всей Евразией, с каждым днем множились. По радио передавали, что передозировка приводит к ужасающим результатам: выкидыши у беременных женщин, стрессы, помутнение классового сознания, выпадение прямой кишки, рвота, перемежающаяся пением гимнов...» Я начал работать. Увы, вместо того чтобы серьезно подумать, как сварганить для детишек цензуроедобный фильм, я катал очередной, на самиздат обреченный, безумный рассказ. На работу уходили утренние тихие часы, после того, как я провожал Лидию на станцию. Пятнадцать минут электричкой до Москвы давались ей не легко. Она могла бы без проблем взять напрокат машину, но у иностранцев были белые планшеты номеров, мы тут же бы засветились. Закончив с утренней дозой бреда, я убирал дом, готовил обед, стирал. К шести в резиновых сапогах и армейском дождевике по разбитой доро-



ге я отправлялся на станцию. Товарняки грохотали мимо, блестели мокрые рельсы, подходила моя электричка. Мы встречались где-нибудь у метро, ты совсем по-советски тащила какую-нибудь сумку: немного экзотики из «Березки», мясо, которое теперь оставляла по знакомству буфетчица Клава. Мы шли в гости к Сане на Сивцев Вражек, к Тоне или вынырнувшему из дальневосточной командировки Суматохину. Несколько раз мы обедали у Роджера, но у Лидии не получилось никакого контакта с Полой, или, вернее, она так глубоко погрузилась в советскую жизнь, что контрастные встречи ее выводили из себя. Работа на фирме была катастрофой, но это был ее статус-кво в Союзе (статускво<sup>1</sup> — поправлял Саня). Раза три-четыре мы были с нею в кино, на этом ее энтузиазм к советским фильмам кончился, она несколько раз проносила меня в кармане пальто в кино клуб при французском посольстве. Я читал ей вечерами по-русски, совсем как в прадедушкины вечера, или мы отправлялись на длинную прогулку по черному набухшему сосняку, и я рассказывал ей мимоходом выдуманную историю из жизни профсоюзных принцев и партийных гадалок. Она молчала, Лидия, оглушенная неожиданно дремучей жизнью, она вообще теперь молчала, и я прозевал момент, когда ее размягченность перелилась в затаенное раздражение.



«Прививки против, как его теперь называли, американского дождя были обязательны. Но все же, изловчившись, можно было сунуть в карман белого халата трешник и получить пять кубиков глюкозы. В то же время по улицам Чикаго прошла мощная, около ста двадцати тысяч участников, демонстрация молодежи. «Мы про-

---

<sup>1</sup> Так называют женщину в некоторых племенах североамериканских индейцев.

тив загрязнения естественной свободы синтетическим дерьмом» — было написано на голубых плакатах. На черном рынке уже можно было купить флакончик американской свободы, но цены были бешеные. Евгений, однако, решился, и вместе с Анастасией одним преступно голубоглазым вечером они, неизвестно для чего раздевшись, приняли по дозе и, усевшись друг напротив друга, стали ждать...»



Она не объяснила мне ничего. Я не могу считать объяснением черного цвета взрыв мощностью в несколько мегатонн. Шла первая неделя декабря, от снега и солнца болели глаза. Я глядел в окно, Лидия за моей спиной паковала чемоданы. Чудовищный смысл ею произносимых фраз в моей голове никак не укладывался. Оказывается, я ее использовал, оказывается, она вкалывает на меня, в то время как я кайфую, пестую свои литературные претензии, Омар Хайямом, Хайям Омаром сибаритствую меж перекрахмаленных сугробов и мятых простынь. Я увязался за нею только потому, что она француженка. Я никогда не хотел хоть что-то сделать, а лишь ныл, что в этой стране действовать невозможно. Самая интересная часть была по-французски. Без синхронного перевода. Я перестал вникать — она просто спятила! Она выпила литр антифриза или пригоршню, под подкладкой сумки затыренных, ЛСД... Мои друзья меня не знают. Она не видела никого, кто умел бы так хорошо устраиваться. «Лидия,— повернулся я,— дуреха! Кончай свой бред, я же тебя...» — «Пошел ты знаешь куда со своей любовью! Любовь! Что ты в этом понимаешь?» Я попытался загородить дверь. «Уйди,— сказала она тихо.— Все кончено, ты что, не видишь? У меня больше для тебя ничего нет».

Грязного цвета такси стояло у калитки. Она вернулась за вторым чемоданом. Я начал сообщать, что

она действительно уезжает, и уехать может очень далеко. В страшный для меня аэропорт. «Слушай,— я назвал ее ночным ее именем, в этой ситуации идиотским,— погоди...» Мне было жутко. «Пошел на...,— сказала она с чудесным парижским акцентом.— Рожу твою видеть не могу... Сиди в своей могиле. Ковыряй свои болячки. Я не мазохистка...»

Самое смешное было в том, что такси не могло стронуться с места, буксовало, расшвыривая снег, перемешанный с песком, и не кто иной, как я, упершись ногами в фонарный столб, раскачивал и выталкивал машину. «Все устроится,— бубнил я, старательно игнорируя вздымающуюся у меня внутри хиросиму.— Все это чушь. Все обойдется. Ведь мы только начали жить...» Такси выскочило и, напоследок забросав меня грязью, юзом пошло вниз по улочке.



Она улетела на следующее утро. Я этого не знал и еще с неделю ломился в посольство, дважды побывав в приемной ГБ, где со мною обошлись вполне гуманно, но посоветовали больше не пытаться проскочить на территорию лягушатников. Я побывал на ее фирме — вентили, трубы, газовая техника,— и милейший толстяк мне объяснил, что мадам уволилась и теперь — впрочем, он не уверен — пьет «шеверни» на веранде Липпа, то бишь в «Двух мандаринах». Я плохо помню детали, я был загружен водкой до самых ушей. Я боялся хоть на секунду протрезветь. Тоня наткнулась на меня в винном магазине. Я покупал литровую бутылку пшеничной. Она влепила мне пощечину, а потом заплакала. Алкаши вокруг ржали. Это от нее я позвонил в Париж. Дали, словно издеваясь, мгновенно. Лидия взяла трубку. Было слышно телевизор. «Не звони сюда больше», — сказала она. «Я... Я тебе напишу?» — голос у меня был как у Сэчмо. «Мне это неинтересно. Найди себе другую дуру».



Сиделкой надо мной просидевший ничем не обозначенную вечность, Ося уверял меня: «Ваша ошибка, дружище, что вы ее держали за метерлинковскую героиню. А она баба из Воронежа. Понимаете? Она просто баба! Вам Париж все мозги запудрил! Нужно было с нею обращаться как с бабой, а вы ей мантры читали! Хлебникова!..» Никита был лаконичнее. «Есть такие бабы,— сказал он,— что хоть не вынимай». Он заставил меня одеться, мы долго тащились куда-то через метель. «Я тебе пришлю одну дырочку,— втолковывал он,— только ты с нею не валандайся. Подъемный кран. Мертвых из гроба поднимать может. Тебе сейчас нельзя без бабы. Сворачивай». Мы свернули на тропинку между сугробами, снег все сыпал и сыпал, и Никита постучал в окошко кассы. «Два билета,— сказал он.— Со скидкой на малолетство». Это были оранжереи Ботанического сада. Миновав японский сад камней, скрюченный подагрой лес столетних карликовых сосен, целую рощу цветущих лимонов, мы забрались в самый дальний угол. Не было видно ни души. Волны тропического тепла и водяная пыль из распылителя окатывали нас. Мы устроились, сняв шубы, на мешках с удобрениями. Никита вытащил четвертинку. «Тебе вообще-то пора выкидываться с парашютом,— он сорвал пробку,— завязывать, может быть, и не стоит, но притормозить пора... Мы с тобой в баньку пойдем, в Сандуны, выпарим твою бредятину и на пиве спланируем к будням нашей родины. В каждом деле должна быть своя техника. И в том числе и в деле протрезвления. Не бэ. Уделал тебя капиталистический рай?» И он нырнул в густолистые заросли, где наверняка водились змеюги, мартышки, студентки-лаборантки и заспанные смотрители, и появился оттуда с полной шапкой мандаринов. «Африка,— гоготал он,— и никаких транспортных издержек...»



В Сандуны мы не пошли, мы поехали за город. По той единственно приличной дороге, что разматывается на юго-запад. На даче нас уже ждали. Охранник с кобурой на боку открыл ворота. Хозяин, известный мне лишь по газетным снимкам — «Да нет же! — поправил меня Никита.— Это его сын»,— вышел встречать нас на крыльцо. Стол, заставленный закусками, запотевшие графинчики, неизвестно где пристроившийся оркестр, играющий Вивальди, и девицы: чистенькие, ухоженные, обожравшиеся курвы. Я был весел и остроумен. Я смешил всех, даже каменнолицую прислугу. Приставленная ко мне мокрогубая красотка и вправду замечательный экземпляр: зверски обтянутая свитером, калибра корабельных пушек грудь, изумительные, совершенно пустые ореховые глазищи, маленький зад, удлиненные нижние конечности — при каждом приступе хохота энергично наваливалась на меня своей надводной частью. «Майя,— пояснял через стол Никита,— из нашего золотого фонда. Прошу без протокола». Майя скромно лязгнула ресницами. Я был в том эйфорическом состоянии, когда случайное телодвижение вдруг расплескивает фальшивое веселье и тогда обнажается смрадная пропасть. Хозяин тихим, бесцветным голосом рассказывал об африканском племени, где в танце любви женщина выбирает мужчину — счастливец сидит, опустив голову,— положив ему ногу на плечо. «Они танцуют в чем мать родила и практически, заводя ногу избранному на шею, показывают свой секс...» Хозяин оглядел нас исподлобья: седой бобрик волос, мешки под глазами, седые усы, безразличный взгляд. Одного движения пальца его престарелого двойника было достаточно, чтобы поменять Кавказ и Урал местами. Меня он начинал злить. Залепить ему семгой морду? У него была хорошая интуиция, на ней они и держатся, как на подводных лыжах, он кому-то кивнул, и нас уже вели бесшумной ковровой экскурсией, показывая дом: чередой стерильных, дорого обставленных комнат, кинозал, спальни второго этажа и чудесный кожаный кабинет, о котором только можно было меч-

тать, с книжными шкапами от пола до потолка, с тяжелыми портьерами, в просвете которых виднелся новенькой гравюрой серебряно-синий вечерний сад. Майя удержала меня за руку, когда все выходили, она и вправду была хороша, и, скорее всего, ее глупость была лишь расчетливой игрой, гаремной мудростью, умением не раздражать честолюбие заносчивых шейхов. К моему удивлению, она и вправду умудрилась восстановить мое заржавелое оружие, но, когда, раскрасневшаяся, со спущенным на одну ногу исподним, она наделась на меня, беспечный наездник, и мы тронулись с места среди кожаных волн чудовищно огромного кресла, я тут же обмяк и капитулировал. «Ты меня не хочешь?» — мотая головой, сказала она. «Я-то, может быть, и хочу, но он — автономное государство...» Она все еще сидела на мне — лифчик на шее, чуть-чуть терлась об меня. Мы кое-как разлепились. Застегивая джинсы, я подошел к стенным шкапам — вот от чего можно было кончить! — здесь было все, чем я когда-то так жадно интересовался. Клеветники режима, высланные из страны философы, мемуары участников славных кровавых дел. И все издано пронумерованным внутренним тиражом...

Она еще не раз в ту ночь пыталась меня осчастливить, Майя. *Per aspera ad astra*<sup>1</sup>. Но лишь сама сверзлась в небольшой всхлип и затихла. Как и следовало ожидать, была она из профессорской семьи, занималась когда-то семантикой в Тарту, но (ее фраза) «грудь перевесила». «Ты не пропадай,— сказала она,— я тебя вылечу». — «Я не тем болен»,— отвечал я, но было это уже утром, в Москве. А пока я сидел один в эвкалиптом пропахшей сауне, и все у меня текло: ручки пота меж лопаток и по груди и, порядочно, из глаз. Я трясся и даже, думаю, подвывал. Хорошая парилка была у слуги народа. Но меня уже звали за стол — в предбаннике стопкой лежали чистые полотенца, на скамью был брошен мохнатый тулуп. Возвращаясь в дом, я набрал полные пригоршни снега и, как мы это делали в армии, умылся им.

---

<sup>1</sup> Через тернии к звездам (*лат.*).



Это был отличный, королевского размера двуспальный багажник. Рафаэль взял «кадиллак» посла, старикан отправился в Лозанну подзалатать прохудившееся здоровье — Рафаэль остался поверенным в делах. Это был шанс. У меня был термос с кофе, фляжка скотча, печенье. Холодный воздух просачивался туго, но мне было не до мороза. Машина шла мягко, и лишь на левых поворотах ныл затылок. Никто, кроме матери, ничего не знал. Она постарела за эти три дня. «Я все равно уеду,— объяснял я ей.— Не сейчас, так позже. Не через Финляндию, так через Израиль». — «Делай как знаешь», — поджав губы, отвечала она. Фотография — Лидия, обнимая меня за шею, заглядывает в объектив — давно исчезла с комода. «Если я останусь, я рано или поздно сяду». — «В этом я не сомневаюсь...» — чуть слышно отвечала она.

За окном неподвижно стоял январь. Многое случилось за последний месяц. Харьковские отъезжанты подслали ко мне хрестоматийного убийцу: кепочка, улыбочка, кривой зуб да нож, который он мне показывал, словно предлагал купить... Не все вещи дошли до Вены. Знаю ли я, чем это пахнет. Жареным. Кто-то мухлевал в этой игре. Я был уверен в Рафаэле. Не потому, что он с утра до ночи занимался мною. Потому, что я знал его теперь гораздо лучше. Мудрил, я в этом уверен, получатель в Вене.

Я прожил у Рафаэля две недели безвылазно. Пил с утра, проснувшись. Около постели всегда стояла бутылка скотча. Рафаэль забивал холодильник выпивкой. Днем я держался на пиве, а к вечеру нагружался ячменной. Он не перечил мне, разговаривал со мною так, словно мы не стояли на разных берегах скотчeveго моря. Он готовил еду, прятал снотворное, вышвыривал повадившихся вдруг вставлять лампочки электриков. Я спал, только набравшись до зеленых чертей. Два часа, не больше. Просыпался от ощущения дыры на месте сердца. Пульс сто двадцать. Ярko выраженная экстрасистолия. Если заиклиться, начиналась паника. Я лежал и думал об одном: почему? Потому, что кон-

чился карнавал? Три дня здесь, два там, весело, навывлет, в лихорадке любви. До тех пор пока у одного из нас не начинались легкие неприятности с эпидермой. Вечно под наркозом очередю идущих оргазмов. Так часто, что страхи и сомнения взорваны и распылены. И вдруг — дыра, дожди, проселочная дорога с подслеповатым фонарем, потеря ритма, офис, беготня за продуктами, передовые будни. Некуда в общем-то пойти. Все двусмысленно. Мы уже не набрасывались друг на друга, как в наши урывочные свидания. Она порывалась мне что-то сигнализировать, я понимал это теперь. Но что? Я кропал свой акростих, я распустил в том месяце счастливые сопли — я перестал за нею охотиться. Я думал, что теперь она рядом. А она почувствовала себя нигде. Может быть, она МДП<sup>1</sup>? Выскользнула из одного периода, сверзилась в другой? Слишком просто. Граница двух проклятых систем шла ровно через нас. Через ее шею, грудь и колени. Через мои мозги, ребра и подвеску. Через наш дом, кровать, планы и мечты. Было наивно с моей стороны думать, что мы перезимуем в кое-как налаженной идиллии. Отовсюду торчали гвозди.

Она не снилась мне, сколько по этому поводу я ни усердствовал. Я медитировал на шав-асане, стараясь настроиться на ее образ. Бухие медитации! От хрена уши! Лишь однажды, на грани пробуждения, она вылупилась из гнилого яйца тусклого утра — вся завернутая в пластиковую амальгаму. Она! Но лишь мои искаженные отражения на ней...

Я отправил ей целую голубятню писем. Как в преисподнюю. И лишь неделю назад маленькая, вряд ли трезвая, записочка: «Может быть, стоило бы попробовать еще раз, может быть, из этого и вышел бы какой толк, но я устала. Ты любишь не меня, а свою любовь ко мне. Как жаль...» Это «как жаль» и вернуло меня на землю. Запой кончился. Некоторые странности с Рафаэлем — тоже. Он все понимал. Он был чуток. Как однажды я выдал ему — вполне несправедливо, — омерзительно чуток. Я вернулся в свою коммуналку. Нужно было решаться прыгать. Но как?

---

<sup>1</sup> Маниакально-депрессивный психоз.





Финляндия была его идеей. Он бывал там часто, как и все московские дипломаты, обалдевшие от столичной скуки. Я собрал свои бумаги и вместе с пишущей машинкой передал Роджеру — его таки выслали. Он обещал передать их в Париже Лидии. Больше у меня ничего не было. Мы сделали с Рафаэлем несколько пробных ездов. В «БМВ» было тесновато. Но мне казалось, что, если нужно будет сложиться в восемь раз, я бы это сделал. Мы ждали, когда уедет лечиться посол. Он, как и его поверенный в делах, был на хорошем счету, на их жаркой родине фонтаном забила нефть и левые идеи, а это было очень важно. В первый же уикенд своего полномочного правления Рафаэль сгонял в Выборг. Все прошло как по маслу. Раньше он ждал досмотра и пропуска по сорок минут. На этот же раз машину под флагом потенциально дружественной нам республики пропустили без проволочек.



Я ждал Рафаэля в Питере. Решено было ехать поздно вечером. Было легче сесть в машину, где я мог по крайней мере три часа оставаться в кабине, полулежа, конечно... было куда проще нырнуть в багажник. Меня интересовало только одно — СССР. Служба сторожевых собак. Я ненавидел их после армии. Откормленные, с первого же прыжка к горлу бросающиеся твари... Рафаэль израсходовал три диоровских дезодоранта, опрыскивая снаружи и изнутри. По моим подсчетам, с момента моего перемещения в багажник и до КПП должно было пройти около полутора часов.

Я лежал на спине, упершись ногами в бок машины с такой силой, что ушанка налезла мне на нос. Машина стояла. Мое сердце билось так громко, что казалось невероятным его не услышать. Глупо, если они не употребляют простейший стетоскоп. Я услышал, как Рафаэль открыл дверь машины. Два голоса переговаривались под скрип снега. Слов не разобрать. В какой-то

момент все закрыло горячей темной волной. Вот достойный финал! Загнуться в багажнике. Откроют, как крышку гроба. Но зажигание не было выключено. «Семенов,— крикнул кто-то,— позвони на восьмой!..» Снег хрустит, думал я, так по-русски. Так сухо хрустит снег... Машина тронулась. Я отвинтил крышку фляжки и, заливая лицо, отпил, сколько смог. Не думать! Не думать! Только не думать. Был момент, когда я начал читать молитву. А машина все поворачивала и поворачивала, проскочили какую-то разухабистую музыку, провал, опять провал, я был весь мокрый, как новорожденный... Иди к дьяволу, сказал я сам себе, со своей литературщиной! Машина стояла, ключ поворачивался и никак не мог в замерзшем замке. Наконец замок лязгнул, и вместо крыши какого-нибудь там американского посольства я увидел тяжелые (все те же!) заснеженные лапы елей. «Садись в машину, быстро!» — сказал Рафаэль. Я выбрался почти на четвереньках, холодный ветер прохватил меня насквозь. Рафаэль пил из моей фляжки. «Ничего...— сказал он,— не огорчайся...» — «Где мы?» — спросил я как идиот. «У них — как это по-русски? Strike, ass-holes, mother-fuckers!<sup>1</sup> Наши время, кретины...» — «У кого?» — я все еще не понимал. «У финских таможенников. Граница закрыта».



Вызов мне сделали быстро. Среди двадцати тысяч русских в Париже нашлось несколько однофамильцев. Месяц ушел на сбор документов: печать здесь, легализация там, справка из нашего фуфлового комитета толстоевских, свидетельство о рождении, свидетельство о смерти, пять рублей маркой, десять в кассу и т. д. Наконец последняя бумага была принята, и овировская офицерша коротко сказала: ждите. Некоторые ждали по семь лет. Некоторые всю жизнь. Кое-кто приходил сюда самосжигаться. Некоторые вытаскива-

<sup>1</sup> Забастовка, засранцы, сучье племя! (англ.)

ли самодельные плакатики, их быстро уволокивали. Некоторые просто рыдали. А мимо шли выездные: туда и обратно, а потом опять туда. Умей вертеться. Нечего трагедии возводить... Я стал бывать у Гаврильчика, я зачастил к Коломейцу — мне нужно было найти и нажать верную кнопку. Гаврильчик звонил куда-то, врал про мою тетку, издыхающую от любви на берегах Сены. Коломеец просто сказал — сейчас не время, скоро будет конференция по Хельсинкским соглашениям, тогда и будем думать. От Лидии пришла раскаленная записочка — давай прыгай! За неделю до открытия конференции меня дернули в штаб народной дружины — пришли два лба и сказали, что меня «просят зайти». Профессию сидевшего за столом дяди можно было вычислить за километр. Он почти не смотрел на меня, он выдвинул ящик стола и вынул стандартную папку, разбухшую от бумаг. Открыв, он положил ее так, что я мог видеть бледную копию первой страницы «Станции "Кноль"». Видимо, времена наступили действительно новые. «Держать вас не будем,— сказал он.— Стране вы не нужны. Езжайте. Посмотрим, что вы там запоете. Получите паспорт на год». Я старался не сиять. Я вообще боялся шевелить воздух. Я попал в счастливики. Я был уже в дверях, когда дядя усмехнулся: «Наша ошибка. Нужно было прибрать тебя по делу Зуйкова. Расплодилось вас... Зайдешь в ОВИР в понедельник».

Впервые в жизни я боялся перейти улицу на красный свет. Я стоял на зебре перехода и хмыкал. Ротшильд не был богаче меня. Брежнев не мог сделать ноги. Боже! Значит, все сначала? Целая жизнь?



На этот раз были проводы. В Никиткиной квартире негде было упасть в обморок. «Не забывай»,— говорили одни. «Оставляешь нас»,— укоряли другие. «Дурной ты,— сказал мне поэт-авангардист,— ты же от русского языка уезжаешь, ты же будешь в два счета кончен».

Мать сидела в углу. Удивительно спокойная. Улыбалась. Я подливал ей шампанского. «Я к тетке Евдокии, пожалуй, съезжу, в Киев...» — сказала она. Я дал ей денег вчера, все, что осталось после покупки билета. Аэрофлотовская барышня (четыре часа ожидания в очереди) канючила: «Берите обратный билет сразу. Это выгодно». — «А мне не выгодно», — отвечал я. Это тоже был устный тест.

Расходились под утро. Скомканно прощались. Лишь Генрих С. напутствовал меня со всей серьезностью да Тоня перекрестила. В пять утра мы стояли с Никиткой под облетающим кустом бульдонежа и отливали. «Представляешь, — хохотал Никита, — у тебя рейс; а мусора нас сейчас повяжут за поведение, унижающее моральный облик строителя изма. Суток на 15...» — «Ты меня отвезешь в аэропорт или мне такси заказать?» — «Я же тебе обещал, — грустно посмотрел на меня Никита, — все будет хок'кей...»



Его драндулет был в ремонте. Он не смог ничего лучше придумать, чем угнать чьи-то «жигули». Мы катили в аэропорт на ворованной машине. Я рассматривал улицы города без любви, без любви и сожаления. Сталинский стиль вампир, разбомбленный под idiotские коробки центр, тяжелое Ленинградское шоссе — обставленное номерными заводами, Волоколамское — разрезанное окружной железной дорогой... Все изжито здесь. Все прутья клетки знакомы. Кроме одной шестой мира есть еще пять...



«У меня есть кое-что для тебя, — сказал Никита, запарковываясь среди служебных машин. — Но, кажется, это тот единственный раз, когда я на тебя не поставлю». И он вынул из кармана аккуратно упакованного в носо-

вой платок слоника. Он был размером со спичечный коробок, два золотых клыка, в глазах по бриллианту. «Изумруд,— усмехнулся Никита,— представляешь? Стоял у Понта среди чашек. Я ему говорю — это что? А он «да... так... от бабки осталось. Дед чекистом был, прихватил при аресте какой-то балеринки». — «Дашь, я ему говорю, на комиссию?» — «А что, говорит, бери...» Тима, японский бог! Он же, деревня, книжек не читает, историей не интересуется... Этот слонище из знаменитой дюжины, подаренной неким великим князем своей любовнице, любительнице па-де-де. На аукционе Кристи рубиновый слоник из этой же коллекции прошел за сто тысяч зеленю, Фаберже. Ну что? Пронесешь на яйцах? Полмиллиона?» — «Нет,— сказал я,— в ближайшие двадцать минут я сам на себя не поставлю». — «Боишься гинекологического досмотра? В кишку тебе полезут? Ты прав. Но постой, время есть, успеешь на свой гнилой Запад, я тебе мульку на прощанье выдам. Здесь как-то поджидали одного одесского умника, никакой политики, голоденок и писем в ООН, катись в свою землю обетованную; зато знали, что он повезет крупный камушек, в который весь клан бухнул все деньги. Не вертись, успеешь... Знали, что повезет он его в каблуке. Настучал кто-то из любви к ближнему. Короче, ему искромсали шузы вдребезги, его обшмонали от и до и ни хрена не нашли. Катитесь, ему говорят, Рабинович, чтоб духу вашего не было... А он и спрашивает: что ж я, в свободный мир в носках теперь поеду? А... говорят, возни с вами. Возьмите у брата... И смотрят, чтобы брат ему в карман чего не сунул. Он переобулся. И уехал в Вену. С камушком, как и обещал, в каблуке. Такая мулька. А теперь иди, как-нибудь свидимся...»



В кишку мне не заглядывали. Таможенник лишь облапал мою полупустую сумку и кивнул — проходи. Я поднялся по лестнице, в конце которой всегда исчезала

Лидия,— передо мной был последний власть надо мной имеющий человек. Младший сержант войск МВД. Коротко стриженный, затянутый казах. Взгляд — он запоминал меня при приближении, взгляд на фотографию, еще один — контрольный, и теперь шифры и закорючки моего новенького заграничного паспорта. Ну скажи мне, что подпись или печать недействительны? Что моя фамилия написана с оскорбляющей законы страны неграмотностью? Что не хватает двух страниц? Он вернул мне паспорт. Я вышел из СССР.

Но я не верил, пока мы не сели в самолет. Я не верил и в самолете, пока мы не взлетели. Я не верил и дальше, у окна, вглядываясь вниз. И лишь через какое-то время до меня дошло, что я пытаюсь разглядеть границу. Внизу же была серая вода Балтики. Я не верил и тогда, когда внизу, в разрыве туч, мелькнула совсем иначе нарезанная земля, и, лишь когда пошли на посадку, когда показался колючий мех виноградника, я сказал себе — Франция. Наверное, лицо мое корчило. По крайней мере я больше не управлял мышцами лица — их сводило и дергало. Милейшая дама из Анжуя, которой я в течение четырех часов предлагал разделить со мной быстро убивающее шотландское пойло, старалась не смотреть на меня. Я прочел короткую молитву во спасение пилота и экипажа. Звучала она так: «Теперь, когда все только начинается, дай нам приземлиться пусть и с наименьшим комфортом, пусть с техническими неполадками, но живьем. Не дай, Боже, возможности оголтелому террористу угнать самолет назад в СССР. Пусть колеса найдут в себе силы вытерпеть удар земли в брюхо. Пусть гайки потерпят еще немного, а поршни пусть не выпендриваются... Если пилот испытывает головокружение или внезапные спазмы разрывают его мозг, пусть он рухнет на пульт пятью минутами позже». Бах! Мы катимся по бетонному полю. Красный бензовоз мчался с нами наперегонки. Капиталистическое «ЭССО» было написано на его боку.



Я потерялся в коридорах Орли.

Чередую идущие киоски в упор расстреливали радугой. Краски были настолько яркими, что все сливалось вместе и я не мог какое-то время прочесть ни одной надписи. Я не понимал ни слова в бурлении языков вокруг. Я был один в этой толпе. Я был, наконец, совершенно один в мире. Я не был никому нужен. Я ни от кого больше не зависел. Никому не обязан. Я был я.

Полицейский, усатый малый, ни хрена не сёкший по-английски, показал мне выход. Офицер контроля ткнул ручкой в пункт «цель визита». «Туризм»,— поставил я корявыми буквами. Я бы написал «любовь», если бы знал, как пишется.

Лидия не видела, как я подошел. У нее был вид мученицы. До меня это дошло гораздо позже. Когда мир опять стал миром, хлеб хлебом, подворотня подворотней, а утро — еще одной свежевыпеченной надеждой на чудо. Она смеялась, Лидия. Загорелая, веселая. Совсем другая. «Здравствуй, изменник родины,— сказала она,— добро пожаловать в наш ад».

У нее был открытый бодрый «фольксваген». Мы влетели в Париж через туннели и эстакады по невиданной, до горизонта машинами забитой дороге. «Нужно нам обмыть твой день рождения,— улыбалась она,— как ты думаешь?» Мы сидели на веранде, как внутри моего фильма. Только всего было больше; глаз уставал впитывать и глотать. Одно мне далось сразу — качество отношений между людьми: полное отсутствие напряжения. Это было невероятно, это можно было бы позже обозвать равнодушием... Я положил руку на ее ладонь. На секунду мне показалось, что она хотела ее отдернуть... «Ты знаешь,— голова моя кружилась,— я как под водой».



Она жила в двух шагах от Контрескарп. Все мне напоминало дачную жизнь: летящие занавески на распахнутых окнах, горячий пряный воздух, музыка со всех сторон, забежавший посмотреть на русского дружка сосед. Я заснул в ванне, словно меня выключили. Слава Богу, воды в ней было на треть. Лидия разбудила меня, в руках у нее была купальная простыня. «Алло,— сказала она,— есть места поудобнее...» Я проспал до вечера, до темного невероятного вечера, если не оборвать этот пассаж, не хватит эпитетов. Мы где-то были, что-то ели, меня с кем-то знакомили. В памяти остался огромный сад, освещенный совершеннолетней луной, двухэтажный особняк, щедро льющий свет на кусты жимолости, на иглы дрока и стоящий под окнами стол: молодой хозяин в распахнутой на груди белоснежной рубашке, его приятель — такой же загорелый белозубый блондин, их подружки (одна уже успела разрыдаться по-английски на моем плече, во время короткой прогулки к могильной плите в дебрях сада,— Жан меня не любит!), головокружительно красивая Лидия и я, пытавшийся справиться с бронированным лангустом.



Затемнение началось сразу, без передышки, лишь только мы вернулись домой. Мне было постелено отдельно, в дальней комнате. С ужасом вспоминаю, что меня прохватила легкая истерика. Все что угодно, но я ехал к ней! Она пришла, разделась. Я обнимал ее и рыдал, как в опере. У нас ничего не вышло, вялая возня, я не чувствовал, что она меня хочет. Мы заснули вместе, но я проснулся один. Было позднее утро. У самого моего лица сидел здоровенный рыжий кот. Когда я окончательно открыл глаза, он повернулся и ушел.





Жан-Ив появился уже на следующий день. Она выслала его лишь на двадцать четыре разорванных часа. За кофе с круасанами — я должна тебе сказать — точки над ё были проставлены. Я понимал, что нужно было куда-то уйти. Но у меня словно расплавились все кости. Я смотрел на нее через стол и хотел лишь одного — отодрать ее так, чтобы она взвыла. Она спустилась за почтой, я вошел в ее спальню и откинул одеяло: она могла хотя бы сменить простыни — все вдребезги заляпано их спариванием. Я отчетливо помню, что хихикнул в этот момент, меня понесло в маразм. Это был час и день, когда я погрузился в такой колючий мрак, о котором никогда и не подозревал.



Жан-Ив мне понравился: прост, сердечен, он ее любил. Невысокий, лысеющий, лет на четырнадцать ее моложе. Опять, как в Москве, я спал, лишь напившись. Еще во сне я боялся проснуться и их услышать. Страх этот, этот бред меня и вышвыривал в липкую, душную ночь. Все было правдой. Я слышал те несомненные звуки, которыми сопровождается человеческий коитус. Скрип, сопение, гортанные приглушенные стоны и, наконец, ее — я впивался зубами в подушку — ее перекрученный финальный вопль. На третью, кажется, ночь — три с короткими перерывами совокупления — я тихо прокрался на кухню и, выбрав самый большой нож, по лунным пятнам прошел в их спальню. Она спала, раскрыв рот. Локоть заведен за голову. Грудь стекла набок. От него осталась лишь эта поредевшая белесая макушка. Почему-то ее грудь, жалкая, растекшаяся, ослабшая, и успокоила меня. Попадись мне в тот момент иная деталь — ее рука у него под одеялом, там, где она и любила ее держать, или что-нибудь в этом роде, безумие мое получило бы толчок. Но они спали, как солдаты после сражения, и я вышел. Меня подташнивало от запаха. Рыжий кот Кики отправился вместе со мною.



Мы жили где-то недалеко от Касиса. Дом, увитый бугенвиллеей, бассейн с трамплином, плантации роз, виноградник. Ужинали, человек двадцать, под звездами, за длинным, уставленным бутылками столом. Там была черная йогиня из Нью-Йорка с целым выводком (семь) детей. Курчавая интеллектуалка и ее курчавый любовник. Весельчак турок и его длинноногая подружка. Еще несколько пар и несколько спаренных одиночек. Лидия. Жена хозяина — шиза, красавица, с огнем меж ног: можно было видеть, как ей не сиделось, как ее выкручивало и вытягивало. Еще какие-то люди. Сам хозяин — седой антикварщик. Я рассказал ему историю со слоником в день приезда. Теперь он собирался ехать в Союз. Повидать Никиту. ...Палило солнце. Ночью все звенело от цикад. На хозяйском «порше» до моря мы долетали за полчаса. Все занимались одним и тем же. Спаривались. Вечером пели. Утром, все нагишом, загорали, купались в бассейне. Турок, одной рукой придерживая изряднейший член, прыгал с трамплина. Хозяйка, сидя в тени, мазала ноги депилятором. Лидия уходила в верхние комнаты со своим старым приятелем Алексеем. Алексей был французом — то ли Жаном, то ли Жаком, — но прекрасно говорил по-русски. Польская панночка плескалась вместе со мною в голубой воде. Солнце и каждодневное плаванье делали свое дело. Я оживал. Лазурный берег напоминал мне Крым, а Крым был моим домом. Появились первые конкретные детали, я стал делать наброски для статьи «Насморк свободы». Пот капал на страницы детской тетрадки, буквы плыли. «Моя память спутана, — писал я. — Волосы после любви. Шнурки перед побегом. Ночная глыба прошлого иссверлена огоньками сигарет. События давних дней почтовыми марками наклеены как попало. Инспекция проводится впопыхах. Так в перевернутой после обыска квартире ищут спички, чтобы заварить чай... Покидая страну, прощаясь с жизнью, протискиваясь сквозь inferнальный ноль таможи, ничего не возьмешь с собою — ни писем, ни фото-

графии, на которой сидишь в раззеванном счастье, глядя мимо объектива на чьи-то летящие волосы. Мать-мачеха выпускает тебя погулять голым. Слово «родина» впервые звучит угрозой... Давно ли, в цветущих горах, обрывающихся над сморщенной кожей моря, ты говорил себе: стану ли разменивать золотой памяти на кислую медь воспоминаний?.. Старая записная книжка, не отобранная лейтенантом в аэропорту, — вот мое прошлое. Я смотрю на тайнопись телефонных цифр, на строенные инициалы. Любитель жирной пригородной сирени, бабник, шахматный гений, друг стольких лет — усох до иероглифа, до ржавого звука. Так и жить нам теперь с тобою — под каблучком Мнемозины... Сквознячки свободы. Мелкие юркие бесы. Я схватил от этого насморк. Мои глаза слезятся. Я раздираю их в липком сне. Почему-чу-му-у ты уехал — бубнит кто-то, и я слышу, как по пустой улице медленно лязгает гусеницами помоечный танк. Охают переворачиваемые баки. С закрытыми ресницами я вижу, как лиловый малый в старых перчатках на пенящейся молодым солнцем розовой улице разглядывает вытащенные из глотки машины драные джинсы. Секунду он думает и откладывает их в сторону. Казнь не состоялась. У меня клаустрофобия, отвечаю я, достаточно и того, что мы заперты во времени, время влито в пространство и все это размешано кривой ложкой судьбы. Значит, у тех, других, канючит сходящий на нет голос, — агорафобия? Какое мне дело? Какое мне, право, дело? У них полны закрома, шкатулка Кремля до самой звездочки набита такой мрачной чепухой, таким застарелым бредом, что если бы я мог проснуться хоть на мгновение, то тотчас бы всех наградил орденом имени Андре Бретона, медалью Сальвадора Дали и каждому в зубы дал бы по путевке в санаторий Иеронима Босха... Высокооктановый бензин, пряности из пиццерии, пузырьки духов — вот кокаин переселенца. Волны запахов обвивают тебя со всех сторон, и, прежде чем ухо начинает впитывать музыку чужой речи, прежде чем глаз свыкнется с новой скоростью новых красок, нос

уже пьянствует отдельно от всех, грозит аллергией, систематизирует и разлагает и где-нибудь в подвальчике Шатле выдает: четвертый год после войны, угол Цветного бульвара и Самотеки, бабка, торгующая свежими теплыми ирисками — все тот же запах жженого сахара, свежей карамели. Ах, чертово разбомбленное детство, трубы ограбленных «дугласов» за бараками железной дороги, осколки воспоминаний, прочно засевшие под кожей дней... В том-то и фокус, что, начиная жить с нуля, начинаешь новое взрослое детство, где запахи, краски, жесты и гримасы пытаются лечь сверху на затвердевший и уже не белый пласт, рождая иногда чудовищные, иногда трогательные аппликации. Взрослый ребенок, наивный старик, ты живешь тем же, чем и в пять лет,— первоэмоциями».



Юг был уловкой. Способом от меня избавиться. Вряд ли она это сформулировала для себя самой. Просто парижская квартира была на грани взрыва. Мы почти не разговаривали. Так, несколько пустых фраз в день. В то же время я понимал, что могу получить ее назад: не сразу, а через два месяца, полгода. Нужно было только ожить, согласиться с происходящим, перестать пожирать ее волчьим взглядом.

Для всех остальных мы были парой. Как бы — парой. Она спала в одной со мною комнате. На разных кроватях. Ночью луна стояла неподвижно в огромном окне. Серебряный мех виноградников стлался до самых холмов. Она спала голая, спала беспокойно, вертясь, ерзая, бормоча что-то неразборчивое, мучаясь сама собою. Лишь однажды она пришла в мою постель — накануне отъезда, ее отъезда. Она была пьяна. Вдребезги пьяна. Я никогда не видел ее такой. Она упала, а не легла рядом. Ее ноги были раздвинуты. Потянула меня к себе. Она вся текла. Как телка. Это было наводнение. Я обнял ее — с нежностью и отвращением. И это была не она. Тяжелая, горячая, чужая.

Я ничего не мог. Тогда с силой, которой я за нею не подразумевал, ухватив мою голову за волосы, она ткнула ее — *pars pro toto*<sup>1</sup> — себе меж ног, и, попав лицом в это месиво раздавленной, истекающей соком плоти, я понял, что она только что сделала это с кем-то другим: Жаном, Жаком, Алексеем, хозяином, турком или со всеми вместе. Я с трудом освободился от этой вдавливающей руки — она спала, похрапывая, с лужей на простыне, со слипшимися волосами на лбу. Это был конец.



Она уехала после завтрака. Польская панночка переместилась с бортика бассейна в мою комнату. «*Mais tu es fou*»<sup>2</sup> — была ее первая фраза через час. Бледная, со слабой улыбкой, она равномерно икала. «Я тебе пришло Мону, — пыталась приподняться она. — Это как раз для нее». Мона, гостеприимнейшая Мона, явилась с бутылкой шампанского, с тарелкой поздней черешни. «Я сказала Пьеру, что иду к тебе. Он возится с мушкетом. Купил у кого-то в Борм-де-Мимоза...»

В ней была порода, в этой худой кобылице. В тот длинный, незаметно в вечер соскользнувший полдень, она получила все, что предназначалось Лидии, всю мою ярость, всю клокочущую нежность. Сидя ночью под широко распахнутым небом, невпопад отвечая на вопросы антикварщика о петровском фарфоре, еще менее удачно — на вопросы нью-йоркской йогини о советских мусульманах, видя на противоположном конце стола посерьезневшее лицо Моны и все еще глупое польской дивы, я в первый раз за долгие месяцы чувствовал себя свободно. Я был пуст, но без сожаления. Я был отстранен, но без раздваивания. Я был один, но не был одинок. Мы расходились поздно. Кто-то нырнул в бассейн в платье и с бокалом в руке. Голые загорелые

<sup>1</sup> Часть вместо целого (*лат.*).

<sup>2</sup> Но ты сумасшедший (*франц.*).

спины женщин куда-то шли под штоковыми розами, вдоль кустов жасмина, по глазированной луною дороге, ведущей к виноградникам. Мона попросила у мужа ключи «порша». Он не возражал. Кивнув нам на прощанье, он взял садовую лампу и отправился к двери йогини.

Мы где-то были той ночью. То ли у ворот правительственной дачи Жискара, то ли на верхней площади средневекового, террасами над морем стоящего, городка. Одно я помню точно: пожар возле Сен-Рафаэля — тревожное зарево и тени самолетов, сбрасывающих воду над горящим сосняком. «Порш» делал длинную туннельную дыру в ночи; передвижение было выстрелом. Мона спросила мой парижский телефон. У меня его не было. Она дала мне свой. Я так ей и не позвонил, а под Новый год узнал, что на этом же «порше» она сверзлась с обрыва, здесь же, на этой дороге, между Сен-Рафаэлем и Сен-Тропе, ночью, после дождя. Об этом мне рассказал ее муж. Мы сидели в «Бильбоке», куда он меня пригласил, отличное трио наяривало «Ночь в Тунизии» и феллиниевская стопудовая Милиция Батерфилд, скорее задрапированная, чем одетая, рычала так, что тряслись стаканы на подносе скользящего по лестнице официанта. Я не знал, что ему ответить. Она явно просилась если не туда, то прочь отсюда, а он был сед и до смерти Моны.



Как скоро я забыл Москву! Как скоро выучил кривой язык парижских улочек... Я где-то жил — там неделю, здесь ночь. Я ходил в «Бон-Марше» в часы, когда на третьем этаже бойкая бабенка варила, рекламы ради, отличный суп в новой скороварке. Пять-шесть клошаров, какая-нибудь зазевавшаяся старушенция и явный внештатник левой газетенки следили за упоительным процессом сохранения витаминов. К сожалению, это был один и тот же, переморковленный, на бульонных кубиках, супец. Впрочем, грех жаловаться. Я бы-

вал в «Самаритене»<sup>1</sup> перед серьезными рандеву — там, в районе «шанелей» и «ланвен», можно было изрядно окропиться бесплатным одеколоном. Там же, в «Самаритене», на крыше под оранжевым зонтиком я дописал «Насморк свободы»: «Недопитое пиво, придавленные томиком Йитса страницы, облака и серо-розовый равнодушный город. ...Это город, где жить нельзя, если ты несчастлив... Нет, если тебе плохо, а набережные все же золотят душу, а закат льется мирно и успокаивающе сквозь обглоданные временем кости Нотр-Дам, значит, все еще не так плохо, значит, ожог в душе не так страшен и скоро безобразные струпья опадут, обнажив порозовевшую, но спасшуюся ткань существования... Но если тошнит пеплом и пропала надежда, что случайный ветер, неожиданное чудо или точно адресованная помощь освободят от этого серого, тлеющего, уже равнодушного к боли ожога, тогда здесь жить невмочь. Тогда нужно бежать, завернувшись в плащ, спрятав голову под мышку, молотя промокшими сапогами по мостовым. В любом направлении — лишь бы прочь! Этот город — огромный усилитель, он только напрягает, доводит до предела чувства. И Париж разворачивает их в симфонию, выкручивает ручки громкости до суставного хруста. Как вопит тогда его хваленая красота, как вонзаются в душу иглы соборов, как мерзкок шелест падающих листьев платанов, как нескончаем, ни с чем на свете не сравним этот зависший, закисший пронзительный дождичек, как мутна рыжая вода Сены, как безразлична нарочито счастливая толпа, бесконечно текущая мимо твоего остывшего кофе...» Мне попадались в те дни юродивые бабки, завернутые в пластиковые мешки с изяществом, которому позавидовал бы Христо, одноногие попрошайки, псориазные красотки, изголодавшиеся по мордобойу убийцы. Меня преследовали маленькие желтые плакатики всяческих обществ, желающих принять участие в самоубийстве. Мой слух был изрезан и кровоточил от рева полицейских и санитарных машин, а все перекрестки Монпарнасов, Сен-

---

<sup>1</sup> Универсальный магазин в центре Парижа.

Жерменов, Распаев и авеню Обсерватории переходили, сбивая палкой невидимые поганки, бесчисленные слепые горбуны... Вечерами Париж не пылает костром, а тихо тлеет в лучах заката, косо бьющих с Монмартра. Розовая Сакре-Кёр, теряя вес, под рев гитар идет на взлет. Дешевые украшения ночи, расплавленные духовой, оплывают, теряя резкость. Вечный рубиновый крестик самолета застрял в непогасшем облаке, бесильный пробиться к океану. Первые опавшие листья на острове Сен-Луи танцуют мышинные хороводы в ленивом ночном сквозняке. Над набережной миллионеров восходит луна. И она оплыла огарком. Ни отношения людей, ни приметы мира не могут уплотниться нынче до трезвой конкретности. В Чреве хозяин крошечной лавочки укладывает спать приехавших издалека друзей прямо на пухлых подушках витрины. Дрожат юбки и рубашки на вешалках, китайская чашка вместе с блюдечком ползет к обрыву полки — в магазине свершается дорожная любовь. ...Днем я видел голых дам в меховом магазине на улице Лафайет. Их шубы унесли, их меха спрятали от прожорливых маленьких бабочек. Они стояли, растопырив цветущие пальцы, их груди и ноги лишь до половины были вызолочены краской — экономия соблазна... В три утра на Конкорд, отлепившись от потных джинсов, я пронырнул насквозь ледяную чашу фонтана. Незнакомая особь неизвестного пола на всех языках сразу приветствовала мое появление на другом берегу. «Ты сумасшедший», — сказала оно. Толстая самокрутка марихуаны напомнила мне трубу Диззи Гиллеспи... Дома в лунной луже на полу валялась исчерканная рукопись. Духота давила потной грудью. Вода в ванной училась считать до тысячи...



Я пузырился идеями. Я то придумывал пластиковые книги для чтения в ванной — незамысловатый сюжет, крупный шрифт, развеселые иллюстрации,— то выда-



вал поток рекламных пьесок, взрывообразных одноминуток. Я даже послал в фирму, выпускающую дверные глазки, сценарий по Достоевскому. Великий писатель, утопая в бороде, при свете свечи гнет спину над манускриптом. Герой-убийца с топором и горящими глазами поднимается по лестнице. Стук в дверь жертвы. Но старуха ростовщица, заглянув в дверной глазок и разглядев молодого нигилиста, дверь не открывает, и бедный Достоевский сидит в обалдении над незаконченной рукописью. Из фирмы пришел в свое время ответ (на адрес синеволосой филиппинки, допуск к телу которой разрешался чрезвычайно редко); директор фирмы писал, что сюжет «Преступления и наказания» вряд ли известен рядовому покупателю французских дверных глазков.



Ночами, рассматривая уютные витрины мебельных магазинов, я придумывал способ забраться внутрь. Это ли не решение проблемы, кожаный диван в джунглях веерных пальм, под фальшивым Утрилло? Я спал днем в Бобуре<sup>1</sup>, в библиотеке, за полкой с Толстым и Солженицыным. Пол был выстелен бобриком. В огромном зале было тихо. И пока на улице шелестел гнилой дождик, я кемарил под осторожное перешептывание лилового нигера и задастой блондинки. Рядом журчал лингафонный класс, где и я отоварился несколькими уроками. Я не рисковал остаться здесь на ночь, мысль быть запертым не прельщала меня. И все же однажды я продрал глаза в полной темноте. Я долго вертелся на моей выдавшей виды шубе и в итоге второй раз проснулся уже от шума пылесоса. До открытия центра было еще часа два, и мне пришлось поиграть в прятки со здоровым олухом, впряженным в пылепожиратель. Ночь не пугала меня, я уже недурно знал жизнь набе-

<sup>1</sup> Культурный центр.

режных, а под мостами, хоть и несло мочой, все же было действительно сухо. Однако я еще раз приперся в Бобур перед самым закрытием. И был посрамлен — за польским стендом, рядом с моим, лежал, укутавшись в плед, краснорожий длинноногий бородач; на полу стояла ополовиненная бутылка красного, лежал раскрытый багет и круг камамбера. К верхней пуговице штормовки поляка был прицеплен фонарик... Бездомных ночей было не так уж много. В одну из них я открыл для себя крошечное теплое кафе в одном из проулков Чрева. Здоровые усачи мясники гянули красное вино и крыли реформы правительства. Кафе открывалось в четыре утра и закрывалось после ланча. Я встретил здесь Брандо мутным грязным утром. Он был все с тем же усталым прищуром, с хрипотцой в голосе. Шляпа его дамы занимала ровно треть помещения. Но настоящим Сезамом тех дней был подземный супермаркет в квартале Часов. Сезам работал двадцать четыре часа в сутки. Все клошары, все шизы города, маргиналы и проголодавшиеся педрилы собирались здесь под утро. Наплевав на телекамеры, обитатели ступенек Святого Евстахия вскрывали дорогие коробки английских бисквитов и, давясь, пожирали содержимое. Дама лет шестидесяти, за которой числилась решетка метро на перекрестке Риволи и улицы Лувр, хромая мимо стенда с шоколадом, аннексировала здоровенную плитку «Золотого Берега». В закутке между медом и вареньями однажды ночью я чуть не наступил на вторичные признаки средних лет джентльмена, который пил, лежа, из стофранковой бутылки «шато-лафита».

Время маленьких кофейных чашек, время ветра, лижущегося, как щенок, время вялых от усталости секретов. Знаете ли вы, обратился я к парижанам, струющимся мимо моего столика, что вы двигаетесь поинному? Ваша обычная дневная, вечерняя, замаянная или свежая пластика движений так же отличается от нашей, как пальто, сшитое фабрикой имени Диалектического материализма, от обычного пиджачка, купленного в захудалом «Монтрой?» Тоталитаризм — веселая

штука, некий двигательный паралич, ощущение рамок, тяжести, ограничителей. Самоцензура. Глядите: вот они переваливаются в синем свете вечерней кинохроники по коврам Георгиевского зала, а вот и мы — такие же тюлени — дружно ковыляем через Красную площадь в полиомиелите верноподданничества. Попробуй разреши рукам делать, что им хочется, они такого натворят! А ногам, скажем, идти туда, куда тянет, — ай-ай! — как бы из этого чего худого не вышло. И пульсирует скорченная внутренняя схема, звенят звоночки, кипит в крови адреналин, и мы расходимся по домам, советские куклы, походкой, от которой сходят с ума психиатры. Не здесь ли загадка нашего родного спорта, гипертрофированных мышц, преодоления самоторможения по разрешению сверху?.. Позднее, в побежавших наперегонки денечках, в мутном бульоне подземных станций, я за сто шагов мог определить собрата по счастливому прошлому,двигающегося по платформе с изяществом вытщенного на поверхность краба. Думаете, я не пробовал ходить так, как та вечно весенняя студентка на углу улицы Суфло и Бульмиша? Я тут же чувствовал себя подкуренной тварью, терял мозжечок, облакачивался на мирных старух, наступал на хвосты их собак или врезался в тележки с мороженым. О нет, видимо, мне это не суждено — шуршание парусов, свободный ток воздуха возле висков; не суждено забыть про углы локтей и колен, освободиться от зрячей спины и десяти пальцев, вцепившихся в шею. О, вечный глаз с пластмассовой слезой, глядящий из прошлого... Я весь обмирал от зависти, сидя на скамейке в Люксембургском саду, глядя, как не идут, а струятся мимо белые и черные, волосатые и лысые, курчавые и бородатые, молодые и кряхтящие. Они текли, их несло ветром, а если они спотыкались, значит, в воздухе образовалось сгущение, небольшой тромб из скопившихся поцелуев... Самый последний клошар, икающий так, что голову его подбрасывало, полз по отвесной, ошпаренной до волдырей августовским солнцем улице Монмартра с такой уродливой грацией, что мне хотелось пустить вокруг него лебединый выводок балери-

нок, а сверху в прыжке повесить улыбающегося Барышникова...

Статья наконец вышла. История моей жизни стала вдруг напоминать мне историю моего героя. Человек улицы, я, кажется, получал контракт на книгу, и мое бродяжничество кончалось.

«В будние дни,— это был последний пассаж «Насморка свободы»,— нет ничего лучше на свете пустого огромного парка Сен-Клу. Толстый ковер ржавых листьев съедает все звуки; небо сочится такой густой синевой, что не приведи Господь когда-нибудь провалиться в такого же цвета глаза; взмокший фотограф и две манекенщицы в пелеринках, шляпках, перчатках, вуалетках, с зонтиками, сумочками, сигаретами в мундштуках, с чисто вымытым пуделем цвета сливочного мороженого, со скучающим ассистентом (фляжка скотча в руке) — все это танцует на маленькой, полной золота поляне, с косыми дорогостоящими лучами позднего солнца, бьющего сквозь облысевшие кроны. Город виден внизу, серое стадо крыш, пылающие румянцем окна. На пушке телескопа кемарит ворона, изредка давя косяка. И кроме полицейского в воротах, полоумной старухи на пеньке, фотографа с друзьями — в парке ни души. Идеальное место для любви или убийства». Точка. Копирайт. Дата.

В Сен-Клу, судя по всхлипу в крови, мне все еще хотелось затащить Лидию.



Кло позвала меня к телефону. Голос был незнакомым, с восточным акцентом. «Я от вашего приятеля из Москвы,— сказал он,— кое-что привез... Подъезжайте побыстрее». У нас оставалось два билета на метро, пачка сигарет и — ни сантима. Кло ходила нечесаная, кое-как одетая. «Я скоро вернусь»,— сказал я от дверей. «Ага...» — ответила она с безразличием, которое меня уже давно пугало. Я пулей проскочил мимо двери консьержки — баранина, чеснок, телевизор,— за

квартиру было не плачено. Только идиот вроде меня мог с первых же денег снять шестикомнатную квартиру на набережной. Плата сжирала все деньги. На жизнь оставалась чепуха. И это учитывая, что Кло вовсе не была из Армии спасения и выкладывала свою половину.

Шел дождь, бесконечный, занудный — зубная боль, а не дождь. Я все еще сравнивал — этот дождь — с тем, в России, эти дома — с теми, хлеб, воду в реке, качество заката, носы алкашей — сравнивал все подряд. До метро было пять минут. До грязного, обшарпанного метро, которое было в сто раз честнее и милее сердцу, чем мрамор московских подземелий. До меня недавно дошло, что советское метро суть продолжение мавзолея: подземный храм, царство мертвых. В нишах там живут пустые постаменты, все еще не занятые бюстами партийных богов; мозаика рассказывает о жизни главного покойника, и от его же индивидуального, электронной нашпигованного храма разливается по подземным переходам и туннелям леденящая стерильность, мрачная поднадзорность, чувство вины, что ты еще жив... Как и мавзолей, как и режим, метро занимается рекламой Аида: «Наш Аид самый глубокий в мире!», «Помни, что, плюясь в Лимбе, ты, быть может, плюешь в вечность!», «Сделаем десятый круг самым образцовым в Инферно!». Поэтому я и полюбил парижское метро, дыру, мутный воздух бесконечных коридоров. За невранье. За отсутствие показухи. За честность намерений и соответствие средств и способа выражения. Все эти месяцы в Париже, за исключением лишнего всякого юмора задвига первых недель, я не переставал радоваться неподтасованной действительности: облезлым фасадам Маре, уличным базарам, попрошайкам с испитыми рожами и лощеным хмырям, болтающим по телефону в кабинках серебряных «ягуаров». Все — и собачье дерьмо и рододендроны — было честным. Продавец в лавочке на углу честно пытался меня наколоть на три франка, пользуясь эмбрионным состоянием моего французского. Двое фликов честнейшим образом пытались мне втолковать, пользуясь же-

ваной картой города, где я живу. Фашист в кафе честнейшим образом занимался оскорблением соседа и лил ему на пиджак остывший кофе. Ему честно набили морду. Они, думал я, еще не знают, какие они счастливые. Их еще не разделили на пятилетки, не вычли из них квадратный корень буржуазных предрасудков, не взяли их в скобки передовой морали. Они не знают, что такое быть мутантом. Я чувствовал, что нас не просто обокрали там, дома. Нас наглым образом поимели во все возможные места и заставили клясться, что мы счастливы. Публично клясться. Меня спрашивают: тебе не хочется назад? Боже! Я с ужасом думаю об этом. Мне снятся, как и всем эмигрантам, знаменитые сны: я попал куда-нибудь на Арбат, визы нет, паспорта нет, ничего нет, ты снова заперт и приговорен — просыпаешься в холодном поту, и лишь голозаядый гений свободы в небесах над Бастилией (в окне светает) успокаивает: я в Париже... Недалеко от нашего дома есть антикварная лавочка. Называется она «Ностальгия». Золото на темно-зеленом. Единственная ностальгия, известная мне в этом городе.



Дипломат был от Никиты. Мы не переговорили и минуты. «Я должен бежать,— сказал он,— я здесь транзитом. Это вам». И он подтолкнул ко мне здоровенный чемодан. У меня не было денег пригласить посланца доброй воли на стаканчик. «Я правда не могу,— застегивался он.— Может быть, в другой раз. Я надеюсь, что ничего не испортилось».— «А?» — переспросил я. «Икра,— он протягивал мне почти девичью руку,— здесь двадцать килограммов икры. Никита сказал, у вас проблемы...»

Я был Крез! Я пер здоровенный сундук по подземным переходам и кряхтел: мне бы на такси и домой... Билет оказался негодным, пришлось, протолкнув чемодан, перепрыгивать вертушку. Я взмок, пока дотащился до дома. Кло валялась в постели, трепалась по

телефону. Проигрыватель наяривал рэгги. «Эй! — позвал я ее.— Ты когда-нибудь ела икру ложкой?» Она пришла. В одном сапоге, словно собиралась сбежать, да передумала. «Русский юмор?» Я взломал чемодан — знакомые синие двухкилограммовые банки, в газету завернутые коробки кубинских сигар. Ах, Никитка... Я убрал в холодильник девять — там было пусто, а десятую поставил на стол. Открывать икру — наука. Срезал резиновую ленту, потянул крышку. После четырех столовых ложек она начала канючить. Слава Богу! Канючила она всегда по-французски, можно было не вникать... «Я есть хочу! — это я разобрал.— У нас даже хлеба нет!»... Мне и самому пустая икра больше не лезла в глотку. Я взял с мойки чашку, получится грамм сто, с верхом нагрузил ее икрой, прихватил куртку. Хозяин углового магазина улыбался — мы всегда шутили друг с другом, он немного знал английский. «Махнемся?» — сказал я, протягивая ему чашку. «Qu'est ce que c'est ça?»<sup>1</sup> — он понюхал. «Икра», — я гордо улыбался... Я получил масло и хлеб, взял две бутылки «мускаде», молоко, джем и кофе на утро. Я помахал ему на прощанье: *bonne soignée*<sup>2</sup>, старикан...

Дома Кло, разрезав багет, намазала маслом и выложила с полкило икры. Мы пили вино и ржали как идиоты. Чек должен был прийти послезавтра. «А послезавтра,— сказала она с полным ртом,— суббота...»



Я пытался продать икру, но русские рестораны давали такую мизерную цену, что я быстро отказался от своей идеи. Было воскресенье. По бульвару Генриха IV, пыльная золотом труб оркестра, шагом шла кавалерия. Кло жаловалась кому-то по телефону: «В доме шаром покати. Откроешь холодильник, а там, кроме икры,—

<sup>1</sup> Что это такое? (франц.)

<sup>2</sup> Добрый вечер (франц.).

ничего!..» Она была в свитере, Кло, и носках. Больше на ней ничего не было. Мы провели все утро и большую часть дня в постели. Ее волосы еще были влажны от пота. Она была хороша, Кло, вот если бы не строптивая... Все равно возможности удержаться с ней или с кем-то другим не было. Словно одна-единственная Жена раскололась на тысячи кусков. В каждой из нынешних — была лишь часть. Попыткой моей собрать ее воедино, да и не моей, быть может, была Лидия. Теперь, когда мы были на равных, когда мне больше ничто не застилало глаза, она меня не интересовала. Не потому, что я увидел ее другою, нет! Потому, что то место, где она была, было выжжено. Я встретил за эти месяцы целую вереницу взъерошенных вздорных феминисток навыворот — холодноватых в последний момент, с трудом добывающих свой нелегкий мед. Попадались тактичные стареющие неудачницы — плохо выбранное время для развода, опустевшие враз дома, страх, что их больше не выбирают, неловкие попытки выбирать самим. Какого дьявола! — иногда взрывался я, нас зажала меж ног ненасытная ловушка секса? Все проваливается в нее, все честолюбивые помыслы, все мускулистые подвиги, отчаянные мечты. Она лишь с виду податливая, дышащая, влажная. На самом деле она перетирает камни, в ее складках хрустят, лопаясь, сейфы, исчезают не сплюснутые жизнью таланты. Она гасит все чрезмерные порывы мужчины. Словно, если бы разрешить мужскому началу неостановимо, неослабеваемо нагнетать и нагнетать в мир свою силу,— произойдет катастрофа... Она и есть наша прижизненная тюрьма: всегда распахнутая, куда мы возвращаемся сами.



Кло была одним из осколков. В редкие минуты она пыталась быть для меня целым. Но ее не хватало. Не хватало сил удержать напряжение. Без травы, без вина



она могла продержаться не больше двух дней. В ней была запрограммирована конечная измена, как в военных спутниках — финальное саморазрушение. Я наблюдал, как уплотнение наших мелких невзгод (деньги! деньги! и деньги!..) заставляло ее пошире распахивать всегда заспанные глаза и нашаривать сквозь стопроцентно соматический туман недомоганий нового мужчину. Своего рода переодевание в новые одежды, когда от старых начинается хандра.

Ближе к вечеру я позвонил знакомым американцам. «Хелло,— сказал я,— это Тим. Как насчет шампанского с икрой?» — «Гениально,— сказала трубка,— сумасшедшие русские...» — «Конечно!» — «Отлично,— я подмигнул Кло.— В восемь? Устраивает?» — «Заметано. Что-нибудь прихватить?» — «Ээээ,— протянул я,— было бы неплохо... Мясо... сыр, вино, хлеб, салат»,— я выдал им полный список...

Целый месяц мы продержались на икре. Через дом прошла целая толпа журналистов, музыкантов, бездельников, фотографов, переводчиков, толкателей наркотиков, хиппарей, издателей, авторов песен про тесто, чьих-то мужей, социологов, психиатров... Я отключал телефон, по которому наголо стриженная негритянка пыталась дозвониться в Лос-Анджелес, я заставал на кухне двух отполированных солнцем блондинов за диваном кокаина, я пытался объяснить директору свободолобивой популярной газеты, что я не диссидент, что я сам по себе, что, скорее всего, я — китаец, и объяснить ему, «что же там происходит», за бутылкой скотча не могу. Мне обрыдли эти идиотские, плоские и в то же время заносчивые вопросы. Столетняя дама, приятельница Блез Сандрара<sup>1</sup>, интересовалась, брать ли ей с собою «спрингфилд» — она собиралась повторить транссибирское путешествие поэта. Служащий торговой фирмы с филиалом в Москве расспрашивал меня с напускным равнодушием об отношении закона

---

<sup>1</sup> Сандрар, Блез (наст. имя Фредерик Луи Заузер) (1887—1961) — французский писатель.

к гомосексуальной практике под звездами Кремля. Каждый знал слова «борщ», «на здоровье» и «я тебе лублу». На нашей последней вечеринке было человек двести — вчетверо складывающиеся двери комнат были раскрыты, толпа танцующих отражалась в зеркалах, рок-группа, только что выпустившая диск в Лондоне, нярявивала до самого утра. В тот вечер ко мне прилип и не отклеивался невысокий рыжеватый чех из эмигрантов, неистощимое любопытство которого навело меня на мысль о ГБ. Совсем недавно я отослал паспорт в Москву, дал интервью нью-йоркской «Таймс» и «Монд», где, может быть, с излишней яростью про- ставил некоторые акценты. В то же время молодой человек из DSI<sup>1</sup>, занимавшийся моей проблемой, в более чем короткой беседе посоветовал мне не выпендриваться и вести себя разумно. «У нас не так много возможностей защищать всех вас здесь. Мы ограничены в средствах». Эмиграция захлебывалась в кэгэбмании, каждый не отсидевший был на подозрении, каждый не согласный с настроением группы был агент, а про одного вполне мирного, от дрязг уставшего старикана мне было сказано: «То, что он сидел, еще ни о чем не говорит. Он слишком хорошо сидел...» Конечно, все это работало на руку только одной организации.



Чеха я послал в итоге куда подальше. Он улыбнулся и слинял. Но моя подозрительность, без спроса, кормилась хоть чем-то, но каждый день. То это был странный, во всех языках сразу спотыкающийся звонок. То тускляя алжирка в старом пальто с платком на голове, попавшаяся мне на окраине, куда я поехал знакомиться с переводчицей, мелькнувшая на обратном пути в метро и пошедшая, не скрываясь, по улице, до моего подъезда. То это было приглашение никому не

---

<sup>1</sup> Французская контрразведка.

известной организации выступить у них — адрес пригородной резиденции — на вечере в защиту австралийских кенгуру, лох-несского чудовища или права на самоубийство. В Люксембургском саду, где я играл в теннис, между плохо организованным взрывом подачи и броском к сетке я успевал перехватить торчащий из воротника тяжелой шубы стопроцентно славянский взгляд, подмороженный расчетом. Помню, как один из таких, «вовремя замеченных», персонажей поднял мой вылетевший за ограду лимонный мяч и с отозвавшейся горячим переплеском в загровке ухмылкой перебросил его обратно. У меня было ощущение, что я держу в левой руке злую подделку — что это все рассчитано и от моего удара пушистый комок превратится в огненный клеточек... Я пытался найти баланс между фантазией сбежавшего из тюрьмы мечтателя и реальным количеством в будни влитого активированного зла. Киса, прикативший в Париж меня проведать, располневший, розовощекий, непьющий Киса подтверждал мои опасения. «Нас пасут, приятель, и без всяких сомнений. Среди смывшихся правдами и неправдами, конечно же, есть твердый процент трансплантатов. Я думаю, что основная цель эмиграции, с советской стороны, именно упаковать свой железный процент в отбросах ненужных государству охламонов, вроде тебя. Дать им шанс вратии в общество, занять если не ключевые места, то хотя бы сферы влияния. Война давным-давно идет; но акции размыты, замаскированы, обставлены ложными ходами для потехи общественного мнения...» Мы сидели все в том же Люксембургском саду; дети в ожидании билета на теннис выстраивали поперек игрового поля железные стулья и перебрасывались через них. Кортны были публичные, но надменные бугаи из Сената имели право резервировать время. Работали тайные привилегии: хорошие отношения с мерзнувшим в каменной будке продавцом билетов, незначительная переплата — одним словом, я видел родную советскую систему в действии.

Когда ближе к весне Киса вдруг исчез из своей нью-

йоркской квартиры, я вспомнил наш короткий разговор. Он был хорошо информирован, Киса; судя по всему, он числился за военным департаментом и иллюзий не имел. Его исчезновение отозвалось удивленным эхом в нескольких газетах, но тут же затихло. Меня навестил корректный молодой человек из Вашингтона, его вопросник был составлен со скучной дотошностью, и, насколько я понял, он занимался не розыском про света в напрочь затемненном Кисином деле, а последней страницей его досье. Правом поставить точку.



Мои отношения с русской колонией ограничивались случайными встречами на улице и неизбежными — в русскоязычных редакциях. К ужасу своему, я обнаружил, что страницы «Станции “Кноль”» продолжают обростать плотью. Аэропорт в Бурже — не совпадал, парижские улицы — лишь частично, но дух третьей волны эмиграции, увы, был угадан. Бывшие жертвы цензуры становились новыми цензорами, бывшие борцы за свободу — боссами этой свободы, а проповеди о терпимости кончились мордобоем и хамством. В структуре западной русской прессы проглядывала до тошноты знакомая однопартийность, запрет и умалчивание были правилом, и было в пору создать свой парижский самиздат. Тот, кто был аутсайдером в Союзе, оставался за бортом и здесь. Люди жили на политический капитал московских акций десятилетней давности. Деньги и внимание прессы, отсутствие потенциальной критики меняло их на корню. Комплекс пророка процветал. Каждый писал свой апокалипсис и, одевшись и обставившись, крыл гнилой Запад. Дошло до того, что кое-кто стал поругивать «...ад западного супермаркета...». Все это было не смешно. Языков никто не учил, новости с опозданием на неделю приходили в интерпретации кривобокой, от пафоса задыхающейся «Парижской правды». Оправданная дома,

в Союзе, асоциальность не переходила в свою противоположность. Меньшинство, бывшее когда-то подпольной элитой, в нынешнее большинство не вливалось. Все было заморожено на уровне группового подсоветского (несмотря на антисоветскость) сознания. Лишь минус менялся на плюс и вместо «Атас! Легавый...» шептали «Смотри, флик...».

Самым потрясающим фактом вращаясь в западную жизнь был переход бывших антисоветчиков на просоветские позиции. Многие действительно лучше жили в Москве — кусок пирога, которым им затыкали рот, казался теперь амброзией богов. Идеализм большинства, споры о месте русского народа в истории, полуночный захлеб стихами кончился вопросами — есть ли у тебя машина? В престижном ли квартале города ты живешь? Престиж! Каждый приехавший, прежде чем снимал угол, заводил себе роскошную визитную карточку... Унижение прошлого не смывал ветер с океана. Спорадические издания частенько выходили под названием «Я» или «От Я до Я».



Кло уезжала. Она звала меня с собою, в Бразилию. Перевод книги был почти что закончен, последняя глава, заново переписанная, становилась первой. Нужно было прощаться с огромной, ставшей еще больше теперь, когда вещи были сложены, квартирой. Кло надеялась сделать свой миллион на кокаине. Она знала нужных людей, знала их повадки, знала, как они продают клиентов полиции, получая товар назад. Это была почти беспроегрышная игра. Худенькая, растрепанная Кло собиралась их всех перехитрить. Я пытался отговорить ее. Семь лет тюрьмы в жарком климате засушат ее, как бабочку на растяжках. Она меня не слышала. Было решено встретиться в мае, в Дакаре. Маршрут «конкорда» звучал как сон: Париж — Дакар — Рио... Она катапультировалась первой. Я нашел

дешевую студию на Сен-Жорж: корабельные окна, высококачественная тишина, польская консержка. Название книги наконец вылупилось — «Станция “Кноль”» была жирно перечеркнута и строчка из Иосифа Бродского «ниоткуда с любовью... надцатого мартабря...» была вписана на титульный лист. Консержка обещала поливать цветы пана писателя; веселый толстый фотограф колесом прокатился со мною через полгорода, скармливая жужжащей «лейке» мое смущение и небритость — готовилась реклама, я покончил с предварительным интервью для ведущей газеты и наконец в брюхе «741» пересек средиземноморскую лужу.



В Тель-Авиве ветровые стекла запаркованных машин были закрыты картоном: солнце било отвесно, раскаляя внутренности «форд» и «тойот». Город был помесью советской и американской провинции. На всем лежала серая пыль. Кассирша в магазине говорила на семи языках. Вечерами в крошечном сосновом парке прогуливались парочки и пыхтели бегуны. За узкой, чуть шире ручья рекой, по которой беззвучно скользили байдарки, при свете раскаленно-синих прожекторов носились баскетболисты. Луна высвечивала на ночном пляже разведенные колени и стволы автоматов. Проститутка около автобусной станции была затянута в красное и называлась «пожарной машиной». В Яффе пассажи рынка были раззеваны с наглядностью учебных пособий по кариесу. Нечищенное серебро и тусклая бронза росли из паутинистого мрака, как металлические муравейники. На базаре продавались вполне московские соленые огурцы, жирная копченая рыба и — совсем за бесценок — пахучие крепкоголовые бомбы дынь.

Кесария была пуста. Римский акведук торчал голливудской декорацией меж степью и морем. На дне той же эпохи амфитеатра, на заново вымощенной сцене

квартет в пляжных костюмах наяривал Брамса. В Тиберии, на берегу Галилейского моря, сидя в рыбном ресторанчике, потягивая дрянное «мускаде», я рассмотрел сквозь дрожащий воздух снежный призрак высот Галана. Мальчишки ловили рыбу на пустой крючок. Официант скармливал равнодушному коту гору объедков. Катер с водным лыжником проскочил вдоль самого берега, обдав столики пресными брызгами. На станции турецкой железной дороги в раскаленной до мути Беершебе была устроена выставка японской эротической графики. В пустых залах не было ни зрителя, ни электронной защиты. Солдаты, в толпе которых я пил пиво в тот полдень, говорили по-русски с южным акцентом. Небо над пустыней было цвета солдатского хэбэ, выгоревших парусиновых палаток ракетных батарей, бедуины гнали овец. Женщины на ходу сучили шерсть.



Иерусалим все еще цвел. Волны зноя поднимались из долин и окатывали ущелья улиц старого города. Проходя ворота Давида, я дотронулся до прохладной шершавой стены. Солдаты проверяли сумки и карманы. Беременная женщина шла на базар — вздутый живот, ослепительно белая джелоба, корзина в левой руке и «узи» в правой. В армянском подворье мне дали голубя с фисташками и бутылку перемороженного пива. Золотистая пыль покрывала ресторанную скатерть, ветвь цветущего миндаля, ствол танка в проулке, одежды пилигримов, шляпу американки. Я бродил на автопилоте по вымощенным римскими плитами улочкам, и перепады солнца и тени наваливались с такой физической интенсивностью, что кружилась голова. Здесь не нужно было верить или сомневаться, утверждать или отрицать: на Виа-Долороса случившееся было осязаемым. Арабские мальчишки гнались за мною, клянча деньги. Аркады рынка, ковры, шелк,

золото, вентиляторы темных лавок, мятный чай, турецкий кофе, продавцы воды с узкогорлыми чайниками на перевязи, руки, тянувшие тебя в дюжину узких пенальчиков, ослики, груженные цветастыми тюками, неожиданный переплеск жимолости на раскрошившейся стене, толпы иностранцев, патруль, обыскивающий сжавшего зубы палестинца, пирамиды сладостей, бурлящий в цилиндрах ледяной сок, хитрый взгляд беззубого попрошайки, сверкающая глыба медной подставки чистильщика обуви — все это дробилось, поворачивалось на невидимых лопастях, было залито густым, как дикий мед, тягучим воздухом. У Гроба Господня, куда я втиснулся за тремя монашенками, здоровенный кретин собирал доллары. Стоило труда не въехать ему промеж рогов. Верблюд поднимал седую даму на Масличную гору. По узкой дороге и я вскарабкался наверх. Серо-розовая даль была распахнута без предела. Сад скорченных маслин был огорожен высокой стеной; Гефсимания была размером с теннисный корт. У стены русского монастыря лиловой пеной захлебывался тамариск. Маленький седой батюшка принял меня. У него был провинциальный русский говор. Маленькие острые глаза его понаделали во мне дыр. В ушах стоял звон — я забывал пить воду. В храме было прохладно, спокойно. Я сомневался в том, что нужно было перепрыгнуть в Африку. Я чувствовал неутолимый соблазн все бросить и остаться здесь, на горе, в тенистом саду над Иерусалимом. Тройка «фантомов», я поднял голову, бесшумно прошла в сторону Сирии. Чуть погода грянул гром.



*«Утром, когда черный слуга вкатил тележку с завтраком, между кофейником и сахарницей была вставлена открытка с видом на самую Красную в мире площадь. Парижский адрес был перечеркнут и сбоку вписан дакарский. Открытка путешествовала три месяца. Вести с того света... Слуга налил*



кофе. Как всегда, на завтрак было несколько долек папайи. «Можешь идти, Самба», — сказал он. Окна были глухо задраены, урчал кондиционер, но все равно, мельчайшая песчаная пыль была везде. На чехле пишущей машинки, на стопке книг, на полу, спинке кровати, в простынях, на лице и во рту. Он выключил кондиционер и толкнул раму широкого окна. Бассейн внизу был покрыт такой же розовой пленкой пыли, как и небо. За высокой стеной резиденции, за бамбуком, веерными пальмами и вездесущей, трехцветовой бугенвиллеей, начинался пустырь. Посередине его картофельным клубнем торчал баобаб; вдали были видны бараки сумасшедшего дома. «Valley of Shitters»<sup>1</sup> — на языке белых назывался пустырь. И сейчас он видел орлами сидящих меж колючек. Некоторые приходили парами и устраивались друг от дружки недалеко, так, чтобы можно было переговариваться. У каждого с собою была пластиковая бутылка воды. Он взял с трельяжа глазную капельницу, закапал по две капли — от песка глаза были мышинового воспаленного цвета. Сахара задумала всего лишь вторую неделю, но в доме все кашляли и сморкались, а Рафаэль снова стал носить роговые очки — контактные линзы в таком климате были катастрофой.

Перед ланчем он попросил шофера отвезти его в Медину, но на полпути передумал, и берегом океана они покатали прочь от Дакара, на юг, через крошечные поселки, где еще уцелели постройки старого колониального типа, где вместо такси пылили вдоль дороги весело раскрашенные конные двуколки, где вдоль шоссе каждый продавал что мог: тот — кокосовые орехи, этот — пару стульев, третий — малолетнюю сестру.

Бедность не вызывала в нем никаких чувств. Лачуги, составленные черт-те из чего — автомобильные покрышки, куски железа, ящики, старые рекламные щиты (американские ковбои — любители «Мальборо» добрались и сюда), — в крышах не нуждались: дождя не было несколько лет. Не трогали его ни надутые животы детишек, ни попрошайки,

---

<sup>1</sup> Долина засранцев (англ.).

облеплявшие машину перед каждым светофором. Это были не просто попрошайки, а армия калек: безруких, безногих, перекошенных, волочащихся, с пустыми глазницами... После них «кадиллак», ревниво отполированный сухим стариканом Асинью водившим посольскую машину в форме и фуражке, но босиком, тускнел, а стекла теряли прозрачность. Он перестал бросать им ничего не стоящую медь — деньги попадали к марабу. Роскошные виллы марабу соперничали с дворцами банкиров, ближневосточных дельцов и резиденциями послов. Бедность не трогала его по простой причине — он вспоминал осеннее, залитое ледяными дождями поле, Богом забытую, перекошенную деревеньку, мужика в телеге, везущего по колдобинам рожаящую бабу неизвестно куда. У мужика было надорванное испугом лицо. Русская бедность была безнадежнее, заснеженнее, отчаяннее. Сколько он видел их — провинциальных городишек, глухих от застарелого ужаса, мертвенно-пустых... Здесь же длинноногие черти таскали из моря омаров и креветок, в каждой фанерной будке с рекламой газеты «Солнце» продавался точно такой же, как в Париже, хлеб, а на рынке целая верста была заставлена ларьками с транзисторами, магнитофонами, одеждой, обувью, консервами, коврами — и обо всем этом в Москве невозможно было и мечтать. Да и за протянутую руку в Союзе давали срок, а калек и инвалидов войны Гуталин выслал на острова — с глаз долой.

Лес голых баобабов, цвета северных деревенских срубов, был слева. Океан — золотая резь в глазах — справа. Над уютной деревенькой возносилась шахматная ладья мечети. В кругу из камней на коленях стоял человек и бил поклоны, замаливая восток. Они повернули домой.

Ланч был по полному протоколу: треп ни о чем, удавка галстука, взмыленный, боящийся перепутать, с кого начинать очередное блюдо, слуга. Директор авиакомпании (эмблема: крылатые сандали бога-воршишки), заместитель министра культуры с из цельного куска эбенового дерева выточенной женой, командор французской базы и друг дома, милейший мульти-пульти-миллионер итонской выпечки. Он был вдребезги глух — старик Ларри. Широкий шелковый

бант на шее, розовое милейшее лицо старого фэгота<sup>1</sup> с водянистыми глазами. «Как вы спали, мой друг?» — «Спасибо. Плохо. Барабаны — всю ночь...» — «Да? — и поправляя слуховой аппарат: — А у меня, знаете ли, такая тихая комната...»

Он спал после ланча: задраенные окна, кондиционер на полную мощность. Проснулся от воплей и, натянув плавки, слетел вниз. Самба бамбуковой тростью лупил по кусту роз: змея! «Господин, может быть, не знает — она была самого опасного серого цвета...» Разбежался и, вытянувшись в одну линию, врезался в воду. Десять раз от бортика до бортика. Нырнул за пятисантиметровой монетой. Промахнулся. Нырнул опять. Задыхаясь, вынырнул. Самба стоял у бортика — черный в белом кителе, с серебряным подносом в руке. «Что ты пьешь, господин?» «Вы» у них не существует. «Водка-кампару...»

На закате он лежал в шезлонге на верхней террасе. Небо быстро гасло. Зеленая звезда вставала над океаном. Слуга-карлик расстилал на балконе соседа-ливийца молитвенный коврик. Низко висел, выпростав шасси, зашедший на посадку «боинг». Аэродром начинался сразу за пустырем. Он с трудом повернулся на отсыревших подушках шезлонга — его недавно вырвало, и теперь ослабевшее тело сотрясала крупная дрожь. По спине равномерно прокатывались крупные волны: горячая, ударяющая в виски и затылок, и ледяная, от которой взмокали ладони. Вспыхнул свет на лестнице, и в проеме раздвинутых дверей показался Рафаэль. Он нес плед и лошадиную дозу американского хинина.



Ужинали на острове, в доме одного мульти-пульты: свечи в саду, местный оркестр, играющий в глубине зала второго этажа. Разговор о русском Берлине двадцатых годов. Экивок понятно в чью сторону. Отличное белое вино. Южный Крест где-то там наверху. Он подумал, что Южный Крест

<sup>1</sup> От англ. faggot (вульгарн.) — гомосексуалист.

совсем не впечатляет. Куда ему, скажем, до Скорпиона или той же Кассиопеи...

Он отказался возвращаться со всеми вместе домой и на разбитом, дребезжащем такси отправился в порт. В «Таверне» (чуть ли не бронированная дверь, зарешеченное окно кассы, вышибала в спортивном костюме) было полутемно — красные лампы светили откуда-то из-за спинок диванов. Он заказал двойной скотч, сел в темный угол. Подошла девица. Ничего. Черна как ночь. Длинные запястья, маленькая голова. Улыбнулась. Подвинулась ближе. Раскрыла складки бубу. «Иди, иди! Потом... позже!» В такой тьме все равно ничего не видно. Ушла. Теперь они будут подходить по очереди. Предлагая товар лицом. Запах мускуса. Через зарешеченное окно — не бордель, а тюрьма? — доносятся раскаты барабанов. Весь город трясется под их дробь... Тянет гнилью из порта, шафраном с кухни, потом. Хорошо после длинного дня с гомо сидеть в борделе. Подошла белая девочка. Вместо лица — каша из краски. Тра-та-та... И тут он услышал — и его окатило ледяной водой — русскую речь. За спиной несколько голосов считали деньги. «Сергея,— говорил один,— не жлобься. Продадим икру — получишь башилы назад». Божже! В африканском борделе на берегу океана русские ребята собирают на пару лоханок! Морячки. Он повернулся к ним. Их лица были с трудом различимы. Много скотча и вина внутри, и мало света — снаружи. «Могу одолжить»,— сказал он.

В таких местах кредитных карт не принимают. Гони наличные. Он угощал. Народ прибывал. «А ты не брешешь, что ты перебежчик?» — спросил белобрысый, похожий на младшего брата. парень. «Чего тебе дома не жилось?» — спросил второй. Знакомые дела — пока они вместе, ни одного человеческого вопроса от них не услышишь: пасут друг друга. Твою мать! Они пили еще. Белобрысый, когда очередная девица раскрыла перед ними бубу, запустил ей промеж ног руку и переменившимся голосом сказал: «Я пошел, ребята...» — но остался сидеть. «Иди, хрен с тобой»,— отпускал его второй. Еще один, сидевший в самом углу дивана, молчал. Было видно лишь, как ходили его желваки. Он пил пиво, доливая в него скотч.

*Драка вспыхнула как солома. Двое ребят, то ли немцы, то ли скандинавы, спросили, на каком языке идет разговор. «На русском», — был ответ. «All problems are from those ass-holes...»<sup>1</sup> сказал кто-то. Пивная кружка просвистела в угол. Белобрысый кореш летел через залу, на ходу вытаскивая морской ремень из портков. Грохнул опрокинутый стол. В баре прибавили музыку. Капля крови, совсем черная в этом свете, капнула ему на штаны. Он сидел какое-то время, равнодушно наблюдая свалку. Русских теснили в угол. У одного из них кровь заливала лицо. Тогда он медленно, как ему показалось, с дурной усмешкой, вытянул из джинсов и свой пояс, так же неспешно продел его в ручку пивной кружки. Он вскочил — в ногах была подлая слабость — и, раскручивая кружку на ремне, ринулся в общую свалку. Он не рассчитал первый удар и попал скандинаву не по спине, а по голове. Сзади кто-то замахивался табуретом. Вышибала распахивал дверь настежь. Вдали уже вопили сирены полицейских машин.*

*Они бежали до доков, до плотной, непроницаемой тени складов. Где-то рядом, у автобусной стоянки, была колонка с водой. Но там в теплой пыли спали бродяги, а на пустых ящиках ливанцы резались в кости. Они кое-как оттерлись, отдышались. Ворота порта были совсем рядом. «Ну, bon<sup>2</sup>, — сказал он по привычке, — я пошел». И вместо ответа получил плоский удар в ухо.*



*Им никто больше не занимался. «Академик Северцев» был в открытом море. За эти дни он загорел больше, чем за месяц в Африке. Никто с ним не разговаривал. Капитан, чем-то похожий на отца, казался человеком вполне порядочным. Более того, было видно, что, отпусти он себя, слишком сообразительные похитители получили бы по тридцать горячих и по паре недель губы. Но все уже заливал знакомый советский сон. Все опять было заколдовано. Безднадежность изжогой разъедала нутро.*

<sup>1</sup> Все проблемы из-за этих засранцев... (англ.)

<sup>2</sup> Зд.: привет (франц.).

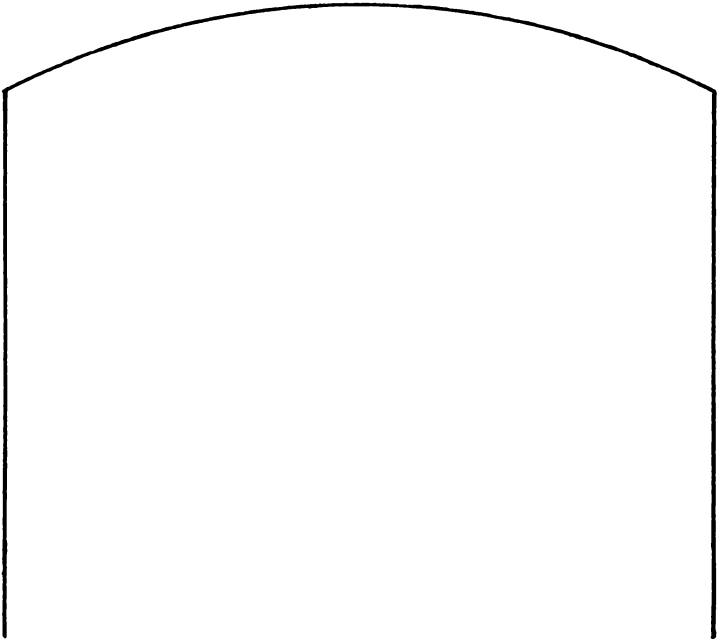
Море было спокойным. Искры солнца лениво плавались в ленивых волнах. До Гибралтара были сутки хода. Он стоял на корме, перекачивая на ладони одну таблетку валиума. Всегда носил с собой. Боялся, что как-нибудь откажут тормоза и начнется неподконтрольная реакция. Чушь! Бросил в воду. Оглянулся. У русских мужичков под их бесхребетностью и бесформенностью живет волчья какая-то интуиция. В этом была единственная опасность.

Бежит волна волне волной хребет... Таласа... Ломая... Перешагнув трос, подлез под поручни. Кто-то бежал по палубе. Никогда не мог проплыть больше двухсот метров. Особенно в пресной воде. На Волге ныряли с дебаркадера поплавок-ресторана. Было опасно — Стась Липицкий так и не вынырнул; ударился в сваю. Сзади свистели. Рывкнул гудок. Прощаются. Он не прыгнул, а шагнул. В конце концов, это и был не прыжок, а шаг».

Кил — Дакар — Париж  
1982

# Вальс для К.

ПОВЕСТЬ







Я зашел к Николаю Петровичу просто так, без всякой цели. Был лиловый, наполненный высоким дрожанием вечер. Весна уже всю хозяйничала в Москве. По крайней мере старые улочки Сретенки были пьяным-пьяны. Девушка с веточкой вербы попалась мне у самых его дверей. Она и сама была как эта веточка: распушенная, зябкая, сама из себя выглядывающая. Я постучал в грязное окошко — Николай Петрович жил в Луковом переулке, в коммунальной квартирке, в кривобокой комнатке в конце мутно-желтого коридора. Коридорчик валился набок, половицы скрипели и норовили куда-то выпрыгнуть, лампочка была отвратительно голой, и запах там был многих лет совсем не счастливой жизни. Кислый, угрюмый запах...

У Николая Петровича был кот: громадный, совершенно черный котофей. Снимая его откуда-нибудь со шкафа, Николай Петрович, он же Коленька или Никуша, обычно говорил: «У этого кота вес дорогой колбасы».

Открывая дверь, я уже знал, что мурлыка трется спиной об этажерку, сыплет бенгальские искры, ждет, мерзавец, чтоб ему почесали за ухом. Там у него солиднейший шрам — драчун он, этот славный котофей.

Николай Петрович сидел в рыжем пятне света. Пыльный дореволюционный абажур с кисточками низко висел над столом. Комната Николая Петровича

непосвященному напоминала книжный склад. Все, кроме маленького островка вокруг стола и вечно разобранной постели за драной ширмой, было заставлено книгами. Конечно, был шкаф, были полки, был падающий, накрененный стеллаж, но это было как бы нормально. Николаю же Петровичу места не хватало, и весь пол был заставлен стопками, пирамидами, башнями книг. Между этих завалов по узенькой тропиночке вслед за хвостом котофея я и прошел к столу. Неловко волочить за собой описание, но стол был как бы уменьшенной копией комнаты: свободные островки, тропиночки, а остальное было занято бумагами, вавилонами писем, вифлеемами каких-то даров, передвигать которые категорически возбранялось. Николай Петрович протянул мне через стол свою худую, очень бледную руку. «Здравствуйте, Охламонов,— сказал он совсем не московским голосом.— Хотите чаю?»

Двигался он в своих папирусных джунглях мечтательно: пригнет плечико, чтоб не сшибить криво высывающийся последние полгода фолиант сапожника Якова Бема, перескочит возле окошка через связку детских сказок и вот уже включает старинную спиральную плитку, тычет ножом в проводки, льет из графина запасливую воду в кружку — на кухню он не выходит, терпеть не может. Дело в том, что Коленька, Никуша, грустного, а скорее затемненного, что ли, вида человек лет около тридцати, — поэт. Однажды он вышел на коммунальную кухню за чепухой: спички или соль — и, к несчастью, попал в скандал, самый обычный, когда размахивают руками, говорят обидные слова, трогают за плечо и так далее. И Николай Петрович совершенно, как он сказал, потерял *строчку*. Начисто. Он просидел над пятном бумаги всю ночь, но убитая строчка не вспоминалась. С тех пор варил он чай и картошку на подоконнике в комнате.

Больше всего неприятностей ему доставляли женщины, особенно случайные. Они приходили в совершенный восторг от его комнаты, задавали один и тот же идиотский вопрос — что-то вроде «а где можно записаться в эту библиотеку?..» — и пытались что-

нибудь вытянуть из-под самого низа, так что Николай Петрович, зеленея, бросался спасать наклонившуюся башенку восточной поэзии, готовую не только засыпать тропинку, но и сбить еще пару таких же соседних строений. «Ах, Бога ради, не трогайте!» — кричал он, и дамы обычно останавливались. Их удивлял тон его голоса, они чувствовали, что это серьезно. «Я очень боюсь, — объяснял он им, — неизвестных перемещений». Николай Петрович — и в этом вся суть — все эти книги прочел. И абсолютно точно знал, где какая книга лежит.



Поднимая глаза от строчек, я, может быть, должен был бы извиниться за некоторую расплывчатость и скальзывание, но само время тогда было замутненное, многое еще не проявилось и сам воздух, как тромбами, был забит всеми этими «как-то», «где-то» и «вроде бы». Мало того: и будни, и праздники были изрешечены пулеметными очередями многоточий... Мы жили, недоваплощаясь.



Вода пропела свою коротенькую песенку и была влита в грязного цвета чайник. «Охламонов,— попросил хозяин, — умоляю вас, не двигайте ничего на столе...» Я не обижался. Фраза была ритуальной. Я лишь однажды подвинул поближе из-под грота каких-то бумажек портрет женщины с высокой трудной прической и затуманенными глазами. Лицо было совсем нездешним, такие не попадают на наших улицах. Я засмотрелся — в тот раз мы поссорились.

Николай Петрович, высоко поднимая ноги в опасных местах, тропиночкой вернулся к столу и поставил на островок подносик. Не глядя, он нырнул рукою куда-то назад и вытащил две серебряные стопочки.

Водка же была под столом. Теплая, конечно... Мы, молча раскланявшись, тяпнули. Кот, прекрасно знавший, что можно и чего нельзя, с мягким стуком вспрыгнул на стол. Кося на хозяина глазами, он попробовал лапой бумажный наст — ему разрешалось, — выпустил, потягиваясь, турецкие свои когти и наконец улегся. За стеною кто-то взял фальшивый гитарный аккорд. Слышно было, как переулком промчалась «скорая помощь». «А у меня были, знаете ли, проблемы с Катенькой, — сказал хозяин, — все же она слишком молода для меня. Она бесится! Она, Охламонов, в прошлый раз так хохотала в постели, что упала! И конечно, прямо на Карамзина! Был кошмар — вся история русской империи скособочилась и рассыпалась. Но это что, Охламонов, это чепуха... У нее, право, кровь играет. Я пополз приводить все в порядок; конечно, как был, нагишом. Так эта милая сумасшедшая, мой друг, она, знаете ли, как вам объяснить, она на меня накинулась прямо на книгах! Прямо на русской истории... Я думал, она шутит, а потом увидел — глаз у нее, если можно так сказать, как губа, закушен: туманный и серьезный. И мы, знаете ли, на русской истории, и она, как всегда, в крик...»

Николай Петрович опять стал разливать водку. Лица его я не видел. Оно вошло куда-то, скрылось за кисточками абажура, опущенными седой многолетней пылью. Но рука в разлохмаченной чистой манжете крупно дрожала. «У меня и так конфликт с соседями, — продолжал хозяин, — она же знает! Я столько раз просил: Катенька, не могли бы вы в этот последний момент как-нибудь сдерживаться?.. Она обижается. Говорит гадости. Плачет даже... И все равно кричит! Я бы, знаете, хотел бы ее подушкой, что ли, накрывать. Так, к сожалению, я сам ничего не соображаю — проваливаюсь во что-то совсем другое. А глаза открою и тут же понимаю: она кричала!.. Ну, что тут будешь делать?» И Николай Петрович стал нервно теревить свою бородку. Была она у него совсем китайская — просвечивала насквозь.



Катеньку я видел несколько раз. Случайные дамы тогда совсем исчезли. И помню, в первый же вечер сердце мое кувыркнулось. Тогда я еще не знал, что у них с Николаем Петровичем бессмертная любовь. Что в ней поражало? Не знаю. Можно сказать — все. Было ей чуть больше шестнадцати, и вот, пожалуй, я нашел: поражало в ней сочетание детской чистоты и совершеннейшего распутства. Увидев меня под абажуром, она, помнится, прямо при Коленке сказала: «Охламонов, ты знаешь, что я никогда (это «н-и-и-и-когда — ее первый подарок, сплошные взмывающие «и»), никогда не ношу ничего под?» И совсем по-балетному закружилась на опушке между Гоголем и медицинской энциклопедией, вся загорелая под легким платьицем, без всяких там стыдливых полосочек... Николай Петрович тогда повел щекой, словно у него зуб с дыркой, и стал смотреть в стол. Я же совершенно покраснел, и меня бросило в такой жар, что голова, как это нежное платьице, закружилась тоже. «Катя,— сказал тогда хозяин,— я прошу вас перестать». А потом поднял ко мне лицо и совсем тихо добавил: «Охламонов, если она начнет вас трогать, не обращайтесь внимания. У нас с ней бессмертная любовь».



Мы допили водку и принялись за чай. Николай Петрович покупал чай на черном рынке. Он вечно что-то смешивал, пересыпал, принюхивался. «Чай,— говорил он, — нужно заваривать плюющимся кипятком. Запомните это, мой друг. Но главное, выдержав его минут пять, немедленно переженить!» И я смотрел, как, не капнув ни разу, Николай Петрович занимался «пережениванием». Для этого он отливал из чайника полную чашку густой, кирпичного цвета заварки и быстренько, экономя рвущийся из-под крышечки пар, вливал обратно. Обряд был закончен.

Иногда он спрашивал: «Охламонов? Хотите стихов?» И отказаться было бы убийственно, впрочем, мне всегда нравилось то, что он писал. Катенька обитала в его строчках последнее время. Но запомнить его стихи я не мог. Лишь однажды пристало раз и навсегда что-то вроде:

Ночь стоит за окном в старом черном пальто нараспашку,  
Снег течет на плечи, на жалкую сонную грудь...

Впрочем, не берусь утверждать, что удержал эти строчки в сохранности.



«Как ваша жизнь? — спросил хозяин.— Отсняли что-нибудь новенькое?» Надо сказать, что я фотограф. Не такой, как где-нибудь на Петровке, в фотоателье: «Поднимите подбородок. Не моргайте. Щелк. Два рубля. Щелк. Три двадцать в кассу». Нет. Я снимаю жизнь. Как она есть. В неприбранном виде. Конечно, это воровство. Но все же не вуаерство. Однажды одна дама из колючих умниц сказала мне: «Вы вуаер, Охламонов, вы вечно подглядываете. Вот вы и сейчас смотрите на меня и думаете, какая я там, за пуговицами...» Это была совершенная неправда. Я не согласен. Вуаер лезет через дырку в заборе, отодвигает штору на окне. Я же снимаю лужи после дождя, пьяниц на Тишинском рынке, людей на эскалаторе метро, листья, опавшие в парке... И если в этих листьях мне попадается чье-то голое колено — так это же судьба... Я же не знал, что там парочка. Меня интересовал вид заброшенной аллеи. Да к тому же я чаще всего работаю телевиком — он сплющивает пространство, смещает что-то, из банального каждодневного устраивает сон. Что касается той дамы, то пусть ее растягивает кто-нибудь другой. Я бы, будь на то моя воля, пуговиц бы прибавил. Хоть это и жестоко.



«Что нового? — отвечал я.— Право же, не знаю. Вот предлагают взять ученика... Нет ли у вас сахара?»  
 Спрашивать сахар к чаю — я имею в виду, к чаю, который заварил Николай Петрович, — было чем-то вроде преступления. Но что делать? Я ужасный сластена. Например, когда мне грустно или нехорошо, я покупаю шоколадный торт «Отелло», который всегда есть в нашей булочной, и съедаю его за один раз, ложкой, стоя у окна, разглядывая всегда одно и то же — трамвайную остановку. В «Отелло», между прочим, четыреста пятьдесят граммов. «Ученика не советую.— Николай Петрович встал за сахаром.— Замучаетесь. У меня вот были два начинающих поэта. И знаете? Один ставил худшие слова в наилучшем порядке, а второй наоборот: наилучшие в худшем. Вот если бы они были сиамскими близнецами...» — «Я понимаю,— взгрустнул я: ученик — это все же дополнительные деньги,— но я в последнее время чувствую себя как-то смутно, как бы это сказать — вот когда объектив на морозе вдруг запотеет и ни черта не видно...» — «Да? — хрустнувшим голосом спросил Николай Петрович.— Вот и я *тоже*...— И он, привстав, опять же вслепую потянулся на верхнюю полку за сахаром и пристально на меня посмотрел.— Со мною, Охламонов, происходит что-то странное. Раньше я думал, что это ловушка возраста, тупик». Он говорил все медленнее и вдруг совершенно явственно стал приподниматься в воздухе и повис сантиметрах в двадцати от пола. Я видел его старый чемодан под кроватью! Николай Петрович, я боюсь сказать, *шаловливо* раскачивался, прочно вися, и разводил виновато руками... Самое странное, что я воспринял это без удивления. Лишь сердце дало перебой да где-то сбоку кот соскочил со стола и помчался к окну... «Это совсем не сложно, Охламонов,— сказал Николай Петрович, опускаясь. Я взял из его рук сахарницу. Глаза его улыбались.— Хотите, я вас научу?»



Через месяц, когда уже вовсю цвела черемуха, мы отправились с Николаем Петровичем за город. Электричка была битком набита, и мы стояли, тесно зажатые, в тамбуре. Какой-то дядя уже раза два наступил мне на ногу. Когда на Чистопрудной народу прибавилось и меня совсем прибило к толстяку, я, оглядевшись, чуть-чуть приподнялся над заплеванным полом и завис. Николай Петрович, куривший папиросу, тут же дернул меня за рукав: «Не дурите,— сказал он,— мы же договорились».

Первые уроки были сплошным сновидением. Я выслушивал Николая Петровича, пытался уразуметь хоть часть его слов, смотрел, как он внутренне собирается, как пробегает легкая судорога по его лицу, как отрывает он первый миллиметр, как легко идет выше... Я слушал его терпеливые повторы, когда он, по-шагаловски лежа в воздухе, рассказывал мне о соотношении воли и тела, о внутренней, а не внешней точке опоры. Я пытался нащупать что-то внутри себя, абсолютно слеп, проваливался, соскальзывал, упирался во что-то зловещее, надорванное, выныривал в свет рыжего абажура, под пытливый взгляд учителя. Он менял тему, рассказывал мне о Гоголе, о Булгакове, он укладывался на воздухе, на сизых слоях табачного дыма с томиком «Мастера и Маргариты», полы его пиджака болтались надо мною, из дырки кармана сыпались сигаретные крошки или звонко выскакивала монета, и читал странным своим голосом страницы полета Маргариты, стремительные, под углом атаки наклоненные строчки.

«Она, Охламонов,— говорил Николай Петрович,— была ведьмой. А это совсем другая опера. Если хотите, они летают совсем в другом качестве. И не то чтобы у них другая техника, они просто в другом двигаются. Такая красавица пролетит тебя насквозь, и обычно отделаешься головной болью или радикулитом... Но вот он, автор, слышите, Охламонов? Он знал про это гораздо больше, чем написал... А уж Гоголь и подавно...» В первый раз я с каким-то стоном не приподнялся, а выскочил в воздух. Я так сильно ударился в пото-



лок, что с полчаса лежал на рассыпанных книгах в обмороке. Николай Петрович, бледный, напуганный, стоял надо мною с мокрым полотенцем, а потом сидел на корточках, оттирая с моего лица известковую пыль, пудрой запорошившую все вокруг. «Голубчик,— сказал мне учитель, когда я немного пришел в себя и смог потрогать мягкую солидную шишку на голове,— я же вас предупреждал! Одно ложное волевое движение — и вы выйдете в эфир не физически, а психически. Ваша астральная пуповина не выдержит, а вы больше не вернетесь в тело. Вы меня не только огорчите, но и поставите в дурацкое положение. Что мне прикажете делать с вашей оболочкой? Соседи, милиция, прокурор с откормленной ряшкой... Весь этот бред... Поймите, я не приглашаю вас путешествовать в астрале; давайте обойдемся без вульгарного оккультизма, без коктебельских штучек... Я вас учу простой вещи: ле-тать!»

Мы сошли на маленькой станции, опушенной свежей зеленью. Дорога тащилась через еще пустой дачный поселок, выбегала в поле и спотыкалась о лес. Сосновые иглы мягко пружинили под ногами. Вскрикнувала от удара ногой консервная банка — расплескивая бывший снег, криво летела в кусты. Лес кончился. Подоженная вечером солнцем, плоско лежала река. Если присмотреться, она вся ходила желваками, крутила воронки, по секрету убегала в густеющую даль. Мы пошли краем жирно распаханного поля; недалеко отходила ко сну деревенская церковь. Малиново полыхал крест. Вокруг не было ни души; был тот час суток, когда от реальности остается лишь дрожащий вопросительный знак.

Николай Петрович выбрал росистую уютную лужайку, скрытую кустами орешника. «Охламонов,— попросил он,— не увлекайтесь, не летайте высоко. Помните, что я вам говорил. Особенно опасны линии высоковольтных передач. И большие пространства воды. И не бойтесь ничего. Если вы хоть на долю секунды настоящему напугаетесь, вы понимаете? Это будет конец!..— Николай Петрович поправляя, нахлобучивая поглубже, свою весеннюю шляпу.— Просто, не волнуйтесь, ложитесь на воздух. Взлетать стоя всегда труднее.

Да и для сосудов нехорошо... Ложитесь и ничего не бойтесь!»

Я наклонился вперед. Между мною и первой травой с проклюнувшимися уже, неизвестного цвета цветками была упругая живая сила. Я лег. Я просто лежал очень низко над густо пахнувшей землей и раскачивался. Я мог повернуться на спину. Я мог бесформенно, как носовой платок, взмыть вверх одним рывком. Я мог проваливаться, словно откупоривая дыры в воздухе, в любом направлении. Скосив глаз, я увидел Николая Петровича, все еще стоявшего на лужайке. Подбадривающим жестом он рисовал в воздухе круг. По спирали, захлебываясь уплотнившимся дыханием, я пошел вверх. Шляпу моего учителя качнуло и отнесло в сторону. То, что я испытывал, с трудом можно было назвать радостью. Это был полет, освобождение, слезы, застилающие расширяющийся взор, волосы, сошедшие с ума; это была новая жизнь — в миг став старше, ничего не потеряв, я навсегда заразился каким-то недоступным ранее знанием.

Николай Петрович летел чуть ниже и сзади меня. Пальто его разметалось. Руки были растопырены. Я понял, что он боится мой первый взлет. Церковь, лесок, поляна, поле, река — все стремительно уменьшалось, проваливалось, ложилось набок, вставало дыбом. «Хорошо, Охламонов,— кричал Николай Петрович,— очень хорошо! Я вами доволен...» И хотя вечерело все быстрее и внизу разгорались грустные огоньки поселка, край земли все еще вздымал клубы золотого света. Я вынул из кармана, неловко кувыркнувшись, перчатки. Все же наверху было слишком холодно. Лето лишь начиналось.



Возвращались мы в полной тьме. Николай Петрович, намотав на руку мой шарф, разрешил долететь до самой станции. Он выбрал этот подмосковный район по простой причине: рядом была какая-то секретка, опутан-

ная колючей проволокой,— вышки, рельсы, прожектора — и никакие самолеты здесь не летали.

Знаете, что такое возвращаться на землю? Я стоял, раскачиваясь, в сыром мраке; к ногам был приделан огромный свинцовый шар.

Чуть позже мы сидели на станционной скамейке. Вместо сердца была какая-то каша. «Вы, мой друг,— говорил Николай Петрович, и потрескивающая папироска высвечивала его отсутствующее лицо,— сожгли сегодня адреналина на пятилетку вперед. До следующего вторника я запрещаю вам даже домашние упражнения». И мы заговорили о пустяках: о ключах, которые теперь нужно, конечно же, как-то пришпиливать, о ветках ночных деревьев, способных просто так выколоть глаза, о телевизионных антеннах, совсем некстати вынырывающих из упругой ночи.



Кто вернет мне те невероятные месяцы? Если вливать в воздух шампанское, так чтобы само пространство в итоге радостно опьянело, пошло колючими пузырями... нет, не умею объяснить. Был момент, когда казалось, все рухнет. Не то чтобы я боялся, что разучусь, вовсе нет, об этом не могло быть и речи. Катастрофа надвигалась в наземной жизни, нависла, все перепутала и вдруг рассыпалась, взорвалась ночной грозой, обернулась смешливыми колокольцами — Катенька переметнулась ко мне. Да-да! Появилась однажды после завтрака, с настороженной улыбочкой, с кожаным древним саквояжем, стала в дверях и сказала: «Охламонов, я пришла жить с тобою! Не к тебе, понимаешь? А с тобою...» Я брился, и все выглядело по-идиотски: полщечи, занесенные снегом, вытараченный воспаленный глаз, опасная бритва на напрягшейся шее, Катенька, на которую я смотрел через зеркало — вещь, которой я, кстати, очень боюсь... «Но как же Коленька?» Я наскоро утирался полотенцем совсем, знаете ли, не первой свежести. «Он меня к тебе отпустил,— сказала

Катенька. Она смотрела на меня прямо и вещей своих на пол не опускала.— Он сказал, что давно это предвидел, что даже так лучше...» Я сделал жест, словно нырял в поклоне. Она еще серьезнее посмотрела на меня, еще куда-то глубже, может быть даже в какой-то другой день, и не поставила свой саквояжик, а просто разжала пальчики: буф! Все шлепнулось на пол. «Охламонов,— сказала она,— ты живешь, как анахорет, ты живешь, как тень Коленьки». И она повела головкой. Мне стало стыдно моей квартиры, грязных обоев, разбросанных вещей, неделю уже не убранной посуды на письменном столе. Слава Богу, шторы были чуть отдернуты — я редко открывал окна, вечно или проявлял, или печатал.

Секунду простояв в полуобмороке, со звоном в ушах, я бросился было лихорадочно подбирать вещи, и от одного моего прохода полукругом закровоточил весь этот мшистый ералаш, но Катенька, все еще странная, все еще чужая, подошла вплотную, так что груди ее укололи, прожгли меня — я был в то утро еще не одет, вернее, весь расстегнут,— и сказала то, чего я совсем не ждал: «Ты будешь снимать меня голой? Да? Совсем-совсем?» И, не дожидаясь ответа, зависая, вся закручиваясь, сказала: «Он меня тоже научил. Он такой гениальный! Он сказал, что только меня и тебя. Что только мне и тебе». И она как-то совсем по-другому, я боюсь сказать, по-женски, потому что, если вы никогда этого сами не пробовали, вы меня засмеете, поднялась к веревочкам, на которых сушились пленки вчерашних этюдов.



Ночью ворочался сухой окраинный гром. Картавил. Играл в свои кегли. К полночи тьма загустела, свернулась тревожным клубящимся молоком. Лимонные молнии втыкались совсем как попало. Хлопали окна. Тополь внизу за окном трясся в ознобе. Хлынуло. Хлынуло так, словно всю жизнь собиралось прорваться. Щедрый, нездешний потоп.



У меня сохранились фотографии того периода. Когда однажды, уже в Париже, в припадке тоски я показал один снимок маститому профессионалу, он долго разглядывал, морщился, сыпал сигаретой на ковер, попросил негатив... «Я отдам вам половину манреевской премии,— изрек он в итоге,— если вы объясните мне, как это сделано». Я развел руками. Что я мог ему объяснить? В комнате, насквозь пробитой солнечными лучами, среди навсегда-таки утвердившегося беспорядка — разбросанных книг, косо прикнопленных портретов, веревок с ее бельем и моими пленками,— в комнате, где на шкафах еще жили не снесенные в комиссионный серебряные сахарницы и уцелевшие от дипкорпуса иконы, в воздухе лежала, раскинув руки, чудесная, совершенно голая Катенька. Ее волосы — она только что тряхнула головой — золотой кометой раскручивались в воздухе того, до изнеможения счастливого дня. Никакого трюка не было.

В столе лежал большой пакет наших московских фотографий: Катенька в ванной, лежащая плоско, как на сеансе факира, один сосок сбился и подсматривает в объектив; рядом с нею в плаще и шляпе стою я (камера работает на автоспуске) и держу за шею змею душа — искристые нитки конусом летят вниз, капли на ее коже все еще не слизнуло время... Катенька в лесу, в сатиновом платице, в остром пике тянущаяся за смазанным ветром цветком; шмель в роскошной не по сезону шубе пришелся ей ровно на запястье — жужжащие лесные часики. Или вот Катенька в лунную (снял при большой выдержке) ночь; какая-то совсем уже астральная, словно намокшая светом полнолуния; на снимке она размножена на прозрачные голубые движения — кульбиты, повороты, шелковистые мелькания локтей и колен.

Я не могу этого вынести — я имею в виду описание не снимков, а отмененных календарем дней... Мне лучше бы сжечь все однажды.

Мэтр, почетный председатель многих конкурсов и комиссий, думая, что приятно выведет меня из

транса, забыв уже про половину своей фотопремии, предложил купить для журнала «Глаз» этот московский снимок. Он даже предложил сумму, в несколько раз превышающую любые мечты. Но я отказался. Я не мог не отказаться. Снимок теперь лежал на кипе фотографических журналов. Черно-белая Катенька со слезою пупка, с прозрачной опушкой всегда как бы воспаленной дельты. Катенька, глядящая так реально, так пронзительно реально, что я чувствовал слабость во всем теле,— Катенька отныне была недоступна.



Но, возвращаясь назад, сверху падая в то цветочное лето, я вижу нас двоих, совершенно счастливых, молодых, не то чтобы красивых — она, бесспорно, была красавицей,— а с печатью наших совместных полублюзов. Знаменитый перст судьбы с обкусанным ногтем торчал из той эпохи как дорожный указатель. Нынче, ерничая, раздирая на волокна вопросов безопасное прошлое, я не прочь спросить, когда же наступает тот момент, когда к указательному подбираются остальные четыре брата и вся семейка сворачивается в тяжелую фигу? Нынче мне кажется, что, если люди в том обществе были заморочены, вывернуты на огрубевшую свою изнанку (вот она, сумасшедшая чувствительность той жизни!), а, значит, изнутри подбиты сереньким партийным драпом, нынче мне кажется, что мы *размагнитились* одними из первых.



Боже! Она была бловница. Сколько раз мы делали это в воздухе! В первый же — стены, ломая прямые углы, кинулись нас ловить, лопнула струна подвешенной криво картины, и та съехала навсегда вниз, бутылъ пьяной вишни отправилась на пол со шкафа, грохнулась, но не разбилась; ссадина на моей спине не заживала неделю — это створка окна, улучив момент, врезалась меж-

ду лопаток. Нужно было учиться уважать лампу, помнить о гвоздях, нужно было умудриться в итоге не грохнуть на заставленный банками, чашками, кофейником подоконник. Однажды ночью мы заснули, обнявшись, в ужасающей духоте, и я проснулся не знаю через сколько прошелествовших в беспамятстве минут, чувствуя ее всю, нежно меня оплетающую, жаркую, влажную, — проснулся от резкой тревоги. Секунду я ничего не соображал, лишь где-то близко вспыхивали и гасли смертельно яркие капли да возле шеи что-то царапалось и терлось. В такие мгновения самое трудное — разобраться, где верх и где низ. На мое счастье, бритвочка месяца резала жирные полуночные тучи. Снизу раздался корявый скрежещущий звук и брызнуло снопом электрических искр. Я рванулся прочь, сжимая ее, просыпающуюся, — это была улица, нас вынесло через окно, мы почти лежали на проводах трамвайной линии.

С той ночи я натянул сетку на окно, но скоро мы перестали спать в воздухе: осень была стремительной, с ледяными затяжными дождями, одеяло, как ни старались мы в него завертываться, соскальзывало, а потом в конце вспыхнувшего рыжим пожаром бабьего лета грянул однажды проклятый телефон, и мы узнали, что Коленька арестован.



Слухи, что в стране появились люди, умеющие летать, возникли как-то сами собой. Первый раз я услышал о летунах в очереди. Давали каменных, пенсионного возраста кур. Две бабы, совершенно скифские, упакованные в ватные пальто, качали головами и выдували пузыри довольно странных фраз. Услышав «...и он, прости, Господи, как взмлет в небо», я придвинулся поближе. Рассказчица мелко крестилась, товарка ее, с раз и навсегда поджатым лицом, однообразно кивала головой. «И летит он, Маня, как ангел! Народ, конечно, бежит... Милиция, знамо дело, за левольверы, стре-

лять, а он уж выше памятника-то Пушкину... А один, совсем в гражданском пальто, как пальнет с двух рук — и попал! Подбежали, а он уж не дышит. Ну, увезли, конечно... Изучать. Может, не наш какой. С виду-то, Мань, обычненький. Летит над зонтами. В брюках. Семеновна, из бакалеи, говорит, что аж ботинок с дыркой...»

Я разволновался. Но слухи напоздали со всех сторон. Городская молва по привычке наградила летающих старинным геройством. Судя по рассказам, один залетел в ломбард напротив прокуратуры и на глазах у обалдевшей толпы унес полную кепку золота. Про другого рассказывали, что он вынес двадцать пять тысяч рублей в ассигнациях через открытое окно писательского дома в Лаврушинском. Окно, говорили, было на шестом этаже. Дура домработница открыла проветривать и трепалась по телефону.

Слухи множились, и однажды в кафе на бульваре, куда я ходил с целью подцепить что-нибудь свеженькое, мне повезло. Двое молодых людей, пересыпая разбавленную портвейном речь фразами вроде «адекватно, старик», «я не из суггестивных» и особенно мне запомнившейся «а у них в семье давно уже бермудский треугольник», принялись обсуждать причины появления летающих людей. Конечно, сейчас все это звучит как пародия, как помесь куриной слепоты с дальноркостью, но в те времена я еще воспринимал тексты впрямую. «Старик,— говорил первый,— это не массовый психоз, организованный Лубнею, чтобы отвлечь народ байками от ситуации. Мы в тупике, в известном темном месте... Безнадега! Безвыходность! Начинаются мечты о сверхреальном. Пожалуйста, рождается идея левитации. И это не в первый раз. Вспомни Индию, крылатых сфинксов Египта, магов, взбирающихся в небо по льняным веревкам... История уже протацилась всем брюхом по подобным периодам. Людям нужны надежды, фантазии, они осклоплены карл-марксовым ножом материализма... Они хотят вернуть себе божественную часть своей природы. Быть как ангелы! Начинают мечтать о полете! В астрале, по пьянке, с подру-



гой, в воздухе наших будней, наконец... Наливай...» Второй был мрачнее: «Какие мечты? Какой астрал? Чего ты несешь? Геолог на Урале, сбитый вертолетом, это что — мечты? Триста метров над озером! Пьяная компашка, не желавшая расплачиваться в ресторане Останкинской телебашни и смывшаяся через окна, — это что, тоже мечты? А школяры, которые разлетались нынче, как отвязанные воздушные шары? Бред! Но я тебе скажу — реальный бред, и реакция властей однозначна: референтские группы, исследовательские центры... Думаешь, они глупее нас с тобою? Они-то относятся к слухам более чем серьезно. А пулеметы на крышах? А телекамеры, теперь задранные вверх? Мы, старик, мутанты. Нас проволокли через отвратительно жестокий период истории. Давай наливай... Теплая, зараза... Я тебе скажу: природа нам подбрасывает что-то новое, спасительное... Самим нам из этого дерьма уже не выбраться... Насчет астрала... А тебе скажу: что большее чудо — то, что мы ходим или что летаем? С точки зрения рыбы — разницы нет. А рыба — это, прости, не сверж, а реальность». И он ткнул алюминиевой вилкой в тарелку с треской: был четверг. «Я думаю, — мотнул головой первый, — что если все это правда, если они действительно летают теперь, как мухи, то это, скорее всего, от нашей безнадежности, от тоски и от отчаяния...»

Я слушал их пьянеющий разговор в сплошной испарине. Глаза мои совсем расфокусировались и плавали в цветном тумане. Мне многое стало приоткрываться. Я ведь никогда глубоко об этом не задумывался. Была секунда, когда это стало моей жизнью, повседневностью, даром... Я ничего не чувствовал иного, кроме простой возможности упруго двигаться в воздухе. Это была моя (и Катенькина, конечно) секретная свобода. И все!

Они почувствовали меня. Разом обернувшись, оба как-то потемнели, и первый — очкарик с кривой бородой — фальшиво сказал: «А она ему сама предложила. В параднике. Дома у нее муж. Как всегда, вдребезень...»

Меня они приняли за стукача.

Уходя из кафе, спиной чувствуя их взгляды, я приподнялся в дверях, повисел малость, чтобы они успели проморгаться, ткнул дверь и вылетел прочь.



Вдоль Садового кольца ветер гнал сухие скорчившиеся листья. Лужи подмерзли. Вечерняя толпа тяжело неслась вдоль по улице, кружилась серыми воронками, выплевывая потерявших ритм одиночек. Тяжело стоял, расставив сапожищи, усатый милиционер. Тяжело взбиралась в автобус молодая еще женщина. Тяжело дышал на углу, отдыхая вместе с громадной, набитой пустыми бутылками авоськой, седой алкаш. Даже пацан из породы воробьев, с расплывшимся носом, тяжело отрывал от асфальта свои маленькие слоновьи ножки... О, если бы на секунду выключили в середине нашего счастливого шарика генератор земного притяжения. Если бы по пятницам вдруг разрешено было терять вес. Я увидел пустые ущелья улиц и рябое от летящих небо... «Стыдно,— сказал я сам себе,— стыдно, Охламонов, проваливаться в несовременный сентиментализм». Я свернул к Никитским воротам. В проходняшке около музыкальной школы углем на стене было крупно написано: «КОМУ — НИЗОМ, КОМУ — ВЕРХОМ».



Звонок грянул темным заболоченным днем. Катенька пела в ванной. Ее маленькие постирушки, ее умение хозяйничать без натуго и проблем вызывали во мне восхищение. Я подошел к телефону. Голос не назвался, но я мгновенно понял, что это коммунальный Коленькин сосед, старый хрыч, отставной дебил в чине капитана. «Вашего-то умника,— прогнусавил он,— бумагомарателя, забрали куда надо!» И мокро хихикнул...

Это было началом конца. Я не знал еще ничего, но вдоль спины ударила ветвистая ледяная молния.



Не нужно было быть Спинозой, чтобы догадаться, что Коленьку взяли не за писание стишков, хотя и они были отнюдь не безобидны. Позднее так и выяснилось: дворничиха, штатная ведьма, заглянула вечером в окошко и увидела Николая Петровича, отдыхающего *над* столом. Он дремал, несчастный, раскрытая книжечка в руке грозилась соскользнуть вниз, слово сдержала и с мягким стуком упала. Коленька проснулся и вниз головой нырнул за изменницей. Дворничиха отпрянула от запотевшего окна и, сжимая, как древко знамени, растопыренную метлу, бросилась звонить куда надо. В куда-надо давно уже существовал исследовательский центр, занятый проблемами как-надо. Что-то вроде НИИ Сверхреальности... Николая Петровича увезли незамедлительно. Говорят, рядом шли два тяжелых толстяка, скованных с бедным поэтом браслетами — на предмет полета.



Зарубежные радиостанции на русском языке тоже наполнились невероятными новостями. Би-Би-Си сообщило, что из дипломатических кругов в Москве стала известна недвусмысленная обеспокоенность ЦК ситуацией в стране. Диктор так и заявил, что появление перелетчиков напрямую связано с недовольством и желанием миллионов людей обрести свободу. «Голос Америки» теперь передавал ежедневную пятнадцатиминутку «Крылья свободы», уверяя, что население СССР наконец выходит из периода слабости, ослепления и унижения насильем и готово разлететься по всему миру. Ходили слухи, что Вашингтон провел секретные переговоры с союзниками о количестве возможных перелетчиков и методах их адаптации. Предлагалось наконец-то реализовать замороженный в конце семидесятых годов проект создания плавучих искусственных островов. ЦРУ подсчитывало процент потенциальных

агентов, внедренных в массу перелетчиков, но оккультный центр имени Суоми Вивеканады в предместьях американской столицы немедленно сделал заявление, что ни один ортодоксальный прислужник режима не будет способен оторваться от земли хотя бы на толщину партийного билета. Западная Германия, не участвуя в спорах, начала строить огромный палаточный лагерь. Около границы стран-сателлитов на ночь теперь зажигались стрелы-указатели. Франция разорилась на цветную иллюминацию в половину парижского неба — ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

Все эти странности просачивались через бронхит моего старенького приемника, но ни одного конкретного сообщения об удачном перелете пока не было.



В январе мы почти не летали. Стало слишком опасно. Да и трудно было в шубах и шапках подолгу оставаться в метельном воздухе. Катенька быстро уставала, снег слепил глаза, нас могли заметить даже в лесу. Катя предложила сшить белые костюмы. Это было бы чудесно, но денег-то у нас почти не было...



Грянули крещенские морозы. В день Татьяны я точно узнал, где держат Коленьку. Зашел в Луков переулок, соседи с испуганной радостью показали мне опечатанную дверь. Я представлял себе алый сургуч, герб страны наподобие генеральской пуговицы, но вместо этого была полоска бумаги и линючие синие печати. Обыска не было — слишком много книг. Их, говорили, отдадут теперь Ленинской библиотеке. Забрали лишь бумаги со стола, да, как ни странно, кота. Насчет кота, впрочем, я не верю. Соседи давно норовили его укокошить. Жалко котофея... Коленька обвинялся внешне в обычном — в нарушении обществен-

ного порядка, хотя формулировочки вроде «отрыва от действительности» уже проскакивали. Держать его могли лишь в камере или в лагере с какой-нибудь специальной сеткой. Но и это, в конце концов, было непроходимой чушью. От него хотели лишь одного — как?



Я ручаюсь за Коленьку. Уверен, что никакие нейролептики не смогли помочь вытянуть из него те, самые простые, но невероятно глубокие объяснения, которыми он раз и навсегда изменил мою жизнь весной. Коленька был мягок как воск, любвеобилен, даже нежен, но он, как все, ненавидел происходящее, даже не ненавидел, а биологически не принимал.

Теперь-то я понял, что значили его с Катенькой вдогонку присланные слова — «так будет лучше...»



Пошли слухи, что страну закрывают всерьез, что налоги будут повышены, водка опять вздорожает, даже цены на китовое мясо будут удвоены, а военный бюджет резко увеличен с целью реализации колоссального проекта: что-то вроде накрытия страны одним гигантским стеклянным колпаком. Были споры об ультрафиолетовых лучах, фотокинезе, всех этих вещах, связанных с солнечной энергией, дыханием и прочим. Мой приятель, летчик гражданской авиации, сказал совершенно наверное, что западные границы уже патрулируются специальными сдвоенными самолетами, несущими километровую сетку. Заговорили о проблеме птиц. Запад тоже заворочался совсем по-другому. В НАТО стали опасаться, что Советская Армия освоит опыт летунов и война примет совершенно иной характер. Возможность новой и ужасающе конкретной изоляции миров становилась все более реальной. Хотя для

меня, дальше Таллинна никогда не бывавшего, все было один черт... В эти стремительные, растрепанно мелькающие денечки мне и попала в руки довольно сумбурная статья Погорельцева.



Катенька принесла ее от портнихи, чей муж был кем-то вроде подпольного букиниста, что-то там размножал — Солженицина, Баркова или Штайнера. Он сам переплетал и довольно недорого продавал. От него к нам попадали всяческие новинки, на ночь, на две, — рассказик Набокова или статейка диссидента. В обычной жизни букинист служил лифтером.

Катенька сшила себе чудесное хулиганское платье, в котором, впрочем, нигде не могла объяться. Объясню почему. Один знакомый переводчик принес нам как-то приглашение в парк Сокольники на международную выставку пива. Выставка была закрытой, лишь для специалистов, и попасть на нее было трудно. Но, конечно же, мы нашли с Катенькой в павильоне всех наших знакомых: и чердачных художников, и подпольных поэтов, и знаменитую мадам Касилову, держательницу полуночного салона, и актеров с Полянки, и даже посла Республики Бурунди, аккуратно объезжавшегося на всех вечеринках неофициальной Москвы. К выставке мы шли через огромный заснеженный парк. Был ранний вечер, быстро темнело, сугробы были совершенно синими. Бесчисленные аллеи парка были залиты под каток — километры чудесного катка. Народ шел и падал, падал и шел. Смеялись, ругались и опять падали. Катенька тоже оскользнулась, упала и ушиблась. Так глупо было идти, смешно перебирая ногами, когда ничего не стоило просто взять и полететь. Меня как-то потрясла тогда эта явная глупость передвижения... Внутри павильона каждая страна устроила бар. Такого мы еще не видели: уютно, играет невидимая музыка, красавицы в фартучках обносят пивом, ни одного мусора, я имею в виду — в форме. Публика

была из наших и ихних. Наши — волосатые, в протертых джинсах, в свитерах, а ихние — из министерств и комитетов — тяжелые, костюмные, с маслянистой ненавистью в глазах. Пили они километрами, тяжело пьянели и приставали, ни черта не понимая по-иностранному, к грудастым барменшам. Один, с оттопыренной нижней губой и партийными бровями, говорил приятелю: «Переведи, я ей дам два кило икры... Ну, четыре...»

Немцы просто поставили в павильоне старинную пожарную машину. Она вся сияла красным лаком и надраенной медью. Бочка с насосом была полна крепчайшим мюнхенским пивом. Голоногая лахудра в золотой каске угощала нас горячими сосисками. Тянуло на путч.

Катенька раскраснелась и шалила. Подсвеченная карнавальными вспышками цветных прожекторов, она, стоя напротив в лоскуты пьяного комитетчика, то взмывала на легком сквознячке, то скромно соскальзывала вниз. Лицо ее визави наливалось темной кровью, огромной лапой он хватался то за сердце, то за стену. Я не сердился. Никто другой ее не видел.

Но когда выходили в совершенной тьме, кое-где разорванной фонарями, а потом шли по скользкой аллейке мимо ревущих на ветру флагштоков, я тоже не выдержал и, наскоро взлетев метров на десять, замерзшими руками добрых полминуты отвязывал от мачты двойной американский флаг. Катенька хлопала в ладоши и вертела головой во все стороны. Я благополучно спланировал со свертком под мышкой, и мы бросились искать такси, от нетерпения то и дело отрываясь от черного накатанного льда. Старый одессит обещал вмиг домчать нас до дома, мы разомлели и лежали, запутавшись друг в дружке, а он шпарил анекдотами без просветов, сам себе отвечая прокуренным хохотком. На пустых улицах и площадях седыми клочьями завихрялась поземка. Казалось, город закипает.

В ту ночь мы приобщились к западной демократии, постелив пропахший снегом и чуть влажный флаг в постель. Утром, когда зимнее солнце брызнуло рожим

сквозь голые ветви тополя, когда Катенька позвала меня пить кофе, я, задерживая кровать драным ватным одеялом, увидел среди звезд и полос маленькое пятнышко там, где она спала: у Катеньки тогда были месячные.



Так или иначе, смеха ради она сшила себе из флага длинное шуршащее платье. Представляете себе — отправиться в таком в Большой или консерваторию?

Вернувшись от портнихи, взлетая то выше, то ниже перед подводным нашим зеркалом, съеденным не то ржавчиной, не то временем, она сказала: «Четвертого июля пойду на прием к америкашкам. Пусть мне отдадут честь военные атташе...» — «Осторожнее со словами», — хмыкнул я. «Ах да, — она заломила руки за спину, ища молнию, — там, в сумочке, статейка этого... Погорельцева... который ходит в церковь на Соколе...»

Профессор Погорельцев, отсидевший в свое время лет пятнадцать, автор проскочившей в печать скандальной книги «Между страхом и страхом» (кстати, очень быстро изъятой из всех библиотек), официально занятый проблемами тибетского плато, писал, что эпоха Христа-Рыбы кончилась в середине шестидесятых годов и наступившая эпоха Водолея должна была найти новую символику воплощения. Все мы это знали: знаки зодиака, восходящие против часовой стрелки; волхвы, последние представители джиннов и аладдиновых ламп у колыбели Христа; новая звезда над ними; очередное двухтысячелетие; Водолей — «Человек-ангел»... Но никто не знал, как это начнет сказываться. Профессор считал, что появление летающих людей закономерно, что это не случайность, что не нужно бояться, что страну действительно закроют — он имел в виду стеклянный колпак, — и играл словами: «Нас уже невозможно околпачить». Но главное, Погорельцев писал, что «и за Кремлевской стеной кое-кто уже начинает отрываться от вощенного паркета, что скоро-скоро, может быть, мы станем свидетелями необычай-



ного события, когда над недобрыми для века звездами Кремля пролетит черная фигурка серого кардинала и стрелки курантов на Спасской башне покажут совсем новое время...»

Статья разволновала левую интеллигенцию. Надежда на приступ очередной либерализации залихорадила Москву. Редактор наиболее читаемого подпольного ежемесячника «Зеркало» послал письмо правлению «Нового мира» с предложением объединиться на пороге новой жизни. Художник Одноглазов выставил в Манеже огромное полотно: Пушкин, Достоевский, Гоголь, Суворов, актер Смоктуновский, даже Василий Васильевич Розанов — все слетались с разных сторон клубящегося неба к храму Василия Блаженного. Катенька сказала, что похоже на шабаш.



От всезнающего приятеля, как я уже упоминал, я получил адрес сто раз секретного института, где, по моим соображениям, и должны были держать Николая Петровича. В часы пик, когда улицы бурлили угрюмыми толпами, я с деланным видом бодро гулял теперь рядом с безликим зданием. Опять была весна, в сером людском веществе вдруг проскакивала улыбочка, на освободившихся от снега тротуарах приятно шаркали подошвы, пахло солнечной пылью, и откуда-то издали налетел на город тревожный мягкий ветер. Первые этажи заколдованного дома были забраны гранитом. Окна держали солиднейшие решетки, но выше они исчезали, а самый последний этаж с бортиком сплошного балкона и тупыми мордами телекамер был весь распахнут — ловушка для идиотов. Конечно же, внизу, напротив подъезда, скучала серая «Волга» с четырьмя мордоротами внутри. На двери подъезда висела скромная, из черного с золотом вывеска «Комитет выборов». Люди, входившие и выходившие из этих дверей, были либо мышино непримечательны, либо лихо-радочно воспалены. Уже через неделю я выделил из общего мелькания сотрудников одно смятое, но все же

достаточно приятное лицо и, чуть было не совершив роковой ошибки, отправился вслед за вельветовым пиджачком, устало ввинтившимся в толпу. В валящемся набок соседнем переулке, заставленном, как отжившей мебелью на распродаже, прогнившими домишками, я уже приготовился произнести сакральную фразу «простите меня», как вдруг не услышал, а почувствовал бульдожье дыхание за спиной и, ничего еще не соображая, свечкой взмыл в чистенькое розовое небо и на огромной скорости полетел прочь. Единственное, что я успел заметить краем заслезившегося глаза, была парочка в надутых ветром плащах на дне переулка, их задранные головы и вытянутые руки. Я давно не летал на открытых пространствах. С отвычки у меня кружилась голова, карниз двенадцатиэтажного дома с чем-то и вправду вроде пулеметного гнезда я проскочил в несколько секунд. Но в жизнь нужно было вернуться так же стремительно, как я из нее выскочил. Круглое слуховое окно одного из сталинских небоскребов спасло меня. Стекла не было, и я влетел, лишь чуть расцарапав щеку. Пахло пылью, и со всех сторон на меня смотрели огромные портреты правителей. Видимо, дерзкий домоуправ не выполнял нужных инструкций и хранил не только обязательных номерных тузов, вывешиваемых по праздникам, но и давным-давно вышедших в тираж. Толкая дверь, обитую рваным дерматином, выходя на лестницу, я обернулся — кавказский горец давил косяка на своего лысого ниспровергателя.

И уже на улице, отирая платком кровь со щеки, я увидел — и в глазах моих потемнело — отвратительно хвостатую стрекозу вертолета, летящую непозволительно низко.



Через несколько дней я получил по почте скромный лоскуток бумаги, где указывалось, что я должен явиться в одиннадцать утра во вторник к следователю Н., стоял адрес и закорючка подписи. Стоит ли говорить,

что адрес был назван тот самый. Я не знал, что делать. Катенька, душистая сумасшедшая Катенька, в последнее время всегда тщательно одетая, подобранная, даже причесанная и надушенная купленными в удачный день в уборной на Петровке французскими духами, Катенька висела в углу, в солнечном пятне, и дым ее сигареты вышивал узоры в обмершем воздухе. Пластинка Вагнера, «Полет валькирий», только что умерла, и игла занудно ехала по кругу. «Не ходи,— сказала Катенька,— просто не ходи. У них нет права. Ни черта не указано, ни по какому делу, ни в качестве кого, вместо фамилии следователя лишь буква...» Я постоял под нею, поднял лицо, потерся о подол, чмокнул худую лодыжку. Что-то происходило. Мы оба чувствовали это. Что-то уже накатывалось издалека. Я решил идти. Но если Катенька в то время уже подумывала об отлете, я же боялся ее потерять.



Итак, я пошел. Плюнул на все и пошел. Лишь позвонил все же тому единственному со связями наверху знакомому и объяснил, когда иду и куда. У меня были идиотские иллюзии, что в случае чего он сможет через отца, личного переводчика генсека с бенгальского, мне помочь. Я даже не подумал, как часто встречается генсек с бенгальцами...

Катенька покачалась в дверях, сказала: «Я не прощаюсь, понимаешь?» И я отправился.

Конечно, я попал в «Комитет вибраций», но с другого входа. И вывеска была другая. Хотите верьте, хотите нет, а было написано — правда, на этот раз на картонке, как бы временно, я даже было, как идиот, подумал: для меня! — «Приемная по нескучным делам» и какой-то номер. Фамилия следователя тоже кривлялась: Никаков. Имя-отчество не сообщалось. Вахтер, в партикулярном, похожем на военную форму более, чем сама форма, платье, вызвал следователя, предварительно отобрав мой паспорт. Пока он звонил,

закрывшись спиной, я разглядывал портрет вождя, стоящего над обрывом, а внизу, в долине, морем разливался огромный город. Казалось, еще мгновение — и вождь или полетит, или же камнем сорвется вниз. Полы его военной шинели уже развевались... Щелкнула стальная дверь, и, издавек прицеливаясь сереньким глазком, накатился следователь. Был он маленький, кругленький, ничего такого, казалось, в нем не было. Косо он держал худенькую улыбочку — в старину так прижимали к лицу лорнет. «Никаков», — сказал он и рукой, слава Богу, не подал. У самой двери, на которой горели кнопки сигнализации, он вдруг резко обернулся и лязгнул меня глазами. Я, естественно, потупился. В мгновение ока он крутанулся назад и что-то там набрал — дверь поехала. Мы шли длинными полутемными коридорами. Пол был устлан темно-вишневым мягким пластиком. Говорят, что, когда профессора Погорельцева где-то здесь же немного боксировали, а потом вели в камеру, капли крови вовсе не оставляли за ним тревожного многоочия — ковер все впитывал бесследно.



В кабинете, усадив меня на жесткий прямой стул, Никаков развалился в кожаном кресле напротив и сразу как-то надулся и вырос. Над ним тоже висел портрет вождя. На сей раз правитель стоял на самом краю Кремлевской стены. Далеко внизу текли краснознаменные толпы, в небе было тесно от самолетов. Казалось, еще порыв ветра — и вождь взлетит. Его серый габардиновый плащ уже крылато вздымался. «Вы догадываетесь, — сказал Никаков, пододвигая сигареты и пепельницу, — почему мы вас пригласили?»

Разговор был похож на начало гриппа. Мне было жарко, неудобно в толстом свитере, который я как-то инстинктивно надел утром вместе с зимними носками, хотя уже всю зеленел бульвар. Меня перебрасывало в липкий холод, я весь съеживался от более чем

странных фраз следователя. Воистину, он обладал неведомым мне искусством из обыкновенного русского языка выстраивать какие-то зазубренные, ржавые, крючкастые фразы. Они входили в мозг, раздирая его. Я что-то булькал в ответ. «Ваш близкий друг,— говорил Никаков,— Николай Петрович Смоленский, оторвался от масс. Вы понимаете, конечно, что я имею в виду — оторвался? Он, скажем это прямо, хотел возвыситься, Охламонов, вознестись, так сказать, над родной страной, над трудовым коллективом, над партией, между прочим... Это он *так* думал... Теперь он раскаивается, теперь он полностью признал и учел, додумал и вник, протрезвел и проснулся, выяснил и ахнул...— какой-то механизм в Никакове заклинил, но он дернул мягеньким плечиком, лицо его переехала спазматическая гримаса, и он выправился, все же под занавес малость буксуя,— осмыслил и сожалеет, а также проанализировал и сам себя казнит...» Карандашик в пальцах Никакова вертелся во все стороны, но через какой-то равный промежуток своим черным острием нацеливался прямо на меня. «Вы ведь дружили с обвиняемым?» — спросил следователь. «Да,— сказал я,— мы дружили. Я уважал его талант...» Никаков, как дитя, крутанулся в кресле, показал ветчинную лысину, наехал снова. Улыбочка его, как зацепившийся чулок, ползла петля за петлей по чистенькому лицу. «Так можем ли мы из вышесказанного заключить,— он чуть было не сказал «голубчик»,— что вы были не только его поклонником, собутыльником, сотрапезником и, может быть, кое-кем еще, что нами пока еще не выяснено... но и, мягко говоря, *учеником?*»

Это было так глупо, что мне вдруг стало скучно, смертельно скучно, как бывало уже не раз этой фальшивой весной. Знаете, когда безостановочно тошнит, на что ни взглянешь... Я чувствовал под курткой нагретый бок фляжки — милая моя Катенька засунула мне в непроверенный карман фляжку коньяку. Хотелось, чтобы Никаков пошел, что ли, в уборную или к начальству, а я мог бы выпить... И, словно прочитав мои мысли, грянул аппарат со множеством кнопок, на

котором было написано «Bell System»<sup>1</sup>, и Никаков, что-то туда сказав, пошел к двери. «Я вас оставляю на минуточку»,— сказал он.



Кабинет был отвратительно казенного цвета. Как писал в своих стихах поэт Ошанин — салатного. Коричневая каемка шла выше. На стене было длинное, необычайно горизонтальное зеркало. Окно без решетки, но с бледным штампом треугольничком в углу каждого стекла — такие, говорят, не разбиваются даже от удара табуретом. Стол был тоже пуст, лишь календарь да газета «Правда» с передовицей «Крепче держаться за родную почву». Я встал и размял одеревеневшее тело. Фляжка янтарно светилась, когда я пил перед зеркалом. Что-то равномерно жужжало и тикало непонятно из какого угла. От коньяку ли или оттого, что я перенервничал, меня клонило в сон. Я подошел к окну и прислонился лбом к стеклу. Окно выходило во внутренний двор. Я увидел мостки прогулочного дворика, забранные сверху решетчатой крышей, а сбоку затянутые сеткой. Двое солдатиков курили у тяжелых ворот. Гулил на подоконнике больной, с прогнившим клювом голубь. Стекло было влажным, и я в ужасе отпрянул, сообразив, что в образовании этой сырости участвовало дыхание следователя.



Никаков вернулся через час. Ничего не сказав, он сел за стол, выдвинул ящик, достал лист стандартной, видимо, анкеты и стал быстро заполнять. Вопросы были теперь сухими, обыкновенными, и я отвечал автоматически. Карандашик мертво лежал на столе. Со двора доносилось сухое топтание и окрики охраны. Жужжа-

---

<sup>1</sup> Фирма, производящая телефонные аппараты.

ние тоже умерло. Во мне тихо закипала очень конкретная ненависть. Никаков кончил писать. «Распишитесь»,— сказал он. Я прочел протокол, где значилось, что я дружил с Коленькой, был поклонником его поэзии, но ни в каких опытах никогда не участвовал. Я расписался. «Поставьте печать в соседней комнате.— Никаков протянул мне пропуск.— Вас проводят». Голос его сбился на писк, да и сам он съеживался и уменьшался, словно из него выпустили воздух.



Я вышел из кабинета и постучал в соседнюю дверь. Внутри была стеклянная перегородка, из окошка кукушкой высунулся человек в белом халате. Протягивая пропуск, я как-то нечаянно глянул внутрь. Боже! Комната, соседствовавшая с кабинетом Никакова, была лабораторией. Какие-то пленки розового и серебристого цвета горою лежали на полу, перемигивались лампы, кругло светились экраны. Сбоку по стене шло затемненное горизонтальное окно с отдернутой до половины занавеской — это было зеркало соседнего кабинета! За мной наблюдали...

Рука вернула мне пропуск и указала на вторую дверь. Щелкнул электрический замок. Я рискнул и, нагло оскалась, спросил: «Че? Не подхожу?» Белый халат, возвращаясь к пленкам, спиной ответил: «Нам таких на грузовиках привозят. Весу в тебе много...»



И уже внизу, отдавая пропуск в обмен на паспорт, я разглядел на печати меч и два скрещенных крыла, а чуть позже, в метро, до меня дошло и остальное: оставленный один, я должен был в панике проявить себя, как бы почесать запрещенное место, хоть на секунду да потерять контроль, взлететь хоть на миллиметр. «Весу много» — они проверяли, не теряю ли я вес!



Из того же самиздата, от той же портнихи (Катенька сшила себе золотистое платьице из шелковой занавески, в котором я однажды снял ее на закате, висящей грустно над крестом сельской церкви,— ее последний снимок в России), приблизительно через месяц, читая слепой экземпляр машинки, мы узнали, что Коленька перехитрил своих тюремщиков, согласился на опыты, и, когда его перевели из камеры (высота потолка метр семьдесят) в лабораторию размером с ангар, он, освобожденный от всего, кроме проводов датчиков, с высоты в пятнадцать метров рухнул на единственно твердое — стол профессора, все остальное было предусмотрено обито все тем же вишневым мягким пластиком, и разбился насмерть. В Швеции уже был создан комитет его защиты, радио «Свобода» регулярно читало его стихи, двое молодых американцев приковали себя наручниками к царь-пушке в Кремле в знак протеста, но было поздно... В мае, когда промчались первые грозы и расцвел дуб, в «Вечерней Москве» появился фельетон, в котором Коленька назывался шарлатаном, корыстно обиравшим знакомых, обещая их обучить несуществующему. Кроме прочего, он, конечно же, фигурировал как графоман — статья была подписана известным поэтом.

В самом конце месяца, когда уже всюю заполыхала по уцелевшим палисадничкам сирень, Катенька уволокла меня за город. Мы уехали далеко-далеко, в наш любимый Никольский лес. Там нас никто не мог увидеть, но она почему-то нежно отказалась сделать это в воздухе, как раньше, а с тяжелой настойчивостью утянула меня в траву. Она сжимала меня сильно, с какой-то новой яростью, ее ноги оплетали меня, а руки почти душили, ее душистый пот, смешиваясь с моим, заливал лицо, и все произошло так сильно, как никогда в жизни.

В тот день мы окончательно решили улететь.





«В моду,— шутила Катенька,— скоро войдут свинцовые сапоги». Она была недалеко от истины. Кое-где сознательные пенсионеры, не дожидаясь указаний сверху (ловлю себя на том, что «сверху» в те времена звучало двусмысленно), развесили плакатики: «ЛЕТАТЬ СТРОГО ЗАПРЕЩАЕТСЯ». Уже формулировали новый закон «за антиобщественный отрыв от коллектива», срок заключения и так далее. Даже было сказано, что родители несут ответственность за детей, неважно, если сами они и не способны приподняться над буднями нашей родины.



Грузины втридорога продавали помидоры на Цветном рынке, откуда-то в город завезли жирные гладиолусы, с официальным визитом должен был приехать премьер-министр Австралии, и по этому поводу в Москве гулял афоризм мэра города, что если во дни визита кто-нибудь полетит, то тотчас же полетят головы. Одним словом, была тоска и запустение, и мы с Катенькой наконец-то взяли два билета до Симферополя, откуда машиной решено было добраться до Ялты, немножко отдохнуть, осмотреться и, выйдя однажды ночью на увеселительном пароходишке в море, навсегда покинуть страну.

Коленькино предупреждение — не летать над большими водными пространствами,— конечно, немного пугало, но выбора у нас не было. Западные границы патрулировались теперь серьезно.



Знаете, что такое Ялта ночью? Нет, не та, советская, вдребезину пьяная, дерущаяся, пропахшая дешевыми духами и маслом для загара Ялта! А немая, уменьшающаяся, ложащаяся набок далеким потухающим ко-

стром. Город, из которого столько бежали... Последняя память, приправленная опереточными шутками...

Была безлунная душная ночь. У меня был детский, накануне купленный компас. Как я боялся, что стрелка соскочит с иголки...



Я опять возвращаюсь к снимкам тех лет — черно-белым, конечно: цветная пленка с Запада попадала ко мне редко, платить за нее нужно было бешеные деньги. Вот Катенька несет по воздуху поднос с кофе — тяжелый бабушкин поднос. Ей трудно, и поэтому ее голенькая фигурка задрана ногами вверх. Я вижу два холма ягод и нежно стекающие груди. Волосы не расчесаны, а как-то криво заколоты сбоку. Ее пушистое лоно до сих пор вызывает во мне судороги... Катенька под речным мостом, в руке она держит свернутый трубкой журнал и дудит в него, как архангел. Катенька вверх ногами в нашей квартирке: волосы совсем залили лицо, платье тоже упало вниз, лишь ноги фонтаном бьют вверх...

У меня есть особенный снимок, он потрясает меня особенной грустью — Катенька отодвигает штору: зимнее окно, снег на ветках, воробей, хилое солнышко, провода... Она в стареньком халате. Держит его у горла рукой. Словно что-то душит ее. Иногда я думаю, что уже тогда она знала, что случится.

Самое удивительное в этом снимке то, что Катенька стоит на полу.

Я тянусь к спичкам.



Как мы добирались до Парижа — отдельная история. Мы больше не устраивали перелетов. Лишь Турцию мы пересекли в три жаркие ночи, до краев наполненные густым стрекотом цикад. Американский консул в Афи-

нах выдал нам наши первые западные документы. Конечно, нами заинтересовались, но мы разыгрывали несложную пьеску с надувной лодкой, пресной водой и резвой фортуной. След этой идиллической лжи тянулся за нами еще несколько лет по всем префектурам Европы. Я довольно-таки быстро продал с дюжину снимков французскому агентству, получил аванс — это, кстати, и решило выбор страны: остаток нам обещали выдать по приезду в Париж, — и мы робко бросились тратить огромные для нас деньги. Снимки, замелькавшие уже через неделю на обложках толстых журналов, были из тех, что я делал всю жизнь: улицы, люди, в основном люди. Лишь несколько последних я сделал с высоты: это была Москва — накренившаяся, коловшаяся злыми шпилями своих карликовых небоскребов, тяжело проваливающаяся гребницами административных зданий.

В Париже мы жили скромно, с какой-то веселой грустью. Что-то навсегда было влито в воздух наших отношений, какое-то количество несмертельного, как я думал, яда. Я старался не слушать новостей из России, не покупал газет, но, воленс-ноленс, журналы с моими публикациями подсовывали комментарии советской жизни, и меня частенько тошнило, как в кабинете Никакова, — были они явно или скрыто на девяносто девять процентов просоветскими.

Натекли какие-то деньги. Катенька арендовала узенький пенальчик на одной из улочек Ле Аля. Почти все она мастерила сама, сама возилась с закупками и вскоре открыла крошечный магазинчик «Chêz Katia»<sup>1</sup>, где все, буквально все было одного, темно-вишневого, цвета. Я имею в виду блузки, сахар, панталоны, теннисные ракетки, наливки, сапоги, свечи, стаканы, даже пирожные и печенье. Месяц магазин впустую разевал пасть, а потом покупатель пошел валом — моя Катенька стала очень модной, и на улицах замелькали одноцветные Катенькины девицы. Меня радовал ее успех, но, честно говоря, пугал цвет.

---

<sup>1</sup> «У Кати» (франц.).

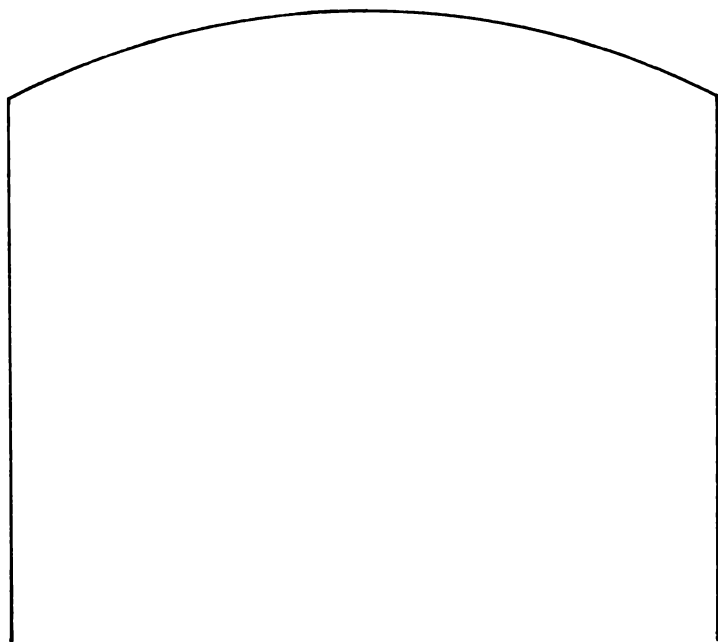
Однажды на шумной вечеринке, устроенной знаменитым критиком, к которому художники всего мира съезжались на коммерческий поклон, мы стояли с Катенькой на балконе. Была она в легоньком платье, и ее голые руки, боюсь сказать: молитвенно, сжимали стакан шампанского. Неожиданно она заговорила о Николае Петровиче, о его библиотечной комнатке, а я смотрел вниз через решетку на струящийся далеко внизу в ранних сумерках Монпарнас. Речь ее заливала меня чем-то тяжелым, и я уже хотел ее остановить, когда услышал: «Он дал нам это как дар, и это стало нашим спасением, и мы больше никогда даже не пробуем... Хотя бы чуть-чуть...» Она, уже перегибаясь, вернее, переливаясь через решетку балкона, соскальзывала вниз. Дальнейшее взорвалось мгновенно: я увидел, как ее крутануло по спирали, как она цветным комком со шлейфом платья понеслась вниз, как охнула рябая толпа, сразу превратившаяся в аккуратный круг... Почему я бросился на лестницу к лифту? До сих пор не знаю...



Похоронили ее на Сент-Женевьев-де-Буа. Там, где окончилось так много бесконечно странных русских судеб. Там же однажды, навещая ее, встретил бывшего советского инженера, нынешнего добровольного парижского клошара. Впрочем, вполне приятнейшего жизнерадостного клошара. Я подвез его до Парижа, и, уже в кафе, на прощанье, он вдруг сказал мне: «Говорят, эти, которые могли летать, попав на Запад, начисто теряют эту способность».

Был он весел, и улыбка его, зависшая в полумраке кафе, напомнила мне чеширского кота — одного из нашей компании.

# Рассказы





## *Западный берег Коцита*

Я знал Натана Эндрю, когда он еще был женщиной.

Дело было в России, на даче. В дальних комнатах варили варенье, на ослепшей от солнца странице сидел кузнечик, по окраине слуха глухо стучал товарняк. В середине лета в Подмоскowie иногда наступает безвременье. Кажется, что так было всегда — чистое небо с забытым над прудом облаком, горячая садовая листва, хрусткий гравий дорожки. Книга, скучающая в сетке гамака, конечно же, оказывалась «Анной Карениной», порезы лечились подорожником, доносившиеся из купальни крики были приглушены не расстоянием, а дырой во времени. Крикнешь, и крик твой, не успевая разрастись, исчезает в лазурных трещинах. Власть, газеты, радиобред, городские сплетни — все это отсутствовало. Гроза надвигалась из-за Успенского, театральная, хорошо отрепетированная гроза. Ветер задирал клетчатую юбку скатерти, опрокидывал молочник. Свирепый шмель ввинчивался в тугой воздух, но не мог сдвинуться и на миллиметр. Запах поднятой пыли и беспартийного электричества заливал округу. Хлопали окна мезонина, и все еще сухие молнии сыпались за дальний луг.

Я снимал комнату с выходом в сад, а Натан Эндрю, в те времена Наташа Андреева, был, была, были неуклюжей восемнадцатилетней девицей, пасшейся между верандой и малинником: короткие, мокрые после

купания волосы, исподлобья тяжелый взгляд. Мы куда-то отправлялись на велосипедах, горячо дышал сухой ельник, от рябой светотени кружилась голова. Наташа готовилась в институт и привидением бродила светлыми ночами меж яблонь: ситцевый сарафан, учебник в руке. Велосипедные поездки, вечерние купания в парной пресной воде под аккомпанемент лягушек, прогулки через луг к заброшенной церкви, ночное одалживание друг у друга сигарет, спичек, электроплитки ни к чему не привели. Я был дик, занят самим собою, мантрами, кундалини, праной, самиздатовским буддизмом, самодельным дзэном. Потом дыра во времени затянулась, оказалось, что мы уже в августе, понаехали родственники хозяйки, и вечерами в саду составляли теперь вместе столы, появлялась закуска, водка, крепкоголовый майор в выцветшей майке терзал шестиструнку, и работе моей пришел конец. Накануне отъезда, вечером, Наташа зашла, как обычно, выкурить сигарету, поболтать ни о чем, покачаться в старом кресле-качалке. Ушла она под утро, и, хотя мне совершенно нечего вспомнить, я готов присягнуть, что была она все же особой женского пола.

Теперь, через одиннадцать лет, передо мною стоял наглого вида блондин в рубашке поло и джинсах в обтяжку. Татуированный скарабей дрожал на бицепсе, золотая серьга была продета в мочку уха, американский паспорт торчал из кармана. То есть я, конечно, слышал, что она или он эмигрировали лет на шесть раньше меня к богатым бруклинским родственникам, но я и понятия не имел, что деньги торговцев мехами пошли на ставшее рутинным хирургическое вмешательство в замыслы Творца. Все это было объяснено кривыми полусловами на пути к переполненному японцами бару. Позже я узнал, что новоиспеченный Натан Эндрю подвергся остракизму. Бруклинская родня не могла смириться с метаморфозой. «Но даже если бы они и смирились, — мрачно улыбнулся Натан, — что толку? Ведь, чего доброго, потребовали бы сделать обрезание...»



Натана привез мой старинный приятель Илья. Косолапый, сутулый, из тех, про кого говорят «неладно скроен, да крепко шит». Когда-то он был чемпионом по боксу в легком весе. С тех пор к нему приклеилась кличка Муха. Жил он на том берегу Коцита, в Москве — в трех шагах от меня, за полуразрушенной колокольней на Рождественском бульваре. Родители — и мать и отец — были на дипломатической службе и погибли в авиационной катастрофе где-то между Хайкоу и Чангтан. Мухе шел семнадцатый год, его сестре было четырнадцать. Они отказались от опекуна, и через огромную, коврами выстланную квартиру толпами пошел народ. В основном это были старшие друзья: джазмены с «Маяка», актрисы из ВГИКа, шпана с Таганки, чердачные поэты, подвальные художники. Друзья приводили друзей, разбредались по комнатам, играли на гитарах, пили светлое грузинское вино, обнимались по углам. Квартира была доступна двадцать четыре часа в сутки. Ключ, если Муха с Асей отсутствовали, был под ковриком. Часто ночные или утренние гости, наткнувшись на спящих подростков в их собственной спальне, удивленно спрашивали, чьи это дети. Постепенно были проданы ковры, разбит или продан фарфор, украден зимний голландский пейзаж, при смерти был отцовский «опель». Меня загребли в армию, Муха пропал из виду, слухи о нем в мой сибирский заброшенный гарнизон не доходили. Демобилизовавшись, я не мог его разыскать. Квартира была на трех замках, телефон не отвечал. Но однажды в метро я влетел во вдребезги беременную Асю. От нее я узнал, что Муха шляется по прикаспийским степям с полоумной охотницей на снежного человека. За два года до моего отъезда он объявился сам. С тех пор мы виделись ежедневно. То он забегал пропустить стаканчик «бакарди» — Куба баловала нас дешевым ромом, — то я забредал к нему в Донской монастырь на кладбище, где мы, сидя в тени лип на могильных плитах, базлали о чем придется. О политике, конечно, о бабах, о том, кто сел, а кто только собирается. Работал Муха в те времена в крематории и был сказочно богат.

Прилетели они налегке. Никакого багажа, ручных сумок, зонтов, клюшек для гольфа, скорострельных винтовок, воскресных журналов. Ровным счетом ничего. Даже пиджаков на них не было. Джинсы да не слишком свежие рубахи. Бар в Руаси не самое лучшее место на свете. Мы тянули пиво, приглядываясь друг к другу. Японцы обменивались фотовспышками. Мухе я был рад, к Натану не знал как относиться. Накачавшись «хеннекеном»<sup>1</sup>, мы отправились отлить. Естественно, Натан с нами. Втроем мы журчали на разные лады. Здрава головы. Меня так и тянуло подсмотреть, чем Натан это делает. «Я вам такой Париж устрою,— обещал я,— по первому классу». — «Видишь ли,— Муха застегивался,— мы, честно говоря, приехали по делам. Будем в запарке. Но вечера у нас свободные». Натан, оттопырив губу, рассматривал в зеркале зуб. Если раньше, думал я, в нем было что-то мужиковатое, то теперь он смахивает на бабу... «Ты сам-то,— хлопнул меня по плечу Муха,— занят?»

Я был более чем не занят. Дела мои не только не шли, но и не ползли. Они не стояли и не лежали. Их просто не было. Я был в дыре, которую торжественно принимал за жизненный перекресток. За квартиру было не плачено, телефон грозилась отключить, джинсы расползались. Мысль о собственном идиотизме еще не посетила меня. Я был *day-dreamer*<sup>2</sup>, улыбчивый кретин, уверенный в том, что именно мне суждено понять и сформулировать роковую разницу между Востоком и Западом. Естественно, практических результатов это не давало. Места на этих должностях от Ла-Манша до Гудзона были заняты, а уроки тенниса перекормленным детям и вдалбливание русской грамматики хуеющим стервам позволяли мне лишь сводить концы с концами. Вернее, знать, насколько они не сходятся. К тому же смутная идея о том, что Запад из Востока не

---

<sup>1</sup> Сорт пива.

<sup>2</sup> Дневной мечтатель (англ.).

вычитается и сформулировать разницу, тем более роковую, невозможно, уже начала пульсировать. И Сена, сменив Москву-реку, была лишь другим берегом Коцита.

У моих американцев были ключи от чьей-то квартиры, и они отправились отсыпаться. Сквозь солнечный пузырящийся Париж на них глядела нью-йоркская ночь.

На следующий день они заехали за мной на машине. «Для начала нам нужно приодеться,— сказал Натан.— В таком виде работать нельзя. Есть что-нибудь поблизости?» Муха крутил руль, я показывал дорогу. «Здесь,— наконец остановил я его.— Запарковаться можно в переулке у церкви».— «Валяй дальше».— Натан чистил ногти спичкой. «То есть как? — удивился я.— Здесь недорого и прилично».— «Никаких больших магазинов,— был ответ.— Что-нибудь тихое и уютное. Большие магазины нам противопоказаны». Мы отчалили от «Самара». По дороге я думал, что у Натана наверняка сохранился в подавленной форме месячный цикл. Или же Нью-Йорк сделал из него психа.

Все было как во сне. То ли от влажной дурной жары. То ли от вчерашнего пива. То ли от скорости превращений. Мои друзья обернулись миллионерами. Они скупали все подряд. Кожаные джинсы, духи, свитера, солнечные очки, купальные костюмы, запонки, галстуки, часы, перчатки. Магазин за магазином, переходя с левой стороны улицы на правую, сворачивая в переулки, не пропуская ни одной лавочки, ни одного киоска. К полудню машина была завалена пакетами, багажник с трудом закрывался, заднее сиденье пришлось разгребать. Свернув к Сене, мы запарковались у самой воды. Красавица яхта отбрасывала решетчатую тень. Загорелый черт в выцветших джинсах поливал цветы. Двери нашей машины были распахнуты, миллионеры мои переодевались. «У вас что, в Штатах, экономический кризис? — интересовался я.— Белый дом уже перекрасили в красный?» Муха был в белоснежном костюме от Валентино. Натан напялил на себя нечто невообразимое. Джеймс Бондов а-ля Бру-

клин: розовый бархатный блейзер, шелковую полосатую рубашу с отложным воротом, черные джинсы в обтяжку. Он сидел, выставив ноги в белых лаковых сапогах, и распаковывал коробку с часами. Очки-порш были у него на носу, сигара торчала из кармана. Все мы взмокли, ветра совсем не было, и где-то над Сен-Клу клубились, выстраиваясь в боевом порядке, облака. «Хорошо бы пива», — сказал Муха и облизнулся. Натан кивнул. В профиль у него были густые длинные ресницы.

Я отвел их в кафе. «Не годится, — заглянув вовнутрь на распаренные пунцовые банкетки и угрюмую стойку, объявил Натан. Они переглянулись с Мухой. — Нет ли чего-нибудь посолиднее?» Я опешил. «В каком смысле?» — «В смысле цен. Нам расплачиваться наличными не интересно. Мы все берем на пластик, в кредит»<sup>1</sup>. Я отвел их в единственный дорогой бар поблизости. Педрилы, ледяной воздух, цены выше Эйфелевой башни. «Почем здесь пиво?» — спросил Натан. Я только начал соображать, что меня в нем раздражало — искусственный голос, короткие, рубленые фразы, словно он начитался Дос Пассоса. В том, что он ничего, кроме спортивного приложения «Нью-Йорк таймс», не читает, я был уверен. Позднее я понял свой промах. Конечно, он читал бесконечные комментарии и колонки в женских журналах. Бисексуальность, маски для лица из толченого стекла, как приготовить мартини в аравийской пустыне... Застукав его через день в кондитерской с осовелым взглядом и липким ртом, я понял, что подмосковную девицу бруклинскими штучками просто так не возьмешь. «Пиво? Не знаю. Самое дорогое — франков по двадцать пять...» — «О'кей,

---

<sup>1</sup> Имеются в виду пластиковые кредитные карты («Виза», «Америкэн экспресс», «Дайнерс» и т. д.). Каждая кредитная карта имеет свой «потолок» покупок, о чем продавцы иногда справляются по телефону. Данные о покупках сообщаются в международный центр автоматически, но банки подводят итоги лишь каждые две недели; в течение этого срока на кредитную карту можно делать покупки практически без контроля, что служит поводом для различных махинаций.

возьмем икорки.— Муха уже подзывал тающего от счастья гарсона.— Переведи ему...» К моему удивлению, икра нашлась. «Триста грамм»,— сказал Натан. «Водки бы»,— простонал Муха. «Мы на работе»,— огрызнулся Натан. «Господа,— встрял я,— знаете ли, почем на берегах Сены рыбы яйца?» — «Расслабься,— был ответ,— будь как дома...»

Сидя в полутьме бара, я думал, что в такие дни солнце является единственной архитектурой города. Тяжелая солнечная стена вздымалась напротив. Мощная колонна била вверх сквозь отверстие в потолке террасы. Пучок лиловых лучей натягивал невидимый отвес на повороте винтовой лестницы. Как тишина вставлена в музыку, солнечные строения были вставлены в городские. И как пальцы, заплетенные в пальцы, они были обречены расстаться вечером. То же самое происходило и со мною. Дневные мечты гасли на закате, реальность подсовывала угрюмые камни, кривые фасады, обшарпанные углы. «Слушай, старик,— Муха не утруждал себя мазать икру на тартинку, он предпочитал, как в Москве, есть ложкой,— у вас здесь сингбары<sup>1</sup> существуют?» Какое-то время я смотрел на него и не узнавал. Неужели это мы? Он, я... Ребята с Рождественского бульвара. Где ранним летом все запушено тополиным пухом, а зимою снег сыплет с такой яростью, словно хочет выбелить до нуля, до чистого белого цвета грешный город... «Бары для холостяков? Как у нас на Второй авеню? Чтобы с девушкой можно встретиться?» — «У нас профессионалки,— сказал я.— На все вкусы». Я вспомнил, неизвестно к чему, что, пробираясь в толпе, Муха пользовался баскетбольными приемами. Что осталось от московского Мухи? А от меня? Пожалуй, честнее всех был Натан. Меняться так меняться. То, что мы уехали, оставили тот берег, было ясно. В то, что мы никуда не причалили, не хотелось верить. «Им нужно выдавать наличные.— Муха тоже приглядывался ко мне, быть может, так же как и я, лишь внешне участвуя в разговоре.— А деву-

---

<sup>1</sup> Бары для холостяков в Манхэттене.

шек можно накачать шампанским. От пузырьков они становятся легче. Идут на взлет... Правда, Нат?» Натан смотрел в угол, где у стойки переминался с ноги на ногу наголо стриженный усач. «Объясни ты ему,— сказал он наконец,— что мы с ним будем в кошки-мышки прятаться...»

Способность удивляться требует наличия пустот. Ребята были на гастролях. Дома они обменялись с Фредом Мак-Лавски кредитными карточками. Фред свалил к тетке в Гонконг. Ровно через четырнадцать дней старый хмырь Мак-Лавски, который натер себе мозоль на этом деле, должен был заявить узкоглазым местным властям о пропаже бумажника, двухсот тридцати двух рублей зеленую, фотографии сильно разодетой брюнетки, нескольких сабвеевских токенов<sup>1</sup> и «Визы», она же «Америкэн экспресс». За это время бывшие строители изма должны были опустошить магазины Европы. Трюк был старый, заплесневелый, и Мак-Лавски, само собой, менял Мухину «Визу» и натановский «Экспресс» на *même chose*<sup>2</sup> с кем-то, отбывающим в Австралию. Вещи было условлено сдать в магазин «О' Десса» на Лонг-Айлэнд. «Помнишь Ривкина с Таганки? — тормозил мою память Муха.— Он на вторых ролях ошивался. Теперь у него двухэтажный шоп»<sup>3</sup>. С документами тоже проблем не было. На Брайтоне заделывали документы на любое имя. Называйся хоть Хрущевым, хоть Эйзенхауэром. Подписи молодые люди воспроизводили идеально. Фред Мак-Лавски в свое время был натановским ухажером. Когда он, видимо, был ею.

Голова моя шла кругом. Натан, прикурив сигару, встал и отправился к стойке. Криво улыбаясь, он спросил что-то у усача. «Понимаешь теперь,— сказал Муха,— что происходит? Мы без копейки...— И, кивнув в сторону бара, понизил голос и добавил: — А это я отказываюсь понимать. Стоило зашивать промеж-

<sup>1</sup> Жетон в нью-йоркском транспорте. Сабвей — от *англ.* subway — подземка.

<sup>2</sup> То же самое (*франц.*).

<sup>3</sup> От *англ.* shop — магазин.

ность, чтобы опять гоняться за мужиками. Мозгам моим это недоступно...» — «Мозги здесь ни при чем», — уверил его я. «Большие же магазины Натан не любит, — закончил Муха, — в больших и в ювелирных легко перекрывается выход...»

Натан был в Европе по карте пятый раз. Муха, увязший с устройством дел, работавший и таксистом, и дорменом<sup>1</sup>, продававший пылесосы и одно время ошивавшийся в секретарях у известного фотографа, решил рискнуть и заработать на свое такси. «В крематории, старик, было легче. Бывшие совы делают в Штатах хорошую капусту. Трафик! Пуляют оружие, кокаин, героин. Потом уходят в чистый бизнес. Если такой существует. Ты бы видел Брайтон! Расцвет нэп'а. Пальба, шампанское с селедкой, блатные оркестры... Дело в том, что дальше ехать некуда. Америка — наше последнее приключение...» От фотографа Муха ушел сам. Хотя и получал хорошие зеленые деньги. «Невозможно, мужик... Целый день через контору идут подростки женского пола, и каждая, — каждая! — готова немедленно вывернуться наизнанку. Босс работал часа три в сутки. Остальное время в студии творился сущий сатирикон». — «Не жалеешь, что уехал?» — спросил я. «Смеешься? Жалею, что не смылся лет на двадцать раньше. Начинать нужно вместе с жизнью. А не против течения, как теперь. Теперь все впопыхах. Сучий возраст поджимает». Вернулся Натан. У него был вид утопленника. Утопшего в сметане.

Облако, жалкое скопление паров, загордило июльское солнце. Рухнули стены и колонны, растаяли контрфорсы, вместо торжественной напряженной архитектуры осталась висеть лишь легкая пыль.

Я прошлялся с ними неделю. Двухкомнатная квартира в Пасси выглядела как склад. Натан охамел. Он

---

<sup>1</sup> От *англ.* doorman — швейцар, привратник.

тыкал пальцем в то и это. Любой проживший в Штатах полтора года китаец мог уличить его акцент. Судя по всему, у него сдавали нервы, играло очко. Вечером в ресторане он заказывал улиток да лягушек, из чего, по его мнению, и состояла французская кухня. Муха был тих, его мрачный юмор терял последние просветы. Я выбирал вино. Так как американский экспресс все еще крутил колеса, гарсоны кивали с одобрением — вино я выбирал с любовью. Воздушная зыбкая идея, зародившаяся в эти дни, уплотнялась. Я сам начал шастать глазами по витринам, примеряя твидовый пиджак, поглаживая компактное стерео. Пожалуй, если и у меня был бы шанс отовариться на карту, я мог бы проскочить осень и наплевать на зиму. Два дня шопинга<sup>1</sup> решили бы все проблемы. Я знал, что мне было нужно: от книг до пластинок, и, если бы можно было куда-нибудь сплавить Натана, вдвоем с Мухой мы отстрелялись бы в два счета.

Я сводил их на Пигаль, показал пигалиц, протащил по Сен-Дени. «Пора девушкам делать электронные вставки,— грустно мечтал Муха,— как в уличных банках. Чтобы можно было заряжать карту». Они собирались на уикенд в Германию. *Сoup de force*<sup>2</sup>. Я предупредил, что боши отличаются от лягушатников в знании Шекспира. Натан страдал животом. Муха вычислял, как бы перебраться назад в Европу. «Найди мне девицу,— просил он.— Фиктивный брак. Но тоже, чтобы не страшнее атомной войны была...» — «Как вы будете через таможню в Штатах пробираться?» — интересовался я. «Без проблем,— Натан объедался валиумом,— еще никто не залетал». — «Мы будем первые»,— вздохнул Муха.

Я уехал к друзьям в деревню на уикенд. Я был выпотрошен, перекособочен, растерян... Сколько раз я говорил себе — никаких дел, никаких контактов с русски-

---

<sup>1</sup> От *англ.* *shopping* — покупки.

<sup>2</sup> *Зд.*: Одним махом (*франц.*).



ми, никаких попок и гулянок. Боже!.. Ни свежий лесной воздух, ни тишина, о которой я так мечтал в Париже, ни внимание чуткоглазой Жанны, ни тактичные разговоры с Жаком не успокоили меня. Я лежал посередине залитой теплым лунным светом ночи, и со всех сторон на меня надвигались расцвеченные витрины. Белый плащ размахивал пустыми рукавами, черный шарф мяукал котом, перчатки и галстуки скользили вдоль пустоты. Чушь, конечно, безумная чушь, без которой я мог спокойно прожить... Но это было как во сне — идти через череду магазинов и брать что угодно. Из детской сказки, выходявшей кривым боком.

Их не арестовали, их не допрашивали, даже не повысили голос, но «Виза» в городе Мюнхен сгорела. Просто попросили зайти завтра для выяснения обстоятельств. «Ничего,— вздыхал Натан, еще более похудевший, с еще более удлинившимися ресницами и провалившимися глазами,— мы свой пятилетний план выполнили. Можно расслабиться». Мы сидели на террасе кафе в Пале-Рояль. Все было как на картине Моне. Жирный солнечный воздух. Воздух со сливочными сгущениями. Шуршали платья дам. Бегали дети в аккуратных костюмчиках. Ползали в песочнице упитанные карапузы. На голубой скатерти, в тени зонта, рюмка кира<sup>1</sup> выглядела нахально, как на картине гиперреалиста. Человек в котелке и с тростью вышел из прошлого века, прошел мимо нашего столика, обдал запахом плесени и во тьме аркады исчез. Мир медленно размывало. Словно на объектив дышало разгоряченное дитя. Я взмок. Все мы были слегка взмокшие. Два гигантских пакета от Кензо уткнулись в колени пустому креслу. Я снял пиджак, повесил на спинку стула. Народ фланировал за нашими спинами: мидинетки, хорошо одетые безработные, туристы, искатели приключений. Я чувствовал, что страница моей жизни прилипла к предыдущей и не переворачивается. «Господа, — сказал я на-

---

<sup>1</sup> Белое вино с черносмородиновым сиропом.

конец фальшивым голосом,— хоть я и знаю, что вы притомились, у меня есть предложение. Я хочу вступить в дело.— Натан кисло посмотрел на меня. Муха попытался проснуться.— Я отдаю вам свою «Визу» в обмен на два дня шопинга в Париже. Вы делаете что угодно в Нью-Йорке, я же набираю товара впрок и умолкаю как сверчок до первого снега...» Натан засунул мизинец под верхний резец и закатил глаза. «Надо подумать,— зевнул Муха,— извини...» — «„Нада“ по-испански — ничего»,— пробормотал Натан.

«Жмурик денег стоит,— вспомнил я формулу жизни Мухи. Дело было в столице мира Москве.— Только дурак думает, что с мертвого нечего взять...» «Малый в полном порядке,— говорили в те времена про Муху,— любой гроб достать может». С гробами в столице было плохо. Можно было подобрать для карлицы или гиганта, но человек среднего роста помирал весь в сомнениях: во что положить? Где тару возьмут? Конечно, для людей со связями проблем не существовало: лакированные крышки, пурпурное нутро, подушечка, чтобы шея не затекала — лежи не хочу... И в то время как важный покойник с серебряным рублем под языком уже плыл через Стикс, бедолага, не успевший заручиться связями перед смертью, тух где-нибудь в красном уголке под вой родственников, бессильных перед лицом официального рока. Выходило, что и на том свете номенклатура делала нос пролам и внештатным интелеям. Этим несчастным и спешил на помощь Муха. Не за бесплатно, конечно. Бесплатно в Союзе работают только генсеки и диссиденты. Общая картина выглядела так: пока родственники усердно скорбят в мраморном зале, напуганные больше тем, что и самим когда-нибудь придется лежать на цветочной грядке в парадном костюме, чем временным расставанием с драгоценным перемещенным лицом, юноша с черной повязкой на рукаве скорбно бубнит официальную скороговорку перед поставленным на платформу лифта гробом. Инвалиды-музыканты, все с картины Брейге-

ля-старшего, привычно тянут жилы из Шопена. Падает в обморок чья-нибудь беременная племянница. Снаружи моросит дождь или идет снег. Наконец старик геликонщик стучит три раза в пол деревянной ногой, подсобные рабочие в курилке бросают карты, оркестр придурков переходит на оглушающую скорбь, гроб закрывается крышкой и опускается в жуткую преисподнюю. В печь, думают родственники. Тем временем в нижнем зале идет слаженная работа. Подсобные Персефоны, ударники inferнального труда, вытряхивают Иванова из гроба, аккуратно собирают цветы и раздевают беднягу. Габардиновый костюмчик, часы марки «Победа», серебряный портсигар от товарищей по службе, колечко с камушком, выходные штиблеты — вот обычно и весь улов. «Но некоторым,— рассказывал в то время ясноглазый и розовощекий Муха, — как фараону, кладут в гроб любимые вещи. Кому золотую чарку с эмалевым Кремлем, кому коллекцию почетных грамот на растопку, а одному чудаку сунули под голову «спидолу»: «Голос Америки», что ли, с того света слушать? Попадаются и аккордеоны, альбомы фотографий, кубки за первое место по метанию диска, гитары, сторублевки, грузинские кинжалы, запечатанные письма в высшую в буквальном смысле инстанцию».

Цветы шли на рынок. Вещи — скупщику в комиссионный магазин, гроб — задержанному дяде, ожидающему где-нибудь на задворках третий день. Оттого и гробы стояли частенько под цветами побитые, как паромы... Покойник же поступает в печь голым, как и родился. Что справедливо, не забывал добавить Муха.

В те времена не только гробы были дефицитом в стране. Дефицитом была колбаса, сапоги, шапки, книги, соски — нет смысла перечислять. Иногда давали сапоги. Выстраивалась очередь. Иногда — Бодлера. В последний раз давали Америку. Муха взял. взял и Натан. Меня оделили Парижем. Учили же нас в детстве: дают — бери, бьют — беги...

«Слушай,— переместился я в Пале-Рояль,— а что вы в пересменок в крематории внизу толкались, грелись, что ли?» Муха смотрел на меня, как на мучителя, который заставил его по световому лучу тащиться черт-те куда... «Ну да,— тихо сказал он,— зимою так у печки сушились». Вернулся из уборной Натан. В принципе бизнес принадлежал ему. Муха был на прицеле. Решал он. Принесли шербет, шампанское. Натан заказывал «то самое, что Пушкин пил перед дуэлью. Потому и промазал». Я его не отговаривал. «О'кей,— сказал он наконец.— Нам все равно больше не протащить. Покажи твою карточку. Надеюсь, ты подписываешься не как гений?» Я улыбнулся. Моя скромная мансарда на расстоянии в две мили зарастала вещами. Кассеты сыпались на пол вовле окна. Колтрейн, Каллас, Гулд; надежно укрытое от прямого солнца стерео сверкало в углу; рубашки и брюки, синее и бежевое, галстуки и шарфы падали на ворох цветной упаковочной бумаги. Стопка книг рассыпалась, задетая новеньким сапогом. Я поднял бокал. Шампанское кипело. Муха опять засыпал. «Cheers!<sup>1</sup>— улыбался я.— За два дня я все успею. Чертовски мило с вашей стороны...» Не оборачиваясь, я протянул руку к пиджаку. Его не было.

1983

## *Музыка в таблетках*

Тина не просто съехала, она, несчастное создание, бежала. Когда я вернулся из Этрата и наконец добрался до дома — парижские улицы были забиты демонстрантами,— мне показалось, что дверь взломана. Осторожно опустив саквояж на пол, я толкнул приоткрытую дверь и вошел в квартиру: она была пуста. Я уже собрался звонить в полицию, когда сообразил, что телефона тоже нет. Оставался лишь диванчик в дальней комнате да от инфаркта скончавшийся холодильник

<sup>1</sup> На здоровье! (англ.)

ник. На холодильнике я нашел записку. Пользуясь исключительно фонетикой вместо грамматики, демон моих ночей, она писала, что начинает новую жизнь. Вита нова! В переводе с китайского это означало, что я слишком засиделся на берегу океана и один из ее обожателей, скорее всего тот самый итальянский паяц с лысыми глазами, чье выжидательное терпение и гнусная улыбочка всегда выводили меня из себя, в конце концов укатил ее в свой замок — какую-нибудь задрипанную чердачную конуру на окраине. Меня огорчило и исчезновение некоторых вещей. Нет, до книг она не дотронулась и «роллекс» мой не взяла. Она, а скорее всего этот опереточный шут, любитель клубничного цвета панталон, захватила в свой новый и, клянусь, сомнительный рай мое стерео, и теперь в квартире стояла пыльная истеричная тишина.

Две вещи я решил сделать немедленно: выпить в баре и купить хоть какой-нибудь дешевый, но разговорчивый приемник. Спустившись в кафе, я стал обдумывать нечто третье, замысловатое, изложению просто так не поддающееся. Она клубилась, эта моя третья идея, как зимний вокзал под открытым вечерним небом, как горный перевал в театральном антракте двух, друг от друга оглохших гроз.

Позже я завтракал в маленьком аргентинском ресторанчике, забитом после островной баталии патриотами. Хозяйка, милейшая толстушка, знавшая меня уже года три, поинтересовалась, где Тина. Я назвал наугад первое же пришедшее в голову кладбище. Поднос хозяйки клюнул боком, тарелка с антрекотом поехала, но все вовремя устроилось. Я выпил изрядное количество красного и на коньяке, за чашкой кофе, ввинтился в реальность. Прежде всего был конец августа. Город стоил обедни и был пуст. Тинино имя прочно устроилось в названии ресторана. Немцы да янки шастали мимо столика, Магазины со спущенными жалюзи обещали так простоять по крайней мере еще неделю. По бульварам давно уже не неся сплошной рычащий

поток металла, а катились редкие, на город обреченные драндулеты. Совершенно было непонятно, из каких ворот выкатилась утренняя демонстрация... Я расплатился с любезнейшей Мари-Луизой, она же Режина или Эсперанца, и отправился неизвестно куда, но с явным ощущением затвердевания вокзальных дымов и грозовых туч, которые с каждым моим шагом наливались полновесным свинцом. О свинце я, честно говоря, и думал. Ближе к вечеру, когда я окончательно созрел для террористических акций и в голове моей замелькало чудесное имя братьев Ле Паж, в Маре, где-то рядом с улицей Короля Сицилии, в одном из ее боковых отростков, я нарвался на слабо освещенный пенальчик музыкального магазина. Витрина была завешена старыми афишами, и старик Карузо, обнимая Шаляпина, делал нос развалинам Колизея. Я пощупал то место в памяти, где еще теплилось желание купить приемник и под треньканье колокольчика вошел. Лавка, как мне показалось сначала, была пуста. Чудесный «мицибиши» последней марки, как брикет золота, тускло светился на полке. Из-под лиловых полей шляпы манекена выглядывали клипсы стереонаушников. Чудовищных размеров граммофон стоял в углу. На куче антрацитных черных пластинок сидел пенсионного возраста плюшевый пес. «Голос его хозяина» — как это называлось по обе стороны последней войны. Я уже собирался выйти — не покупать же в этой берлоге стерео: ни гарантии не получишь, ни сдачи, — как вдруг увидел от руки написанное объявление, приклеенное на грудь Мэрилин Монро. Хорошо выбранное место по-рыбьи рот разевающей суицидальницы. «Музыка в таблетках. Всем, кроме язвенников». Подобное сочетание заставило меня довольно-таки гнусно хмыкнуть, и тогда из угла, из того, что оказалось кожаным, глубоким, как могила, креслом, вылез сухой, с бабочкой на кадыке старикан. Он попробовал на мне свой английский, без перерыва — немецкий, нечто вроде польского и, наконец, вернулся на язык генерала де Голля. На всех четырех он имел один и тот же, как бы носом клюющий акцент. «Молодой человек желает попробовать, — сказал он утвердительно. — Изобретение еще не получило

огласки. Одно дело совершить гениальное открытие, другое — иметь деньги на рекламу. Все, что вы видите здесь на полках,— вчерашний день, трупы музыки. Я держу этот хлам для контраста, как на выставке гоночных машин уместно поставить в центре телегу... К тому же, если я выставлю товар лицом, народ подумает, что здесь аптека. Нет ли у юноши гастритных явлений? Не был ли он, упаси Бог, оперирован в области кишечника?» И он достал с полки обычную, из-под «нескафе», банку и выкатил мне на ладонь крупную голую пилюлю. «Пробная...— улыбнулся он.— Финал фортепьянного концерта Чайковского...» Я мотнул головой — в свое время меня перекормили Чайковским, и это был как раз тот случай, когда могли начаться гастритные явления или по крайней мере диарея. Мы сошлись на увертюре к «Дон Джованни», и голубая пилюля сменилась розовой с иероглифом порядкового номера. Я принял из рук старикана стакан водопроводной воды и, следуя приглашающему жесту, опустился в глубокое кресло. «Прозит!» — сказал я, заглатывая увертюру. Вода была ржавой на вкус.

Смеркалось. Я видел, утопая в кожаных волнах кресла, сквозь немытое окно лавочки дом напротив — отраженный в стеклах, издыхающий закат, борьба грязно-огненного с грязно-голубым. Девочка с замутненным взором, промахиваясь, поливала цветы. Кошка, по-бандитски вытягивая шею, кралась по карнизу. Внутри у меня шипело, словно я принял сразу две таблетки алка-зелцер. Я пытался сосредоточиться, но мысль, что со мною должно что-то случиться, как это было в первый раз, когда мы с Тиной попробовали кислоту, на этот раз смешила меня. «Тина, — подумал я, — капризная развратная негодница». Я отчетливо увидел ее мальчишеские загорелые в белых носках ноги, но в этот момент, глупо сказать — почти со щелчком — внутри меня раскрылась конкретная высококачественная, ни с чем не сравнимая тишина. Перепутать ее было невозможно. Она была набита осторожными мелкими движениями: устройством носового платка, перелистыванием какой-нибудь там седьмой на

пюпитре страницы, кивком в первый ряд, осторожным нырком в тень контрабаса, где мгновенным подергиванием освобождались шнуры лаковых туфель...

Давление этой разверстой расступающейся тишины вытеснило из меня то обычное ежесекундное внутреннее глушение, которое, казалось, было прописано пожизненно. Подобное случалось со мною лишь в те редкие мгновения, когда жизнь переходит из одной части в другую, на переломе судьбы, когда происходит оглушительный взрыв внутренней тишины, зрительно подсвеченный тем серебристо-лиловым светом, который как-то неизбежно связан с адреналином. Я могу так спокойно теперь описывать это свое первое состояние, потому что со временем я укрепился в нем, как в этом кожаном кресле, знал, так сказать, где у него подлокотники... Между прочим, все медитации дзэна, все шав-асаны, раджа-йога и монастырское затворничество алчут именно этой тишины — оставим музыку, — именно этого отсутствия внутреннего шума.

Дальнейшее произошло мгновенно: это не музыка, известная мне до закорючек бемолей, рухнула на меня, это я провалился в нее, потому что она была не снаружи, не внутри, а везде. Безусловно, это была версия, которую я когда-то, не будучи искушенным, считал лучшей, — Лорин Маазеля.

Возвращение из концертного зала в окончательно угасшую лавочку вызвало у меня тошноту. Я тупо смотрел на старикана, протягивающего мне опять стакан воды. Наконец до меня дошло, что он предлагает мне еще одну пилюлю. Я замахал руками, барахтаясь и пытаюсь выбраться из кресла. Через какое-то кривоостриженное время — вот-вот! разрушается ощущение времени, оно ползет, как чулок! — появилось слово «нейтрализатор», и я отправил к Моцарту вдогонку лакрицей отдающий черный шарик. «Мы пока не производим одноразовых пилюль, — напывал хозяин. — Все эксперименты за свой счет! Если не принять нейтрализатор, музыка вернется через несколько минут. Все, конечно, зависит от организма, а в некоторых случаях — от одновременно принятых лекарств или



алкоголя... Один знакомый, знаете ли, из Шуберта тремя стаканами водки сделал чуть ли не Бетховена... А скажем, валиум понижает громкость. А если накуриться травы, как делают некоторые неразумные молодые люди, то из простенького марша, годного лишь для выгуливания лошадей, получится Шёнберг или, упаси Боже, Колтрейн позднего периода...»

Старикан не принимал кредитных карт, наличными у меня было негусто. Однако я отоварился токкатами Баха в исполнении чудака Гулда, набрал почти с десяток пилюль Шуберта, взял «Сороковую» Моцарта и сумасшедшего саксофониста Джона Хэнди. В виде небольшого презента мне был выдан Оскар Питерсон. Мы пожали друг другу руки, старикан посоветовал побольше пить молока, и я вышел в раннюю нежную ночь.

Месяц я ничего не делал. Я сидел дома или шлялся по городу, заглотив с утра пораньше пилюлю. Музыка возвращалась с равными промежутками, и качество ее не менялось. Я принимал нейтрализаторы чрезвычайно редко. Иногда я умудрялся спать в волнах шопеновских этюдов, под морозящим дождем Эрика Сати или под жаркую колыбельную «Бахианы» Вилла Лобоса. Несколько раз меня останавливала полиция. Несколько раз меня возили на идиотские тесты. Конечно, я выглядел как наркоман, но что в жизни не наркомания? Секс? Деньги? Слава? Все зависит лишь от сосредоточенности, вовлеченности. Или — наоборот — потерянности. Старик Глоцер, хозяин музыкальной лавки, придумал, как запихнуть человека вовнутрь оркестра, он был гений. Не рассказывать же фликам, что я молчу, погруженный в музыку? В моем виде на жительство поставили какую-то специальную отметку. Плевать. Я мало обращал внимания на внешнюю жизнь. Я менялся. Словно огромный внутренний вздох впервые в жизни наполнил мои легкие — я выходил из рутины существования, из всегда хорошо осознаваемой бессмыслицы, на отрешенный, терминологически не существующий простор.

Мои попытки вернуться к занятиям, закончить

изрядно подгнившую за это время повестушку, ни к чему не привели. Появилась в начале октября Тина. Ходила тихая по вновь заросшим мебелью комнатам — бедняжке мерещилось, что я задвинулся из-за нее. Я дал ей как-то от головной боли — пей! пей! именно это и есть от головной боли! — «Африку» Колтрейна. Она пролежала сутки не двигаясь, глядя в потолок. Позднее мы принимали что-нибудь одновременно — Бетховена или Моцарта — и, обнявшись, ложились в постель. С сексом было кончено. То, что мы делали теперь вместе, имело другое правописание. Она говорила — любовь. Я до сих пор не называю это никак. Дашь имя — потеряешь. Как гвоздь вобьешь.

В конце января, накануне ее дня рождения, закупив у старика Глоцера изрядное количество фортепьянных концертов и знаменитых квартетов, мы отправились в горы. Мой старый приятель, океанограф, давно предлагал мне ключи от уютного, на краю деревни стоящего шале. Она чудно каталась, моя девочка: сжатые вместе коленки, удар острием лыжной палки влево, вправо, обгорелый нос и облака вместо глаз на стеклах круглых альпийских очков. Вечером в огромном камине медленно прогорало полено, сушились на спинках приставленных к огню стульев свитера и носки, белыми нитями висел снег в раме черного окна, и мы, лежа на полу напротив огня, листали журналы тридцатилетней давности под «Сарабанду» Генделя, под бамбуковую флейту японца Ямамото.

Она погибла под обвалом, Тина, солнечным полднем в день своего рождения. Мы были на снежной целине, шли на большой скорости, вздымая белые волны, прижатые сосняком к отвесной стене Большого Карниза. Ни она, ни я обвала не слышали. Она с утра, еще за кофе, приняла Шестую симфонию Бетховена (Бернстайн), я же был в плену у Гил Эванса («Там, где летают фламинго»). Расстояние между нами было около двадцати метров. Объезжая чью-то потерянную красную варежку, я почувствовал ледяной выдох, обжегший шею, и мгновенно меня обогнавший вихрь серебряной пылью закрыл все видимое пространство.

Я тормозил, низко сидя, ослепнув, но все же пытаюсь повернуться. Розовые фламинго взрывались одна за другою в моей голове. Ветер снес сухой снежный заслон и поднял мои волосы: я стоял в метре от недогнавшей меня, аккуратной, все еще поскрипывающей, все еще на швах оползающей ультрамариновой стены льда и снега. Долина внизу лежала празднично раскрашенной картинкой, и двое школяров в подвесной кабине прилипли сплюсненными носами к стеклу. Проследив траекторию их сдвоенного удивления, я увидел на вершине сияющего надгробия криво торчащую острием вверх Тинину лыжную палку.

Вернувшись на одной-единственной Пятой Бетховена в Париж, двигаясь, как сломанный автомат, бросив у консьержки внизу и лыжи, и сумку, я отправился в магазин Глоцера. У меня не было черного лакричного нейтрализатора, мне нечем было остановить тираническую работу чужого гения. Я не нашел магазин на этот раз. На его месте, сверкая отвратительно свежей краской, красовалось бюро путешествий: Мальта, Бермуды, Греция, как всегда гологрудые, соленой водой сбрызнутые дивы в песке. Мне нужно было совсем другое путешествие. Увы, улыбчатая ведьма за конторкой ничего не могла мне сообщить о бывшем владельце. Я ткнулся туда-сюда, побывал в синагоге, околотке, но ничего не нашел.

Помнится, перед самым отъездом в горы Глоцер обещал мне по приезде дать отведать совсем новое — «пустышку», как он ее назвал: пилюлю чистойшей высококачественной тишины. «Пробить ее,— сказал он,— мог бы разве что выстрел в упор».

Приписанный к Пятой симфонии, с которой ничего не делают ни валиум, ни героин, ни опиум, заложник старика ван Людвига, я собираюсь на последние деньги в Лозанну — менять кровь. Старый трюк, быть может, сработает.

*Петр Грозный*

Э. Л.

Письмо было из Нового Йорка. Эд писал, что дела идут хреново, но что ему достали плащ только что отбросившего копыта нацистского преступника из Джерси и теперь он ходит в нем, поддевая толстый свитер. «Настали собачьи холода»,— писал он.

Я порылся в пластиковом пакете, мусорного ведра у меня не было, и вытащил кофейный фильтр. Скелет виноградной ветки прилип к засохшей гуще. Дурная осенняя муха, воображая себя военным вертолетом, пропилила по воздуху и врезалась в окно. Странно, денег давно не было, однако мусор откуда-то брался. Я пропустил воду шесть раз через фильтр, и он развалился. Пойло мало походило на кофе. В пустой сахарнице на стенках еще оставались шершавые наросты. Я влил туда свою бурду и размешал. Теперь эта муть окончательно остыла.

Еще Эд писал, что девица, у которой он снимает комнату, с утра торчит на гашише, а ее приятель не слезает с иглы. «Из окна видно, как рыжие такси удирают в сторону океана. Трава подорожала, но не очень. Бах отрастил усы. Ирка купила военный джип. Вчера в сквере кого-то шлепнули. Стрельба как по телику. Я выключил звук».

В распахе тяжелых штор было мутно и мокро. Субботний полдень смахивал на гнилую полночь. соседский транзистор мучил гортань чем-то ближневосточным. Если засохший хлеб подогреть в тостере, он иногда устраивает пожар. Если попробовать зажарить в тостере кусок мяса, получается замыкание. В армии, шесть тысяч километров на восток, в каптерке сержантской школы я варил кофе на перевернутом утюге. Был поздний май, и на цветах гарнизонной клумбы лежал снег.

Я врезал по регулятору обугливания, и тартинка моя катапультировалась. В конце письма Эд писал, что Новый Йорк ему обрыд и делать там нечего. Еще был

постскрипtum: «Забрел я невзначай к Чапу. Хозяин нес несусветную чепуху, подкуренные голые девицы бродили меж незаконченных шедевров старого охломона. Одна из них все пыталась совокупиться с хозяйским бульдогом. Я сидел в углу, читал Коллинса. Потом мне стало так тошно, что я встал, разбил о лысый череп Чапа его же статуэтку и ушел».

Покончив с завтраком, я наскоро прибрал постель — драный волчий тулуп на раскоряченном матрасе, оделся, нахлобучил волглую шляпу, и, прихватив толстый, венесуэльскими марками заляпанный конверт, по кривой лестнице свалился вниз. Шел второй год моей парижской жизни, но все же каждое утро, просыпаясь, каждый раз, выходя на улицу, я должен был себе повторять: я в Париже; этот человек, несущий торт,— француз, эта дама, показывающая разинутую в вопросе пасть, мечту дантиста,— француженка. «Excusez-moi,— сказала дама.— *Pan gosumie ro polski?»*<sup>1</sup>

Через полчаса я был на Ронд-Пуан. Меж складных столиков, в прорезиненных плащах, под зонтами, толкались коллекционеры. Марки и монеты, значки, открытки, ордена и медали — все было затянuto в солидный толстый пластик. Пожалуй, самое главное изобретение века: то, чем нас всех затянет сверху после последних спазм. Я скользнул глазом по Верденской битве и Версальскому миру, отметил присутствие бронзового бюста казанского шутника, улыбнулся улыбчивой Мэрилин и подошел к розовощекому, белоресничному дяде. Флегматично он клюнул носом в мой конверт и отрицательно мотнул рыжей копной спутанных волос. Я забрался в самые дебри торгога, к жаровне продавца каштанов. Седобородый старикан любовно закручивал пробку ополовиненной коньячной фляжки. С полей его лиловой шляпы — как лошадь, он вскинул голову и фыркнул — брызнули дождевые подтеки. Повернув ко мне заросшее волосами ухо, он

<sup>1</sup> Простите (*франц.*) ...Господин понимает по-польски? (*польск.*)

внимательно выслушал ублюдочную в моем исполнении французскую фразу и, слезясь глазами, проваливаясь дырой рта, утираясь платком, стираным в прошлом веке, сказал: «Русский? Вряд ли, приятель, ты когонибудь здесь этим заинтересуешь. Попробуй у букинистов...»

В конверте были дореволюционные деньги, чеки, несколько похожих на марки купонов времен братского кровопролития по обе стороны справедливости. Когда-то на том свете, в той жизни (семьсот дней разницы; каждый, как пуля, попавшая в цель), от которой ничего не осталось, кроме налета безумия на нынешней, что-то вроде двойной экспозиции в фотографии, я собирал эти банкноты, старательно классифицировал и даже имел редчайший, стоивший в Москве гораздо больше всей моей коллекции каталог. Отправляя наперед с приятелем дипломатом рукописи, я почему-то вообразил, что смогу получить за свою коллекцию приличные деньги, и, в обход министерства Цербера, вложил в посылку и этот конверт.

Букинисты послали меня на Риволи, в чистенький скучный магазин, где под стеклом были похоронены сплюснутые конверты с английскими королевами, островами Тринидад-де-Тобаго, Св. Елены и Вознесения. Адреса на конвертах, как им и положено, побледили от сырости недалекого Коцита. Хозяин, не глядя, объяснил мне, что царские деньги в Париж свозили мешками и что теперь я могу сесть где-нибудь возле Сены и делать из своих двухсотрублевых бумажные кораблики. Я откланялся, чувствуя себя полным идиотом, и вышел в дождь. Если можно себе представить жизнь на дне унитаза — мимо проскочил школяр с плиткой шоколада и перемазанным ртом, — то это был тот самый случай. Время от времени кто-то невидимый спускал воду.

Дойдя почти до Нового моста, я повернулся, чуть не сбив галопирующую к автобусу стерву («Merde!»<sup>1</sup> —

---

<sup>1</sup> Дерьмо (франц.).

роняя сумку, завопила она: таблетки, помада, мелочь, цепочка — полный перечень займет семь томов), и зашагал назад к магазину. Тренькнул дверной колокольчик, объявляя о моей капитуляции. Я просил за всю коллекцию, за Петра Первого и Екатерину Великую, за двуглавых орлов и закорючки казацких казначеев, за чернильные штампы спорадических правительств, сто франков. Одного Делакура или двух Делатуров<sup>1</sup>. Мне хотелось свернуть боевую операцию, купить бутылку скотча и завалиться в постель. Хозяин не оценил моей щедрости, и в компании дождя я потащился по черному гляncу мокрых мостовых. Отражения реклам уже дрожали в плоских лужах. Город был поцарапанной копией давным-давно знакомого фильма. Клошар, сидя на корточках, спал под навесом банка. Из остановившегося «ягуара» высунулась нога в черном чулке, попробовала мостовую и втянулась обратно.

«Париж — это подарок, — совсем недавно уверял я Эда. — Это уже сто очков вперед и неоспоримое преимущество. Люди тратят жизнь, чтобы выбраться сюда. Мы же с тобою обжили его, как когда-то Петровку или Сретенку». Все это так, все это так, но неплохо было бы иметь немного твердой валюты. Я подумал о надвинувшемся вплотную вечеру и выругался так, что сдвоенный полицейский патруль остановился и уставился на меня. Неужели они уже понимают порусски?

«Когда нет своей квартиры, — теоретизировал Эд, — нужно по крайней мере иметь приличный костюм. Ты не можешь пригласить к себе даму, но зато сам можешь пойти в гости. Желательно сначала прогуляться по набережной до Ботанического сада. Гвоздика в петлице, конечно, анахронизм, но каждый украшает свою жизнь как может». В последний раз, когда я видел Эда,

---

<sup>1</sup> На пятидесятифранковых банкнотах изображен французский художник Морис Квентин Делатур, на стофранковых — Эжен Делакура.

на лацкане его пиджака английской булавкой был приколот пластмассовый цветок. «С макушки американского деньрожденного пирога,— пояснил он.— Вавилонская башня из крема и миндаля, наверху вот эта хреновина... Был в гостях у кого-то на крыше. Отличное место для пулеметного гнезда...»

В гости, кстати, и я должен был идти вечером. Странно, когда есть деньги, Париж сияет прямо-таки черным жемчугом. Гнилой, за ворот льющий кому-то другому дождь кажется тогда чуть ли не философски оправданным контрастом к жаркому камину, толстой сигаре и стареющей, но еще хоть куда потаскушке, выходящей из ванны в пеньюаре. Икота от шампанского одолела ее, и пеньюар, просвечивающий со всех сторон, года через два будет подарен кухарке. «Shit, alors!»<sup>1</sup> — сказал я, входя в магазин ламп и выбирая что-нибудь трехсотваттное, чтобы быстрее согреться. Нужно было звонить Лоранс, извиняться, отказываться. Она отлично готовит, эта стерва. И вино у нее прекрасное. К тому же будут гости. Богатые, любящие задавать умные вопросы. «Вы давно из вашего рая? Ха-ха-ха! Не страшно гнить вместе с нами? Что вы думаете об этом... как его, One-drop-of<sup>2</sup>. Предпочитаете Drop-off<sup>3</sup>? Молодо выглядите для ваших лет... Держали на льду, в Сибири? Уморительно... Вот это шутка...» Иногда среди гостей попадают егозливые, пресыщенные всем на свете красотки. Джет-сет<sup>4</sup>. Или их семнадцатилетние дочери, которым наплевать, что ты живешь в дыре или что у тебя разлезлись брюки и тебе не в чем идти в гости. Им, наоборот, только такое и подавай. «Что-нибудь выбрали?» — пропел ангельский голосок за спиною. Я обернулся. Тигрица. Охотится деньденской меж бронзовых ламп. Набита опилками и сче-

<sup>1</sup> Черт побери! (англ. и франц.)

<sup>2</sup> Игра слов, образованная от фамилии Андропова; букв.: одна капля чего-либо (англ.).

<sup>3</sup> Отбросить (англ.).

<sup>4</sup> От англ. jet-set society — богатые люди, постоянно летающие самолетами.



тами из банка, грудь точно уравнивает зад. «Нет ли у вас...— в голове моей затрещали зеленые электрические молнии,— лампы-телефона? Знаете, такой прозрачный светящийся телефон? Китч, но можно поболтать с Сан-Диего, штат Калифорния?» У нее было все. У нее можно было отовариться парочкой кассетных боеголовок. Но меня не устраивал диск. Какого дьявола? В конце века крутить вертушку, как какой-нибудь провинциальный ухажер? Я предпочитал кнопочную систему. Сняв шляпу, от которой валил пар, я отклонялся. «Приятного вечера»,— сказала тигрица. «Bon weekend,— пятиялся я,— good fuck...»<sup>1</sup>

У Лоранс я встретил Фелин. Мы договорились сыграть в теннис на следующий день. Стояло бабье лето. В Люксембургском саду девочки бэби-ситтеры глазели на старательно гоняющих в мяч молодых людей. Чем дольше они глазели, тем лучше молодые люди играли. Антонио, большой специалист по части кадрежа, разболтанной походкой подваливал к розовокожей блондинке. На его набриолиненных волосах лежал солнечный блик. Золотая цепь качалась на мохнатой груди. Времени он не терял. «Привет,— говорил он блондинке. — Пойдем трахнемся?» Ирландская подданная, вспыхнув, застревала между улыбкой и слезами, в дальней беседке гудел и набирал силу заключительный аккорд симфонии, исполняемой американским военным оркестром, и от монпарнасской башни вдруг выныривал темно-вишневый вертолет телевизионной компании. «Если не пропускать ни одной,— объяснял Антонио,— где-то через два десятка срабатывает».

Фелин была сложного происхождения. Немецкий папа был увлечен малазийской мамой в садах Сиднея. Сама Фелин рекламировала косметику и шляпы в японской фирме. Появилась она в умопомрачитель-

---

<sup>1</sup> Хорошего уикенда (англ. и франц.) ...приятного спаривания... (англ.)

ном теннисном костюме. Ракетка ее стояла чуть больше недельного путешествия в Агадир. Играть она не умела. Я подкидывал ей мячи, и она лупила изо всех сил, в основном мимо или попадая ободом. «Гляди на мяч,— вопил я.— И сядь ниже! Согни ноги...» С ногами у нее все было в порядке. Такие ноги уже были пособием по безработице. Антонио отлип от ирландской няньки. «Махнемся? — крикнул он.— На монгольскую лошадку? А? Сто километров в час! Вся из вздохов и сбитых сливок!» — «Кто этот хам?» — спросила заливающаяся потом Фелин. «Симпатяга,— я собирал новенькие ее мячи,— задвинут на бабах. На днях уговорил несовершеннолетнюю девицу из столицы вальсов. Не держи ты ее как топор! Возьми свободно...— Ракетка у нее в руке дрожала.— И они помчались бегом в его студию. Через пять минут девица вернулась — забыла в песочнице трехлетнего карапуза». — «Понятно,— сказала Фелин,— и ты такой же?»

Я пригласил ее в китайский ресторан. У меня был последний чек. Главное было правильно вписать счет. Обычно у меня уходило на ошибки во французском два чека: первый с ошибками и корректурой, второй — нормальный. Она прекрасно разбиралась в китайской кухне, но ничего не пила. Я выцедил бутылку «брюи», и хозяин принес мне чарку сычуанского ликера. На фарфоровом дне ее была голая девушка, но стоило только выпить густой сок, как она исчезала. «Все правильно,— решил я тогда,— девушки должны существовать только в тягучих крепких настойках». «Терпеть не могу спать одна,— сказала Фелин. По спине моей промчался эскадрон мурашек.— Я всегда реву, как корова...» — «Я, право, живу в курятнике,— начал я,— но если ты не боишься...»

Она бодро вскарабкалась на шестой этаж. Ключ мой не попадал в замок. «Ну и гнездышко,— улыбалась она.— На каком это языке?» — «На русском». — Я собирал разбросанные страницы. Она стояла голая, подсве-

ченная светом из ванной. У нее было худое крепкое тело. Детские лопатки. Неожиданно большая грудь. Иссиня-черные волосы падали до ягодиц. «Слушай, можно я возьму твою зубную щетку?» Дверь она, вряд ли по рассеянности, не закрыла. Я видел, как она журчит, лениво рассевшись, продолжая чистить зубы. «Эй! — сказала она минут через пять. — Мы друзья? Из-за того, что я в твоей постели, не обязательно трахаться?» — «Да? — переспросил я ошарашенно. — Ты чего-нибудь боишься?» — «Не люблю, когда *это* внутри, — и, откинув свои роскошные волосы, она одарила меня мокрым резиновым поцелуем, — баюшки, спи спокойно...»

Легко сказать! Она повернулась к стенке и пошла ко дну. Полночи я провертелся рядом с этим горячим смуглым телом. Под утро, когда бледно проступили сквозь шторы контуры соседней крыши, все произошло само собой. Она что-то бормотала, облизывала пересохшие губы, но, впрочем, так и не проснулась.

С тех пор она повадилась звонить. «Слушай, — говорила она, — я приду к тебе спать. Можно? У меня есть для тебя «Черная лошадь», белая этикетка... Или наоборот...» — «Но, Фелин, — начинал отнекиваться я, — ты же знаешь...» — «Нет и нет! Обещай мне, что мы не будем трахаться. О'кей? Ну что тебе стоит? Майкл уехал в Рим. Жан-Поль подцепил герпес. Я одна и реву как дура...» — «Нет! — рычал я. — Нет и нет. Я живой». — «Ну, хорошо, — стонала она, — я пришлю тебе подружку, она помешана на сексе. Ты ее трахнешь, а позже я приду спать. Согласен? Ну что тебе стоит?»

Обо всем этом я думал, тащась по набережной. Дождь разошелся вовсю, но мне было уже наплевать. Я нашел автомат, который еще глотал двадцатисантиметровые монеты, и позвонил Лоранс. «Я не приду», — сказал я. «Что-нибудь серьезное?» — «Свидание с резидентом

КГБ». — «Брось свои шуточки, в чем дело? Объясни. Я могу что-нибудь сделать? Хочешь, приходи позже!..» Я повесил трубку. У Лоранс была отличная черта — она никогда не выпендривалась. Однажды, ища зажигалку в ящике спального столика, я нашел небольшой, размером с последний подарок, пистолет. Она сидела перед зеркалом, разбирала себя, как елку после Нового года. Я навел пистолет ей в затылок, у нее была высокая девичья шея. «Заряжен,— спокойно сказала она через зеркало,— спички ниже...» Я должен был ей тысячу франков. Не хотел брать. «Не валяй дурака,— отмахивалась она,— для меня это не деньги. Отдашь после первого миллиона». Однажды, притащившись на чердак, я нашел в кармане пиджака две пятисотфранковые банкноты. Месяц или около того я не появлялся у нее. «Дурак»,— комментировала она, поймав меня в кафе. Мы пошли к ней. Вечером она шла в оперу. Я лежал в подушках со стаканом красного, она, побледневшая, брила ноги.

Ноги мои промокли, поля шляпы обвисли. Но конверт был двойной, пластиковый внутри, я за него не боялся. Я мечтал о рюмке коньяка. Большой рюмке душистого, в ладонях согретого коньяка. Зайти в кафе, выпить пару стопок и дать деру? Стать у двери, чтобы выскочить в одну секунду? Я знал недалеко скромный бар, боковой дверью выходивший в узкий, плохо освещенный пассаж. Можно было бы смыться без проблем... Что меня останавливало? Припадок идеализма? То, что на подобные операции здесь, во Франции, я не был готов? Там, дома, где все было издевкой, я бы не задумался и на минуту. Здесь меня останавливал принцип. Я, видите ли, уехал принципиально. Merde...

Было семь вечера — колокол поделился со мной этой арифметикой с вершин Сен-Сюльпис. Я стоял, разгля-

дывая через разрыдавшееся стекло нутро уютного темно-вишневого паба. Японский бог! Там был камин, и в нем только что, подняв сноп искр, развалилось огромное полено. Бармен, он же, судя по всему, хозяин, присев за столик, трёкал с толстой, щитовидкой отмеченной дамой. Ее выпученные глаза гуляли по феллиневскому гриму лица. Стойка, чудесная стойка с армией красивых бутылок, была украшена банкнотами всех стран мира. Я даже разглядел советский трешник. Нужно было что-то решать. На что-то решаться. Со стороны Сен-Жерменского бульвара налетал ветер, и уже совсем по подлянке заливал дождь чуть ли не в ноздри. Я толкнул дверь паба, стряхнул воду со шляпы, кивнул хозяину и уселся поближе к выходу. Вода стекала с плаща на пол. Я не стал его снимать. На всякий случай. «Чем вас порадовать, молодой человек?» — навис надо мной хозяин. Рукава его рубахи были завернуты, и оттуда торчали здоровенные, смоляным волосом заросшие ручищи. В пабе было жарко, все было раскалено — стены, настольные лампы под кровавыми абажурами, медь стойки, улыбка хозяина, его бугристые кувалды... «Кальва,— сказал я. — Большую рюмку». — «Обычного? — переспросил хозяин. — Высшей марки?» — «Высшей», — опустил голову я; какая мне была разница... Он принес большую,верху сужающуюся рюмку. Янтарного цвета жидкость плескалась на дне. Я вспомнил перелет из жизни в жизнь, рейс Аэрофлота Москва — Париж, соседа-номенклатурщика, который требовал, чтобы стюардесса долила ему коньяка до верхней кромки. «Ишь, — жаловался он, — заграница! стакан коньяка налить не могут! Что я — школьник, что ли!» И, крякнув, он влил в себя двести грамм коньячку и уставился в окно, где вместе с нами сваливали на Запад бледные балтийские облака.

Я не мог ждать, пока кальвадос согреется, и отпил добрую треть. Мой, не слишком переполненный, желудок скорчило. Плевать. Отпустит. Я знал, как это

бывает. После армии там что-то прохудилось. Радиация и дерьмовая еда. В те годы моей мечтой была банка сгущенки за пятьдесят пять копеек. В солдатском ларьке кроме нее продавались лишь каменные мятные пряники. Однажды, после десятикилометрового марша по зимней тайге, ворвавшись в такую уютную после снега, снега и снега казарму, я рванул к своей тумбочке, где в углу, за книгами, стояла ополовиненная банка с голубой этикеткой. Молоко засахарилось, комки его хрустели у меня на зубах. Капрал, занимавший верхнюю койку, разматывал почерневшие портянки. После того как основная масса вытекла, сгущенка затормозилась: дырки были слишком маленькие. Штык-ножом я открыл банку — внутри было штук двадцать утопившихся тараканов. Это они хрустели у меня на зубах. Странно, меня даже не вырвало.

Зашла парочка. Седой хмырь в дорогих очках и студенточка. Взял себе вербенового чаю, а ей горячего вина. Правильно. Чтобы мозги у нее запотели. А свое здоровье пора беречь. Студенточка смотрела, словно извинялась. Давай-давай. Тебе легче. У тебя ... . Гораздо честнее иметь ее меж ног, чем во лбу. У многих она во лбу. Идет человек по улице, и видишь — у него она во лбу. Теперь кальвадос согрелся, и я блаженствовал. Хозяин вернулся за стойку и мыл стаканы. Жар камина накатывался на меня. На что это похоже? На темно-синий снег за крестом окна и малиновое варенье. Желёзки распухли, и мать заматывает тебе горло шарфом. Не канючить! Совсем он не колючий. Форточка открыта, и перед сном в нее влетают огромные снежинки... Я потрогал шляпу. Бедная, как тебя перекосило. А ведь из хорошей семьи, с авеню Матийон.

География памяти! Боже! Зачем мне эти тонны деталей? Для чего? Студенточка нервничает. Хмырь не спешит, снял очки, протирает их салфеткой. Глаза у него без очков маленькие-маленькие. Эд где-то писал, что хорошо спать с любимой женщиной. Точно. Совсем неинтересно с Фелин. Гораздо уж лучше с Лоранс. Но

с нею всегда такое горькое чувство. Словно она тонет, а у тебя увольнительная на берег. Когда я в последний раз спал с любимой женщиной? Год прошел. Больше. Секла все на свете. Никаких сносок и комментариев. Ночами, пустой навывлет, я спал у ветвями исхлестанного окна. Она — в шерстяных рейтузах и халатике — сидела до утра за чертежным столом, выводя обод теннисной ракетки для новой рекламы или крыло альбатроса для сигаретной пачки. Я проспал ее. Я слишком счастливо спал в те ночи. Теперь, где-то в Челси, в толстом свитере и балетных чулках, она сидит за обеденным столом, раскрашивая двухпалубные автобусы. И муж ее храпит, обняв подушку.

Я почти допил кальва и стал рассматривать дверь. Никто не входил, и я забыл, в какую сторону она открывалась. Неважно. Это потеря двух секунд. Нужно лишь подождать, пока поток машин у светофора начнет скрежетать коробками скоростей и красный свет переключится на зеленый. Я высчитал, что реле срабатывает на тридцать шестой секунде.

Большинство машин трогается уже на пятой... Учитывая лужи, плохую видимость, плащ и беспризорность, на катапультирование и занятие позиции на противоположном берегу уйдет двадцать секунд. Все дела.

Я пытался придать шляпе форму. Бесполезно. Дверь открылась вовнутрь. Вошла женщина. Вся в коже. Волосы собраны в пучок, блестят от дождя. Хозяин включил музыку: Blue Rondo à la Turk<sup>1</sup>. Заря сопливой юности. Студентка расплачивалась вместо хмыря. Хозяин собирал со стола. Я подозвал его. «Собираете иностранные деньги?» — «Тридцати двух стран, — улыбнулся он. — Вы откуда? Мексиканец?» — «Маленький подарок», — я протянул ему пятисотрублевку 1901 года с Петром Великим в рыцарских латах. Хозяин взял ее и крикнул. «Это слишком... — Он поднес ее к лампе. — Это что же?» — «Россия до

---

<sup>1</sup> Композиция Дейва Брубeka «Голубое рондо по-турецки» (франц.).

революции». — «Так вы русский?» — «Ага... На эти деньги можно было хорошо погулять... Кстати, сколько я вам должен?» И я полез в пустой карман. Пламя камина полыхало на стеклянной двери, сквозь огонь неслись взмыленные машины, светофор заклинило на зеленом. «Но, но, но! — жестом обеих рук словно отодвигая меня, запротестовал хозяин. — Ни в коем случае! Кто же это? Ваш царь? Иван Грозный?» — «Петр Великий». — «Ну да! Петр Грозный... Вот это подарок...— И он, перегнувшись через стойку, достал с полки бутылку и плеснул мне двойную, тройную порцию кальвадоса. — От фирмы... Я, пожалуй, вставлю ее в рамку...» Он, все еще разглядывая банкноту, зашел за кофеварку и, сняв со стены фотографию велосипедного клуба футбольной команды, примерил к рамке Петра Грозного. «Juste!»<sup>1</sup> — констатировал он, потроша картонное нутро.

Дама заказала прог. «Голубое рондо» крутилось по третьему кругу. Все было хорошо. Даже то, что Фелин не любила *это* делать, а Лоранс не могла без *этого* заснуть. Когда-то Лоранс была Фелин, а Фелин со временем станет потускневшей, напуганной, жадной до мужиков Лоранс. Все было отлично и как надо. Всегда все как-то устраивается. Если не ныть. Получил же Эд свой плащ! Я поднял рюмку и приветствовал даму в двух кожах. Под одной еще текла горячая кровь.

Она улыбнулась. Ее крупные зубы были перемазаны губной помадой. Краем салфетки она оттирала их, кося в карманное зеркальце траурно отороченный глаз. Пожалуй, я был единственным на земле человеком, отоварившим царские деньги через шестьдесят три года после революции.

Еще Эд писал, что русские эмигранты в сабвее вместо токенов пускают в ход трехкопеечные монеты. Дама достала сигаретку и фальшиво вертела головой. Я полез за спичками в карман. Они отсырели.

---

<sup>1</sup> Как раз! (франц.)



## Лора

В последний раз я ее видел на Пушкинской. Она спешила куда-то под крупным медленным снегом. Я хотел окликнуть ее, но не решился, и она прошла совсем близко, так, что на меня пахнуло знакомыми духами. Снег начал уже закрашивать ее на зебре перехода, но вспыхнули лиловые уличные фонари, и она мелькнула в последний раз возле углового армянского магазина.

Всего этого больше нет: снега, падающего завораживающе медленно, чугунных лампионов, Лоры. Ночные улицы Парижа освещают витрины магазинов и террасы кафе. Со снегом плохо. То есть в горах его сколько угодно, но то в горах. Единственно, где мне опять померещилась Лора, это в Нью-Йорке. Был февраль, и от Лексингтона до Парк-авеню нужно было пробираться, как в Арктике,— согнувшись вдвое, ложась на ветер, скользя и карабкаясь через сугробы. Впереди меня мелькала знакомая скусная шубка, снег слепил, и я не мог при всем желании рассмотреть спешащую женщину. Но в какой-то момент мне показалось, что это она, Лора. Фонари светили мертво и дико, как в Москве, буксовал кеб такси в снежной каше, вдребезги пьяный верзила пытался прикурить на ветру, терял равновесие, зажигалка гасла, и он, выругавшись, швырнул ее в темноту. «Лора?» — крикнул я против ветра, прекрасно понимая глупость и невероятность положения. Женщина повернулась. Это была черная девушка с настороженным, но мягким взглядом. Я извинился и проскочил мимо.

И вот теперь душным вечером в кафе на Шатле она сидела за соседним столиком, пила кофе и смотрела в окно. Она не изменилась. Волосы были так же высоко подобраны, обнажая шею. Та же нитка тусклого жемчуга, единственное, что осталось от матери, ссыльной пианистки, спадала в вырез платья. Я помнил движение, которым она расстегивала колье: высоко поднятые локти, две шпильки в зубах, отсутствующий взгляд. У нее было свойство затуманиваться. Температура человеческих отношений действовала на нее, как дыхание

на стекло. Она то теряла прозрачность, то была видна насквозь до неприличия. Гарсон принес мой коньяк и стоял, дожидаясь денег. Не глядя, я протянул ему сотню, я боялся оторваться взглядом от столика Лоры, словно я сам вызвал ее появление напряжением заслезившегося взгляда и любое переключение энергии, внимания, излучения могло размыть ее, как сквозняк открытой двери клуба табачного дыма. Она смотрела в сторону подсвеченных струй фонтана, но не знаю, видела ли. Боже! Как был мне знаком этот поворот шеи и эта привычка перемаргивать, меняя фокус взгляда. Пожалуй, я знал лучше это глупое перемаргивание, чем балки потолка над моей кроватью за пять лет парижской жизни.

Она достала сигареты и спички, постучала сигареткой по пачке, как это она делала раньше с папиросой, зажгла спичку и задумалась. И это было мне знакомо до какой-то внутренней щекотки — зажечь спичку и забыть про нее. Она вздрогнула от ожога и бросила спичку в пепельницу, где тут же вспыхнул маленький пожар. «Пироманки обязаны выходить замуж за пожарников» — это был предел остроумия ее брата, офицера каких-то замысловатых войск. Гарсон кончил отсчитывать сдачу и отошел. Мысль о том, что она делает здесь, в ночном кафе, где меломаны обсуждали только что закончившийся в соседнем театре концерт полуживого короля джаза, как-то не возникала. С одной стороны, я прекрасно знал, что она невыезжая, с другой — я отвык от непроницаемости слова «граница». Продавщица цветов с кокетливой корзиночкой и измученным взглядом пробиралась меж столиков. Слабый запах жасмина мгновенно вызвал к жизни поворот темной после дождя аллеи и переплеск недалекой волны. «Откуда?» — спросил я бархатный рукав. «Из Туниса», — был ответ. Я купил к черенку аккуратно привязанные, в букет собранные цветы жасмина и встал. Невидимые руки уже закрывали окно, аллея вспыхнула и погасла. «Лора...» — позвал я ее. На лице моем медленно прорастала виноватая улыбка. Я знал, что будут слезы, что будут скомканные из разных эпох

слова, что мы отправимся к ней или лучше ко мне; я уже подумывал о том, что, несмотря на то что до дома рукой подать, лучше взять такси... Она наконец очнулась и посмотрела на меня. «Лора... — Я все еще улыбался. — Это же я!» Она ткнула сигарету в кофейную чашку, жест, который я никогда не одобрял, быстро-быстро высыпала на стол мелочь, и я услышал нечто нечленораздельное по-французски. В следующую секунду она вскочила. Какое-то время мы стояли друг против друга. Я, видимо, протягивал ей жасмин. «Послушай, — на нас смотрели со всех сторон, — давай поговорим. — Я попытался взять ее под локоть. Она продолжала по-французски. — Неужели и через пять лет ты не можешь мне простить какой-то чепухи?» Она вырвала руку и бросилась к двери. Подскочил гарсон, но, увидев, что за кофе заплачено, лишь смахнул со стола и унес пепельницу. Я вернулся за столик. Жасмин был телесно-розового цвета. По эмигрантской привычке я перевел ее испуг на язык шпиономании, назначил ей свидание в кафе с толстым, в роговых очках резидентом, перетасовал карты и напялил на нее вуалетку и шляпу, но Мата Хари из нее не получилась. Неужели она не узнала меня? Неужели она исчезла навсегда? Какое пошлое слово. Слово мертвое для философии, слово с дурным привкусом понимания смерти. Я залпом допил коньяк и вышел на улицу. Сухая гроза картавила над крышами. Огромный краб в аквариуме рыбного ресторана глазел на прохожих. Я остановился. И, рассматривая лязгающие по отражению моего лица клешни, я все понял. Конечно! Я же сбрил бороду! Бедная, затравленная Лора в чужом городе, быть может, только что сбежавшая из отеля, от чутких товарищей по группе, со школьным запасом французского бормотания, Лора, к которой, конечно же, лепились лениво-наглые мужланы и которых она не могла отбрить по-русски с московским шиком... Боже мой! Конечно же, я совсем изменился. Даже тогда, в России, когда я сбрил бороду в первый раз и, вернувшись домой с голым, как пятка, лицом, не открыл дверь своим ключом, а позвонил, мать, отворив

дверь, глядя в упор и улыбаясь, сказала тогда: «А Саши нет. Заходите попозже...» Краб шлепал клешней, пытаюсь оттяпать мое ухо. Такой клешней хорошо стричь колючую проволоку. Я повернулся уходить, и угол зоны возле пятого поста медленно наплыл на карнавальную Сен-Дени: солнце, наколовшись на колючки предзонника, кровавило снег; на ветке ели кемарил снегирь; в дверях секс-шопа хихикала парочка.

Я стал бывать в кафе каждый день. Гарсоны привыкли ко мне, хозяин кивал из-за стойки. Я был смутно уверен, что наша встреча допроявится в ее голове и она вернется. И она пришла. Было время ланча, и кролики с крольчихами пожирали салат на террасе. Пьер, лысый гарсон лет двадцати пяти, выкатывал на улицу пустые пивные бочки. Она стояла в дверях, дожидаясь, когда освободится проход. Темно-зеленое, цвета дачной хвои, шелковое платье было на ней. Волосы перехвачены такой же лентой. Единственно свободный столик был за моей спиной. Она, поднимаясь на цыпочках, пробиралась меж стульев. Я встал ей навстречу. Секунду она смотрела на меня, потом повернулась и вышла.

Прошло еще две недели. Однажды я видел, как она мелькнула на выходе из метро. Я выскочил с салфеткой в руке, но ее уже не было. Толпа сожрала ее — толпа между Риволи и набережной провинциально прожорлива и самодовольна. Каждый раз, попадая в ее бурление, я теряюсь. От меня не остается ничего, кроме тупого раздражения. Как сумасшедший я пробираюсь сквозь эти ленивые волны человеческого мяса и, вырвавшись, еще долго прихожу в себя.

Итак, она или жила рядом, или... Я все чаще, сначала смеха ради, а потом как вполне допустимую версию, трогал зазубренную мысль о явочном кафе. В конце концов, агенты — это и есть наши бывшие одноклассники и любовницы. На Мальте, во время дипломатического коктейля, встретил же я Валерку Ушкина, с которым прошло мое дачное детство. Я был

достаточно пьян, чтобы сообразить в долю секунды, что мне лучше не узнавать его. Я издали любовался им. Лощеный, без тени напряжения перескакивающий с языка на язык. Его готовили в Японию, и на японца он был теперь похож — язык разрабатывает адекватные мышцы лица. Интересно, под каким паспортом он путешествовал? И тогда почему бы и не Лора? В конце концов, рутина жизни агента — это не прыжки с поезда на полном ходу, а именно вялое посещение забегаловок и какие-нибудь невзрачные кивки головой.

Подобной чушью я и питался, сидя за пивом или сотерном. Выхать просто так она не могла из-за брата. Он был щитом и мечом, носил синие погоны и занимался вещами, враждебными научному марксизму, — исследованиями парапсихологии. Я терпеть его не мог. Самоуверенный, наглый тип, покрытый особым советским лоском. Любой фанерно-мраморный сезам открывался ему, стоило лишь показать краешек служебного удостоверения. В итоге, лишь бы ему насолить, не думая о том, ранит ли это Лору, я отбил у него егозливую хохотливую девицу. Признаком любого серьезного события зачастую является глупость. Она отворачивает изнанку рока. Лора ушла от меня. На руках у меня осталось шаловливое девятнадцатилетнее дитя, с которым я совершенно не знал, что делать. Снег начал падать в ту эпоху моей жизни. Не только сверху или сбоку, но и изнутри. Уехал Симонян. Смылся на надувной лодке через Эвксинский Понт Гера Чуйков. Сема Голштейн остался на гастролях. На месте Москвы образовалась густонаселенная пустыня. Я тоже подал на выезд. Как ни странно, помог мне уехать именно ее брат. До этого мне вполне непрозрачно намекали, что уехать я могу, но не на Запад, а на Восток. Но голубоглазый капитан, начальник штатных ведьм и хиромантов, нажал какую-то кнопку, и меня вышвырнуло из рая. Очнулся я в Париже. Жизнь была прекрасна, и единственно, чего мне не хватало, — его сестры.

В августе я подрядился отремонтировать квартиру хозяина ресторана, у которого время от времени я работал в баре. Деньги были хорошие, и мы закончили в двадцатых числах. Неделю я провел в Антибах на фестивале джаза, и мечта моего детства сбылась. Я познакомился со Стеном Гетцем и МакКой Тайнером. Они помирали со смеху, когда я рассказывал им про проделки наших подпольных меломанов. Мак спросил, почему бы мне не накатать несколько страниц про московских джазменов. «Даун Бит», он был уверен, оторвет статью с руками.

Я отоспался в Антибах и загорел. Вернулся я в Париж первого сентября, и в тот же вечер Лора пришла в кафе и никуда не убежала.

Счастье — слово, которого нет в моем словаре. Быть счастливым для меня еще хуже, чем быть мертвым. Точнее, это быть прижизненно мертвым. Опошление всего наилучшего в жизни — вот что такое счастье. В том, как люди произносят это слово, я вижу капитуляцию. Для меня жизнь состоит из восхитительно острых углов. Сказать «счастье» все равно что прокатить по моей жизни пятитонный асфальтовый каток. Когда меня спрашивают: ты счастлив? — меня начинает тошнить.

Мы сняли двухкомнатную квартиру возле Ботанического сада. Я все же сохранил свою крошечную студию в Маре. Она работала моделью у Анжело Тарлацци и в день получала столько же, сколько я зарабатывал за месяц уроками и стоянием за стойкой бара. Я не расспрашивал ее ни о чем. Лишь в первую ночь я попытался задать два-три усталостью анестезированных вопроса. Она бродила голая по моей студии, рассматривала безделушки на столе, открыла дубовый поставец, плеснула себе «порто», ушла в ванную и звякнула оттуда пробкой флакона. «Только бедные люди,— сказал она наконец, сидя в кровати,— бедные и одинокие имеют так много дорогих вещей...» Не то чтобы меня это задело. Вовсе нет. Но несколько вопросов уже

давно толклись на выходе. Она не хотела отвечать. Я не настаивал. К чему пугать судьбу? Гораздо труднее было привыкнуть говорить с нею по-французски. От русского она наотрез отказалась. Говорила она гораздо лучше меня, и я не удивляюсь. Она была полна тайничков и тайников.

Я не удивился бы, узнав, что она, забавы ради, выучилась иглоукаливанию, ядерной физике или каратэ.

Она улетала время от времени. В Рим и Нью-Йорк, в Токио и Амстердам. И хотя моей ревности было совершенно нечем поживиться, я придумывал idiotские, на уровне рисованных картинок, истории. Так, я совершенно серьезно подозревал ее в работе на министерство брата. Она была так хорошо вставлена в западную жизнь, так искусно вела дела, двигалась, говорила, покупала тряпки и подавала милостыню, жила с таким отсутствием комплексов, что я уверился в том, что она выпущена на волю не почирикать, а с серьезными, высшего класса, целями. Жизнь кишит совпадениями, стоит лишь этого захотеть. Взрыв бомбы в Венеции совпал с ее съемками на горбатых мостах. Похищение генерала Ллойда — с ее выступлением в Мадриде. Она была во время захвата ливийцами французского самолета и в Токио — во время покушения на премьер-министра. Хитроумно вырезанные составные картинки удалого терроризма каждый раз входили в паз ее замысловатого отсутствия. Но мысли эти обуревали меня, лишь когда ее не было. Стоило ей вернуться, заполнить воздух квартиры теплом, духами, телефонным чириканьем, музыкой, — я сдавался. Мои подозрения были постсоветской паранойей. Душа моя, от долгого сожительства с социальным прогрессом была взрыта страхом и разрыхлена. Залечить, заклеить пластырем эту в прошлое повернутую сторону души моей не было никакой возможности. Ампутировать, думал я одно время...

Лора была живым талантом. Я прекрасно знал это и в Москве. Вокруг нее все начинало вибрировать. Тусклая рутинная чушь обретала с нею смысл. И лю-

бовь — еще одно слово из языка толпы — была с нею не телесной возней, а возвращением домой, прочь, прочь из этой жизни. Мы поднимались с нею в такие высокие небеса, что падать назад, возвращаться во взмокшую свалку простынь приходилось минутами. «Самые лучшие мгновенья,— сказала она однажды,— когда голова совсем выключена, когда она не способна в этот мир включиться. Наше мышление, наше полужнание и есть наказание за эту жизнь. Мы застряли, живя не между раем и адом, а между раем и раем...»

Новый год мы провели на берегу океана, в Нормандии, вдвоем. Дом, уверяла она, принадлежал ее родственникам. Я поморщился на это заявление, но сдержался. Стеклянная стена выходила прямо на безлюдный пляж, волны были зимние, черные, с шепелявой пеной, бакланы сидели на мокрых кочках, и отражение камина плясало на стекле, на вислобрюхих полуживых тучах. Однажды, и это был как бы укол из заблудившегося будущего, сидя высоко в подушках с чашкой горячего вина, она сказала: «Ты знаешь, я не понимаю иногда, почему я с тобой...— И, увидав мое вспыхнувшее лицо, скороговоркой добавила: — Ты не бойся, я просто не понимаю...» — «Лора...— начал я и запнулся, это имя она запретила,— неужели нужно все понимать, всему дать имя? Неназванные чувства проживают свободнее... Названные обязаны уместиться в пять-шесть букв. Ты об этом? О том, что я никогда не сказал, что я...» — «Нет,— пепел ее сигареты упал на подушку,— вовсе не об этом. Мне хорошо с тобою, но я не знаю, люблю ли я тебя. Видишь, я не боюсь этого слова. Иногда мне кажется, что ты толкаешь меня куда-то. То ли в машину, где меня свяжут и увезут, то ли к обрыву пропасти. Я боюсь за тебя, Алекс. Не часто, но боюсь. Ты, может быть, хороший любовник, но плохой психолог. Ты не знаешь, что ты излучаешь...» Мы сидели в темноте. Лишь слабое пламя дрожало в камине. Фары дальней машины медленно пересекали комнату. Я взял ее руку. Она была вялой и холодной. Совсем невдалеке раздался смех. Лора потянулась и зажгла лампу. «Займись камином,— попросила она,— я думаю, к нам гости».



Это была веселая, изрядно пьяная компания ее друзей. Они прикатили из Сен-Валери и привезли с собой ужин. Кто-то тащил из машины корзину с провизией, кто-то открывал вино. Лора поставила старую пластинку с увертюрой Тристана. Они были чудные ребята. И Фредерик, и Пьер, и Соланж, и маленькая Валери. Толстяк Пьер — никогда в жизни не видел я худого Пьера, — лежа в ногах у Лоры, хохотал так, что с балок сыпалась древесная труха, и, не глядя, швырял в огонь косточки маслин. Соланж выпрашивала меня про русскую душу, а Фредерик и маленькая Валери исчезли в верхней спальне. Я слушал океан и не слушал Соланж. Мне хотелось выть. Опьянение первых месяцев с Лорой кончалось. Как когда-то в Москве, я чувствовал, что, если не сделаю решительного шага, она опять исчезнет. В Москве был бред, психическая катастрофа. Что мог я придумать теперь, через годы? Соланж кончила мастерить самокрутку гашиша и пустила ее по кругу. Я встал и вышел. Тучи снесло, и низкое небо было полно звезд. С трудом отыскал я Скорпиона и Стожары. Океан успокоился и лишь всхрипывал. Кто-то положил мне руки на плечи. В одной была самокрутка. Она была красавицей хоть куда, Соланж. Я повернулся. Это была Лора. Она шептала что-то, и впервые — мне послышалось — по-русски.

Начиная с апреля она стала исчезать. То это был обязательный уикенд в горах, куда она не могла меня пригласить, куда ей самой не хотелось ехать, но это было важно для работы. То это был двухнедельный показ мод на Реуньон, и, конечно, ни в одном журнале я не нашел и строчки об удивительном шоу для скупающих миллионеров. Потом грянули Филиппины, откуда она вернулась бледная, без намека на загар, и, наконец, Лос-Анджелес, из которого она звонила три раза и умоляла не волноваться: она задерживается.

Само собой, я сходил с ума. Сидя в пустом ресторане, после закрытия, я пил скотч и засвечивал пленку своего воображения. Я знал, что, не дрогнув, могу

уличить ее. Я не знал, что я буду делать после. В том, что она принадлежала мне, в своем праве на нее — я никогда не сомневался. Быть может, моя ошибка была в том, что я дал ей заиграться, что моя деликатная терапия не пошла ей впрок. Бывало, я просиживал за стойкой до утра и, вдогонку выпив кофе с коньяком на Контрескарп, тащился к себе домой. Волосы мои и одежда пахли табаком, в ресторане было вечно сизо от дыма. Раньше, возвращаясь, я мылся. Теперь же я просто валился на кровать и, если Бог был щедр, засыпал.

Самое удивительное, что, когда она возвращалась, я не чувствовал и тени измены. Наоборот, она была любвеобильна и, более того, в ней была другая температура страсти, другой градус. Я ничего не понимал. Мы засыпали обнявшись, но — что гораздо важнее — так и просыпались. Но конец близился, и, будь я умнее, я был бы рад скорой развязке.

Летом моя параноидная идея, что она работает на брата, вернулась с треском бумеранга. Она любила меня, любила больше прежнего, несмотря на все ее странные заявления. Но она исчезала. Кто-то выстригал из моей жизни день за днем, неделю за неделей. Кровавые стыки однажды перестали сходиться. Бытие мое разлохматилось, потеряло горизонтальность и направленность. Я не мог больше выносить эти шуршащие, собственного лязга боящиеся ножницы. Занавес моей жизни кромсали они: начав с маленькой, для подглядывания дырочки, гуляли теперь по черному бархату вдоль и поперек.

Ребенку было ясно, что исчезновения ее не были связаны с работой. В конце концов, были неоспоримые детали. Когда это действительно была ее работа, в доме появлялись новые сапожки, юбки, гребенки, шали — вся сказочная экипировка дуры-золушки. Несколько раз она заикнулась о том, что весь багаж теперь отправляет фирма. Но самое серьезное случилось перед ее выступлением в Лондоне. Ни за что на свете я не

опустился бы до того, чтобы рыться в ее бумагах. Она сама виновата. Укатив в Руаши, она забыла на столе паспорт. Я никогда не видел ее документов. Паспорт был на имя Инес Гюмо. Фотография была Лоры, той Лоры, которая вбежала под дуло объектива с русского мороза — раскрасневшаяся, снегом дышащая... По паспорту получалось, что она на три года моложе. Что ж, она всегда выглядела моложе своих лет. Я сидел, рассматривая эту подделку, когда раздался звонок — она вернулась за паспортом и даже не входила. Я протянул ей паспорт через порог и сказал по-русски: «Сделано высший класс. Поздравь при случае брата...» Она покрутила пальцем у виска и исчезла.

То, что ей приходится рисковать, быть может перевозить нелегально какие-нибудь бумаги или фотопленки, выводило меня из себя, но, с другой стороны, заставляло любить ее все сильнее. Да, да! Любить! Я сдался этому слову. Если бы я мог хоть однажды поговорить с ней начистоту, сорвать с нее эту идиотскую маску, вымолить у нее минуту доверия... Если бы... Что дальше — я не знал. Может быть, я заставил бы ее измениться. Не может же она заниматься этим всю жизнь. Фатальный риск покинувших организацию хорошо известен, но я что-нибудь придумал бы. Мы убежали бы куда-нибудь, где их нет. Я понимал, что они присутствуют повсюду, но все же до сих пор можно найти географическую складку, впадину, остров или горный хребет, где их зудение не столь назойливо. Или — наоборот — скандал. Гласность — лучшее оружие. Но тогда, Боже, я просто начинал сходить с ума, ее замучают допросами, заставят кровоточить ее память и, что вполне вероятно, могут одарить несколькими годами заточения. Я ведь не знал степени ее вовлеченности.

Посоветоваться было не с кем. Разговора с одним бывшим москвичом, специалистом по ржавому железному занавесу, не получилось. Я знал, что он работает кем-то вроде консультанта у хозяев «piscine», здешней контрразведки, но разговор в эту сторону подтолкнуть

не удалось, а сам я толком не мог объяснить, в чем дело. Я все еще боялся выдать Лору.

Все произошло само собой. Я выследил ее. Она гуляла самым пошлым образом под ручку с толстым типом, явно из посольства. Это был парк Монсо, советская канцелярия находилась в двух шагах. Даже через шесть лет после отъезда я не мог не узнать ни этих партийных брюк, ни этой привычки не двигаться, а разгуливать в разнузданном параличе. Шея выдала его с головой. Дурная шутка: его голова. Я помнил прекрасно эти вечно напряженные красные шеи жителей культа. Решение созрело в одну секунду. Я ел мороженое, полуотвернувшись от них. Веселый кольт, купленный у ресторанного певца за сущую чепуху, рыбой лежал в моей руке. Мороженое таяло. Я помню, как черносмородиновая капля запятнала мои брюки. Я должен был взять это на себя. Я должен был разорвать ее пути. Народу вокруг было много. Как раз то, что надо. Играли дети, судачили дамы, одиноко, положив подбородок на трость, сидели старики. Я подошел сзади. Пахнуло ее духами, и на миг у меня все поплыло перед глазами. «Лора...» — тихо позвал я, и, как и ожидал, первым повернулся он. Я держал кольт, как меня учили под Тамбовом: прижав к бедру и закрыв телом так, что выбить его не было возможности. Трех пуль ему не хватило. Я был щедр в тот день. Он получил всю обойму. Он лежал на садовой дорожке, и песок удивительно быстро впитывал кровь. Я смотрел на него и улыбался. Такие носки нельзя найти нигде в мире, кроме ГУМа. Меня держали за руку, я доедал мороженое. Лора сидела на корточках над трупом, и ее лицо, повернутое ко мне, было в ужасе. Она еще не знала, что была свободна. Я спас ее.

«Социалисты отменили смертную казнь» — вот первое, что мне сообщил дурак адвокат. По его идее я должен был радоваться. Я потребовал свидания с офицером DST. Адвокат не удивился, и на следующий день передо мною сидел приятного вида молодой человек,

который мог бы все же немного лучше изъясняться по-русски. Я, должно быть, волновался, и моя история в первый день выходила путано. Полностью и разборчиво мы записали ее на четвертый день, и господин Жером — фамилии, конечно, не было — уехал. Я стал ждать.

То, что французы решили не предавать гласности действительную подоплеку дела, стало ясно еще на предварительном следствии. Что ж, я им не судья. Быть может, мой выстрел (мои выстрелы) выбил из звена агентуры человека, о котором они предпочитали молчать. Быть может, им было невыгодно поднимать политический скандал. Лора не была арестована. Ей разрешили видеться со мною. Я молчал. Я слишком устал, чтобы говорить и объяснять. Она сказала, что после суда уедет в Америку, что не может оставаться в Париже. «В Америку?» — думал я... О, я знал, где эта Америка...

Спектакль суда был проигран по идеальному сценарию. Ни одному намеку на действительные события не удалось проскочить наружу. Прессы почти не было. Я получил пятнадцать лет. Мотив убийства — ревность. Жертва — пожилой коммерсант из Венгрии. «Ревность — да!» — хотелось крикнуть мне, но ревность к кому? Пять тысяч четыреста семьдесят пять дней — подсчитал я еще в зале суда. Что ж, время есть воспользоваться советом МакКой Тайнера и накатать книгу. Я начал с московского подполья, но потом все бросил. Занимал меня только один вопрос: сообщаемость будущего с настоящим. Однонаправленность жизненных событий казалась мне странной. Я был всегда уверен, что, так же как прошлое присутствует в настоящем, присутствует в нем и будущее. Мой поступок безусловно существовал в будущем, так же как и последовавшее за ним, глупое по сути, наказание. Сцена в парке Монсо проросла из будущего, дала трещину в настоящем и увяла в бумагах судебной канце-

лярии. Я начал писать эссе об обратной проводимости времени.

В октябре восемьдесят третьего года, ровно через двадцать четыре месяца после фатального для меня дня, я закончил труд. Бойкая девица из издательства «Колесо времени» приехала за манускриптом. У нее была тьма вопросов. Я молча улыбался. Я давно потерял интерес к внешним раздражителям. Мы выкурили по сигарете, и она ушла. Пьер, толстяк конечно, милейший парень-охранник, принес мой ужин. Я его съел. Ночью, впервые за два года, я не спал. Я не знал, с чего начинать утро.

Несколько вопросов иногда мучают меня. Знал ли я, что ты вовсе не Лора? Конечно, милая, знал. Ты была Инес Гюмо, и то был твой паспорт. Был ли я в состоянии психически ненормальном, навязывая тебе чужое прошлое, разговаривая с тобою по-русски, называя тебя не твоим именем и ожидая от тебя того, что ты не могла дать? Не знаю. Я вообще не верю в существование психических или иных норм. Неужели есть нечто, сдвиг от чего влево или вправо, вверх или вниз является сумасшествием? Зачем я это сделал? Любил ли я тебя? Мне было теперь не совсем ясно. Просто в парке Монсо на садовой дорожке скрестились лучи трех судеб, и вспыхнуло пламя. Любить? Ужасное все же слово. Да, любил. Была ли ты похожа на настоящую Лору? Не знаю. Я не знаю, была ли настоящая Лора...

1984

*Бодлер, стр. 31*

Старик Асинью умер, войдя в стеклянную стену. Ветер из пустыни дул вторую неделю, и теперь Даниэль носил очки. Про контактные линзы лучше было забыть. Джой сломала малую берцовую кость, но не знала об этом. Иза большую часть времени проводила у себя наверху.

Считалось, что она дописывает книгу. Но все знали, что она пьет и валяется голая в постели. Время от времени она звонила, и младший брат Асинью, Мамаду, в нитяных перчатках и с салфеткой, перекинутой через руку, поднимался по лестнице. Голова его была стыдливо опущена. И зря. В этом доме никто никого ни в чем не винил. Валентин продолжал бегать берегом океана, но теперь вместо пяти миль от силы пробегал полторы.

Старик Асинью, черный слуга, ни слова не говоривший по-французски, рано утром, когда все спали, вошел своей мягкой походкой в закрытую стеклянную дверь, отделяющую салон от патио. Никто никогда не знал, отодвинута ли дверь. И в это утро между ним и спящей водой бассейна, начинавшейся прямо от третьей ступеньки патио, не было ни малейшего замутнения воздуха, ни блика, ни штриха. Даниэль уже год твердил, что нужно наклеить на стекло хотя бы небольшую красную полоску. «На уровне глаз...» — добавлял он, и все улыбались. Глаза в этом доме у всех были на удивительно разном уровне. Иза однажды отправилась наверх искать ленту цветного скотча, да так в тот день и не вернулась. Полицейский офицер, примчавшийся на разбитом «пежо», но с включенной сиреной, часа через два после звонка, осмотрел раму с уцелевшим осколком и сказал, что стекло, видимо, треснуло давно и лишь поджидало удара посильнее. Если бы Асинью не нес тяжелый поднос, нагруженный посудой — Джой и Валентин трапезничали после ночного купания, — он успел бы отпрянуть от падающей стеклянной гильотины. По крайней мере отделался бы порезами. Но чувство долга не позволило ему выпустить из рук поднос, полный хозяйской посуды. Полторасантиметровой толщины пласт стекла, падая с высоты в три метра, чисто срезал его маленькое ухо, раскромсал шею и плечо и перебил сонную артерию. Шума никто не слышал. Под утро в доме спали крепче всего. Городские барабаны умолкали лишь часов в пять, уступая место пению муэдзинов. Ровно, как всегда, гудели кондиционеры, и на столике возле кровати Изы в стакане недопитого скотча плавала жирная, неизвестно как в спальню попавшая ночница.

Даниэль был хозяином виллы. Авиакомпания уже пятый год держала его на Западном берегу. Африка ему осточертела. Осточертела ему и жена. Но было не то поздно делать серьезные шаги, не то слишком рано. Даниэль никогда не мог забыть, что вся его карьера была построена на знакомствах Изы. Три недели назад ему исполнилось пятьдесят. Валентин прилетел из Парижа за час до того, как народ стал расходиться с юбилейной пирушки. На его бледное лицо оборачивались. Ошалевший от перелета, он бродил среди обнаженных спин и белых клубных пиджаков и пьянел, пьянел от цвета ночного неба, от сада, от влажных настойчивых запахов. В Париже третий месяц лил дождь.

Иза выпустила свою первую книгу, когда ей было семнадцать. Это была смесь еще не загустевшего цинизма и подкупающей наивности. Она была молода, красива, из старинной знатной семьи. Левая пресса хвалила ее за классовый бунт, правая — за бесконечные описания жизни в родовом замке. Все прочили ей великое будущее. Ее первый муж, репортер ТВ, погиб во Вьетнаме, но не на линии фронта, а в пьяной драке в ночном притоне. Нож, вошедший ему между лопаток, был сделан в Китае. Лишь однажды Иза воспользовалась им, разрезав несколько страниц цитатника председателя Мао. Молодая вдова оплакивала мужа не в одиночестве. Изрядная часть женского населения Парижа заливалась слезами. Даниэль выхаживал ее с полгода. В итоге они поженились. Десять лет промелькнули, как фильм: пока сидишь в зале, все кажется грандиозным, гениальным, но, выйдя на улицу, не помнишь ничего. После нескольких месяцев африканской жизни Иза пришла к выводу, что муж ее переметнулся на мальчиков. По крайней мере он заходил теперь в ее спальню только тогда, когда ему нужен был аспирин. Или же когда нужно было подвязать ему шелковый бант бабочки. В последнее время он носил шарфы, и Иза гадала, нарочно ли он нарушает протокол — в поле зрения всегда было больше послов, чем простых смертных, — или же это его увертка, нежелание стоять вытянув шею и задрав голову в ожидании конца удушающей



процедуры. Иза завязывала галстук-бабочку замечательно, но очень медленно. Была она на семь лет старше мужа.

Джой преподавала в местном университете по контракту, срок которого истекал через год. Вся белая колония давным-давно переспала друг с другом во всех возможных вариантах. Джой никогда до Африки не была счастлива с мужчинами. Ее первый черный любовник на двадцать седьмом году ее жизни сделал из нее женщину. С тех пор она не могла остановиться. Ее холодное европейское прошлое было размыто и расфокусировано. Она жила теперь в одном нескончаемом обмороке — взглядов, намеков, касаний, провалов. В тот день когда она познакомилась с Валентином, она спала утром со своим студентом и во время сиесты — с чехом из посольства. Чех был ее теннисным партнером, и последний сет обычно переносился в его спальню. На вечеринке она заприметила трогательного двенадцатилетнего щенка, сына то ли норвежского, то ли шведского дипломата. Танцуя с ним, чувствуя, как дрожит его рука на ее голой спине, она спросила, не хочет ли он выпить с нею в казино? Он побледнел сквозь загар и ушел просить у отца ключи от машины. При казино был знаменитый отель с широкими низкими кроватями, решетками на окнах и громадными вентиляторами. Молодой человек вернулся, играя ключами и испуганно улыбаясь. В это время появился Валентин. Он был вызывающе мрачен, словно Персефона послала его с умирающего континента в Африку по делам смерти. Джой была сильна в мифологии и под любую банальность подводила коринфские колонны. Ее американское имя произошло от любви ее матери к калифорнийским пляжам.

Валентин обычно отказывался рассказывать о своем прошлом. Да и себе он не позволял вспоминать о бывшем, скажем, до шестьдесят третьего года. «Я родился в двадцать пять лет,— объяснял он,— в пятом округе Парижа. О моих родителях известно лишь то, что они были счастливы». Какое-то время он бедствовал, и люди, знавшие его в этот период, говорили, что это

был тяжело пьющий человек, полный безумных идей. Его побаивались. Кто-то видел, как он поджег в кафе платье своей спутницы. Кто-то рассказывал, что Валентин прыгнул с Нового моста в проплывающую баржу. Баржа была гружена песком. Валентин верил в судьбу, и в благодарность судьбою ему был послан однажды молодой японский предприниматель. Они просидели в кафе «Маленький швейцарец» напротив каштанов Люксембургского сада до заката. Японец дважды звонил в Токио. Гарсон получил изрядные чаевые, а Валентин чек на двадцать пять тысяч. Это был аванс. Контракт был подписан через несколько дней. Валентин был машиной идей. Они появлялись из ниоткуда, всегда конкретно сформулированные, и, если их не пристроить в жизни, исчезали опять же в никуда. В пьяные минуты Валентин воображал внеземной мир, как огромный, звездами пропыленный склад идей. «Где-то внутри меня,— уверял он,— есть дыра, дефект рождения, быть может... Через нее и натекает информация». Валентину — и Кен это мгновенно понял — не хватало технического образования, чтобы получить хотя бы один патент. В «Маленьком швейцарце» был продан проект обыкновенного плана метро. Валентин предлагал его делать из толстого пластика, каждую линию метрополитена в виде капиллярного канала. В конце линии, там, где стояло название направления, должен был быть небольшой пузырь. «Волдырь,— пояснил Валентин,— как после часа гребли среди девушек в цвету по речушке Моне...» Эту фразу японец пропустил. Кен вообще должен был фильтровать эмоционально перегруженную речь Валентина. Пузырь на плане заполнялся спиртовой краской. Стоило приложить палец — краска разогревалась и бежала вдоль линии. В мире было множество метрополитенов. Кен решил взять патент. Валентин был в деле. Деньги перестали быть проблемой.

«I have a crash on him»<sup>1</sup>, — лежа к стене, сказала Джой чеху на следующий день. Чех почти не говорил

---

<sup>1</sup> Я втрескалась в него (англ.).

по-французски. Он курил, рассматривая ее худую спину. Джой была маленькой блондинкой. Ближе к вечеру Джой позвонила на виллу, поблагодарила за вечеринку. Даниэль пригласил ее выпить после ужина. Ночные попойки в саду при свечах или при полной бесплатной луне были в ходу. Впервые за долгое время Джой задумалась, что надеть. Валентин не заметил ее стараний. В пять утра на пляже песок был еще теплым, а ветер из пустыни — упругим. Валентин не нашел на Джой ни полосочки, ни пятнышка незагорелой кожи. Африка сделала ее черной.

Старик Асинью вошел в стекло, потому что хотел взять стакан, забытый на ступеньке бассейна. Кровь окрасила край белого тунисского ковра, натекла в бассейн. Даниэль приказал сменить воду. Мамаду, вместе с поваром, вытащили ковер в сад. Они пытались отмыть еще свежее пятно, но это был пустой номер. «У твоего брата слишком красная кровь», — сказал повар на волоф, и Даниэль понял. Он листал каталог красителей, когда Валентин спустился к завтраку. В честь старика на ковер обречен был быть до конца дней бордового цвета. Завтрак был накрыт на боковой террасе. На солнце, в просветах бугенвиллеи, сидели ящерицы. Намазывая джем на горячий хлеб, Валентин поднял голову — тяжелый военный «боинг» заходил на посадку; брюхо его было размалевано местным кандинским под камуфляж. Вдали рябил океан. На верхушке катальпы сидела хохластая птица с изумрудной грудью и длинным хвостом. Даниэль в очках выглядел старым. Рука его, протянувшаяся за молочником, дрожала. Послышались не ко времени дня меланхолические аккорды «Кёльнского концерта» Джарретта. Значит, Иза встала. «Будет истерика», — пообещал Даниэль.

Они были дружны какое-то время в Париже. Даниэль был завсегдатаем ночного клуба, одного из тех, куда женщина может попасть лишь по ошибке. Да и то переодевшись. Годы женитьбы кое-как волочились по ухабам. Он был урнингом, в классическом смысле, и,

если бы в Изе было бы хоть немного мужественности, упругости, прямоты, кто знает, может, они протянули бы еще несколько расплывчато-счастливых лет. Но она была как перезревший плод папайи. Ее мягкость, податливость, текучесть бесили его. То, что она принимала за сочувствие в самом начале их отношений, было действительно сочувствием, больше того — скорбью, но не по отношению к ней, а к самому себе. Незадолго до их первой встречи известный профессор, любивший резкость обхождения, пообещал Даниэлю скорую отправку в лучший мир. Набор слов, которыми он оперировал, напомнил Даниэлю приемы клерков из бюро путешествий. Короче, что-то происходило с кровью, и профессор, показывая отличный седой ежик, выписал ему крупными буквами транзитный билет. Первый раз в жизни Даниэль держал в руках билет «туда». Насчет «обратно», складывая чек вдвое, профессор развел руками. Поэтому в Изе Даниэля привлек именно траур. Она при жизни, ничего не зная, оплакивала его. Не слишком усердно, но достаточно драматично. К тому же ей шел черный цвет. Но через несколько месяцев головокружение, тошнота и странные оптические эффекты, которыми его снабжала щедрая на авансы смерть, исчезли. Тот же профессор опять разводил руками, опять складывая вдвое чек. Теперь Иза носила все светлое и слишком часто улыбалась. Она была умна, но ее чувственность делала ее абсолютной дурой. Даниэль не охладел, просто ему не нужна была больше чужая вдова, профессиональная сиделка. До нее это дошло с опозданием. И тогда ее начала раздражать его ухоженность, не чистота, а стерильность, не просто хороший вкус, а жеманность. Он отпустил бороду, она смотрелась как наклеенная. Его тело стало приобретать странную пухлость, обтекаемость. Он записался в спортивный клуб, несколько раз побывал в сауне, и на этом все кончилось. Назначение в Африку казалось ему выходом из положения, по крайней мере географическим. Но вышло наоборот. Работа была до смешного незначимой. Платили за ссылку. У него была вила, шофер, власть. Белая колония была небольшой, и жизнь шла

на виду. Черные ловили рыбу и танцевали. Или изучали медицину и танцевали. Белые пили. Даниэль прирастал к траве. Кокаин тоже был дешев. Его любовник, молчаливый, слишком молодой египтянин, присылал иногда вместо себя черных дружков. У них всегда были проблемы с деньгами. Даниэль по секрету от Изы снимал на пару с приятелем-дипломатом трехкомнатную квартиру в деловой части города. До виллы было пятнадцать минут езды берегом океана.

Валентин познакомился с Даниэлем в Париже, в клубе, куда он завалился с подкуренной, шляпу роняющей, известной старлеткой. Хозяин, выставив руки, словно он собирался обнять загулявшую парочку, бубнил что-то про правила клуба, двое худых мрачных парней выглядывали из-за его жирной спины, и все кончилось бы дракой, если бы в последний момент не появился невысокий человек с большими, навсегда удивленными глазами. Он что-то сказал на ухо хозяину, и их пропустили. Не в клуб, а к стойке бара у входа. Невысокий заступник, скучавший до этого в полутьме над третьим стаканом скотча, и был Даниэль. Ночь кончилась в дуплексе<sup>1</sup> актрисы за игрою в шахматы. Даниэль выиграл. Актриса спала в кресле, вытянув ноги, свесив руки. Шляпа, закрывавшая ей лицо, немного глушила ее юный храп.

Иза вообще не реагировала на новость. Ее волосы были туго повязаны косынкой. Она высыпала на стол целую пригоршню разноцветных пилюль. «Завтрак космонавта», — комментировал Даниэль. Бассейн наконец был пуст, и Мамаду мыл его из шланга. «Во сколько обещал быть Алекс?» — спросила Иза. Алекс был приятелем ее первого мужа, миллионером, страстным коллекционером живописи. Он жил на острове, напротив города, на расстоянии одной гаванны. «Ты заметил, — спросил Даниэль Валентина, — что люди с деньгами все чаще селятся на островах? У Алекса по крайней мере пять

---

<sup>1</sup> Двухэтажная квартира.

вилл в разных концах мира... Он обещал быть к аперитиву... Знаешь, почему на островах? — Даниэль снял очки и почесал переносицу. — На маленькие острова не падают большие бомбы...» Иза смотрела на мужа, холодно улыбаясь. Невозможно было сказать, из чего состояла ее улыбка. Но и сочувствие, и презрение входили в компоненты. Мамаду бросил шланг и шептался с поваром. Даниэль, уронив салфетку, поднялся и подошел к ним. Валентин увидел, что черные тоже могут бледнеть. «Слушай, — Даниэль вернулся и, подняв салфетку, швырнул ее на плетеное кресло, — они просят разрешения положить Асинью в большой морозильник... Черт-те что... Говорят, что родственники смогут добраться до города лишь завтра к вечеру или послезавтра утром. Мне все равно. Мамаду уверяет, что места хватит и продукты не придется размораживать...» Иза подняла вытаращенные глаза. Валентин отвернулся, внимательно разглядывая отвесно по стене поднимающуюся ящерицу. Она была отвратительно серого, землистого цвета.

Джой опоздала. Полчаса ушло на то, чтобы отделаться от чеха. Он ничего не видел особенного в том, чтобы уложить ее в постель перед свиданием с Валентином. Он был прав, раньше так и было. Она выставила его. Десять минут ушло на то, чтобы набить ледник выпивкой и едой, погрузить в машину; еще десять, чтобы домчаться до виллы. У нее был старый военный джип, который она лихо развернула в тупике перед виллой. Джип был списан из американского посольства, первый секретарь в свое время помог ей с покупкой, один из тех рыжих чудаков, которые не могут загореть даже в Африке. Подходя к воротам, она вспомнила, что забыла купальник, и в этот момент бампер джипа сильно ударил ее чуть выше лодыжки — машина не стояла на тормозе. Не шепотом, а шипением выругавшись, она прохромала назад и с треском оттянула рычаг тормоза. «Первая травма», — хотела сказать она Валентину, имея в виду свое разбитое сердце, но ворота открыл слуга, сообщивший ей о несчастном случае. Джой была суеверна и боялась не только про-

сыпанной соли, разбитых зеркал, гадания по руке, девятки пик рядом с девяткой бубен, наговоров, сглаза, марабу, гри-гри, танцев экзорцизма, но и любых скверных новостей. Словно она была счастлива незаконно и ожидала подлостей из внешнего мира. Валентин лежал в шезлонге, читал европейские газеты. Загар его был какого-то невероятного цыганского тона. «Что с ногой?» — спросил он. «Попала под колесо Фортуны», — улыбнулась она. «Нет, серьезно? — Валентин подозвал слугу. — Выпьешь что-нибудь?..» Они уже сидели в машину, когда вышла Иза. Она принесла две бутылки «мускаде» и купальную простынку для Валентина. «Ужин в холодильнике, — сказала она, — не спешите возвращаться». И посмотрела на Джой с любовью.

Сторож сидел на корточках в тени пальмы. Лук и короткие стрелы лежали на соломенной подстилке. Как всегда, на небе не было ни облачка. Грязная собака стояла, разглядывая мертвую землю.

На выезде из города она свернула к аэродрому, проскочила, несмотря на запрещающий знак, узкой, колючей проволокой отгороженной дорогой и остановилась на обрыве. Чья-то яхта делала ленивый поворот. Чье-то радио играло рэгги. Гора ржавых консервных банок была свалена у последней рогатки заслона. Джой посмотрела на часы, и почти в тот же момент, еще не обросший звуком, весь размытый тепловыми волнами, словно они смотрели на него сквозь видоискатель телеобъектива, вдали показался самолет. Его клюв качался на разбеге, потом выровнялся, грянул гром, и прямо над ними, так низко, что можно было попасть камнем в брюхо, ушел в небо «Конкорд». Валентин открыл холодную, под штопором скользящую бутылку. Они отпили по глотку, потом друг от друга, потом опять — холодной, смородиной отдающей влаги, и джип резко взял с места, оставляя за собой шлейф розовой пыли.

Дорога на юг спотыкалась об одноэтажные поселки. На обочине мальчишки торговали кокосовыми ореха-

ми, у автобусных остановок роились импровизированные базары, все было раскрашено лубочно-розовым, голубым, ярко-желтым. Рейсовый автобус, набитый до предела, тяжело переваливаясь, обогнал их. Он был разрисован пальмами, облаками морской воды, гигантскими бабочками и ампутированными руками над тыквами барабанов. «Счастливого пути»,— было написано над задней дверью. «И веселого также дня» — ниже. Через час, проскочив навывлет приземистый колониальный городишко, где дома по старинке далеко отстояли друг от друга, а деревья с огромными кронами легко закрывали раскаленное небо, они свернули на пустынную дорогу, кое-где отороченную пыльным кустарником. Редкие голые баобабы лениво тащились обочиной, земля была розового, временами почти красного цвета. Дорога уперлась в озеро, в недостроенный причал, возле которого паслись диковатые мальчишки. Заросший грязными волосами, в рубахе до колен, белый толстяк ловил что-то на отмели. Валентин выбрал пацана поздоровее, подозвал его пальцем и дал монету. «Ты!» — сказал он. Даже в таком пустынном месте целые толпы набивались сторожить машину. Лучше уж было выбрать сразу. Они наняли моторную пирогу. Джой, сморщившись от боли, прыгнула на сиденье. Взвыл, чихнул и опять взвыл мотор. Впервые за много дней стало свежее. Озерцо переходило в озеро, скрипел высокий тростник, от воды шел пресно-сладкий запах. На повороте в пятое или, Бог его знает, шестое озерцо лодочник выключил мотор и крепко прижал пирогу к зарослям тростника. Под прикрытием этой зеленой стены они мягко выскочили на широкий поворот, и Валентин сжал маленькую руку, лежавшую у него на коленях. Озеро, от края до края, было забито розовыми фламинго. «Будете фотографировать?» — тихо спросил лодочник. «Нет,— Джой первая его поняла.— Vas — у!»<sup>1</sup> И тогда, врубая мотор, привстав на мускулистых расставленных ногах, лодочник закричал, заулюлюкал, и сотни огромных птиц поднялись в жаркое

---

<sup>1</sup> Давай! (франц.)



небо, хлопая огромными крыльями, странно таща длинные, неподжимаемые ноги, заворачивая на общий, к другому озеру поворот. Какое-то время небо было закрыто этой горячей пургой, потом все вмиг стихло, и лишь какие-то коротконосые попрошайки составляли их эскорт.

Солнце пекло немилосердно. Джип бежал легко, как матерый зверь, позвоночник антенны дрожал и раскачивался, но местные станции передавали однообразную тряскую чушь, а дальние были опутаны назойливым треском. Иногда дорогу перебежали стайки некрупных обезьян. Одна из них — они остановились, разглядывая карту с невероятными местными названиями, — вспрыгнула на капот джипа. Валентин протянул руку, но вовремя отдернул: маленькая оскаленная тварь пыталась полоснуть его когтями. Среди редких мирных деревушек и пустынной природы, несколько километров в сторону на восток, они обнаружили раскаленный паркинг «мерседесов» и «вольво», шумный ресторан в тени огромных хижин. Мухи делали воздух черным, и, открыв бутылку кока-колы, нужно было тут же ее закрывать подставкой от стакана, иначе летучие твари с остервенением моментально забирались внутрь. Ровно гудели со всех сторон вращающиеся вентиляторы. Подавальщицы, точеной красоты, но мрачного нрава девицы, сновали быстро и бесшумно. Их босые ноги были лилового цвета. Им принесли свежего, только что с углей, лобстера, горячие лепешки и суп из шафрана. На Джой смотрели со всех сторон, она это знала и привычно впитывала. В основном раздавалась немецкая, реже английская речь. Валентина разморило после еды. «Я человек северный», — жалко улыбался он. Хозяин проводил их к дальнему бунгалу. Три сухо шуршащие пальмы скрещивались над ними. Бунгало было полосатым внутри, полосатым во всех направлениях — просветы между прутьями пропускали приглушенный свет и воздух. Джой включила вентилятор и рухнула на кровать. Ее кофточка прилипла к спине. Помогая ей, Валентин прижался губами к ее горячей шее. В голове у него стоял шум, перед глазами мелька-

ли огненные иглы. Они мгновенно заснули, но тут же проснулись. Желание разбудило их одновременно. Все произошло медленно, и от этого напряжение было выше и чище. Потом был настоящий сон, провал, счастливое отсутствие. Где-то рядом был вольер, и дети дразнили животных. Странно было проснуться в Африке, в густых влажных запахах, под гортанную истерику горбоносой птицы и германскую речь. Они выпили пива и расплатились. На подножке джипа сидело создание лет пяти. Мухи облепили круглое личико. Не спуская глаз с протянутой монеты, высунув язык вбок, дитя слизнуло муху и отправило ее за щеку. Судя по всему, это была игра, и мухе было позволено ползать, щекоча гортань и губы.

Конечно, она знала этот пляж. На берегу было единственное дерево, и в его сомнительной тени был оставлен джип. Они вытащили ледник. Валентин настроил радио. Над дюнами белого песка, над зелеными волнами океана грянул какой-то ушлый мотивчик. Валентин покрутил регулятор, нащупал заключительную фразу адажио Альбиони и выключил. Джой расстелила у самой воды полотенце, принесла очки и масло. Рыжий американец в свое время научил ее бросать фрисби. Сам он был мастер невероятных трюков вращающегося диска. В ответ она научила его совсем другой науке, и каждый раз, доставая потертый диск, она вспоминала обмен уроками, и нечто вроде ухмылки всплывало на ее лице. «Ты умеешь?» — крикнула она, и, ярко-красный, сильно вращающийся диск проскочил мимо Валентина, поднялся на воздушной волне и бумерангом вернулся к Джой. Валентин выложил содержимое единственного кармана шортов на сиденье джипа и взял фрисби. Он попытался покрутить его на указательном пальце — не получалось, тогда он сильно бросил диск в сторону дюн, но ветер, единственный профессионал в этой игре, подхватил фрисби и отнес в волны. «Эй! Осторожно!» — крикнула Джой, но Валентин уже несся вскачь в ледяных волнах. В какой-то момент он потерял

равновесие, схватил фрисби, повернулся и тут же был сбит с ног. Волна протащила его несколько метров, подняла и откачнулась. Он поплыл на месте, не в силах сдвинуться и на йоту. На миг его свело страхом. Три огромных волны, одна за другой, накрыли его и ушли к берегу. Лопалась пена, как миллионы слепых глаз. Наконец он сообразил и, выждав, вместе с летящей к берегу волной бешено заработал руками и ногами. Волна дотащила его до берега — стал слышен шум ползущей гальки, перетираемых камней — и тут же попыталась втянуть обратно. Но он успел подняться, упал в безопасном месте. Фрисби, засунутое под шорты, мешало ему. Джой подбежала, высоко вскидывая ноги, склонилась над ним, опустилась на колени. Глаза ее были испуганы, рот жалобно открыт. «Я тебе не сказала... Здесь тонут и профессионалы...— Он притянул ее к себе.— Течения,— продолжала она, уткнувшись ему в ухо,— течения отгаскивают их мили на три. И акулы...» Сквозь окаты холодных волн ее тело было горячим, напитанным солнцем. Он тяжело дышал, голова кружилась легко, и он думал, как в детстве, что лежит, прилепившись спиной к поверхности огромного шара и не падает вниз в небо, не падает до тех пор, пока в нем живет жизнь. Это была любимая игра его детского воображения — представлять себе жизнь вверх ногами, хождение как по потолку, по исподу планеты. Здесь это была граница воды и песка, там — в детстве — испод зарос папоротниками и искореженным железом. Умершие мгновенно размагничивались и падали вниз головою туда, где за мягкими облаками сиял черный космос. Огромный шар их больше не притягивал. Но еще сорок дней, говорила покойная бабка, крестьясь, земля притягивает умершего, не дает ему достаточно далеко провалиться. Провалившись, человек теряет земную память и вспоминает то, что было забыто при рождении.

Он прошел берегом с полмили. Что-то вроде деревушки обозначилось за песками. Мелкие рачки убегали при

его приближении в воду. Бутылка из-под виски, наверняка выброшенная с корабля, валялась рядом с полу-сгнившим парусиновым ботинком. Валентин подобрал розовую, как вывернутая губа, раковину и, присев на корточки, вырыл небольшую ямку. Когда-то, лет тридцать назад, он рыл такие же неглубокие ямки в холодном рыхлом песке на большом бульваре. По бульвару прогуливались военные с дамами, на качелях вопили малолетки, над городом шумно летали самолеты, и он укладывал на дно ямки несколько блестящих шариков, осколок зеркала, сломанные маникюрные ножницы, военную пузатую пуговицу. Все это закрывалось куском стекла так, что содержимое мгновенно преобразалось под этой витриной, обретая странный смысл, и засыпалось землею. Некоторые дети прятали под стекло фантики, майских жуков, настоящие часы или деньги. У сына высокой, похожей на парусник в своих вечно развевающихся одеждах дамы под стеклом была фотография смеющегося, по-спортивному стриженного человека. Никто, кроме ближайших друзей, не должен был знать расположение «секретика». Теперь, закапывая раковину в африканский песок, Валентин думал, что игра была продолжением недавно закончившейся войны, культом могилы, захоронения, тайны. Валентин часто думал о детстве, которое было для него не исчезнувшей эпохой, а недостижимой географией, местом, куда больше не пускают. Позже, присматриваясь к детям иных поколений, он никогда больше не видел этой игры. В Египте, спускаясь под конвоем подростков в гости к фараону, он чувствовал, как под ногами у него хрустит стекло бульварных захоронений.

Валентин покачался на одной ноге, утрамбовывая песок, и повернул обратно. Джой шла ему навстречу. Прихрамывая, улыбаясь, голая, как этот берег и это небо.

Они лежали на границе песка и воды. Ленивая волна смывала их горячий, с маслом смешанный пот. Ее губы распухли, как невдалеке захороненная раковина. Они

тянули, пили, вытягивали из него жизнь. Ее ноги сплелись у него за спиною, ее волосы смешались с песком. Он всегда хотел именно этого: быть с женщиной на пустом берегу под дневным солнцем. Она часто дышала, голова ее, с перекошенным воспаленным ртом, откинулась. Слепшие глаза помутнели и подурнели. Несколько раз она пыталась приподняться и посмотреть на него, но шея ее подламывалась. И она скулила и стонала, и какая-то большая птица делала над ними круги, отвлекая его внимание. Песок попал ему в глаз, и его незагорелые ягодицы постепенно превращались в два огненных волдыря. Наконец Джой удалось приподнять голову, щелками сморщенных глаз она посмотрела на него и, замычав, рухнула назад. Ее рука рыла и рыла яму в песке, но накатывалась волна и все выравнивала. Тень от птицы прошла совсем низко и исчезла. Он скосил глаза, птица сидела на гребне дюны, метрах в пяти, закрыл глаза и, сам не в силах больше сопротивляться происходящему — он был теперь как граната с вырванной чекой, — тут же открыл опять: рядом с птицей, наполовину в песке, лежала мертвая, полуразложившаяся собака. Ее ноги, как ноги Джой, были вскинуты в небо, ее чрево, как чрево той, с которой он лежал, было раскрыто, и это была одна гноящаяся рана. Собачья пасть была оскалена, и по короткой шерсти шли зеленые пятна. Выстрел в затылок произвел бы на Валентина меньший эффект. Он стиснул веки, но на горячей сетчатке не было ничего, кроме этих разведенных ног и гноящихся внутренностей.

Джой так никогда и не узнала, что произошло с ним. Она была слишком счастлива, чтобы серьезно отнестись к его неудаче. «C'est rien...<sup>1</sup> — бубнила она, — это солнце, слишком много солнца для тебя». Они, обнявшись, медленно брели назад, к джипу. Далеко, на исходе зрения, он заметил профиль военного корабля. С ее спины еще не сошел отпечаток мелкой гальки — оспы их любви.

---

<sup>1</sup> Это ничего... (франц.)

На обратном пути машину вел он. У нее распухла нога. Он пришел в себя, и происшедшее казалось ему невероятной чушью. Ну труп собаки, ну и что? Все мы будем гнить так или иначе, на солнце или под землей. Радио трещало, но теперь он с удовольствием слушал местные боевики. Джой спала, вытянув больную ногу. Ее короткие волосы развевались, открывая крупный детский лоб. Дорога иногда проскакивала через чистенькие деревушки, и он давил на клаксон, и медленные высокие женщины, кто со связкой хвороста, кто с тазом или картонным ящиком на голове, оборачивались, останавливались, разглядывая проезжающих, и лишь в последнюю секунду уступали дорогу. Дети бежали за джипом. Мужчин не было видно. Зеленые мечети поворачивали за ними радары своих полумесяцев.

Поздно вечером они танцевали в дансинге для черных. Джой уверяла, что боль прошла, но не могла понастоящему поставить ногу. Она крепко прижималась к нему, он был порядочно пьян. Из уцелевшего в памяти целлулоида осталось нечто вроде неразразившегося скандала, стакан виски, который он пронес под носом у вышибалы до джипа, и бетонная река, по которой нечистоты стекали в море: Рио-Мерде, в местном обиходе. Какие-то люди брели под катальпами, где-то бешено били барабаны, кто-то спал в теплой пыли. Потом проползла центральная улица с единственным открытым кафе. Все столики были заняты. Мальчишки кланчили деньги у загулявших моряков. Двое ливанцев ласково ссорились зверскими голосами, напирая друг на друга животами. На дороге, ведущей к вилле, полиция загоняла проститутток в грузовик. Луна с надкусанным боком мелькала среди крупной листвы. Сторож спал, и Валентин полез через ворота. Джой с трудом давила на акселератор: дальний свет выхватил из тьмы поворот к океану и оскаленную морду собаки. Дико горели зрачки. Джой на ощупь нашла сигареты в сумке, но зажигалка куда-то завалилась. Утром была лекция.

Она вернулась на следующий день, ближе к вечеру. Нога ее была в гипсе, в руке она держала конверт с рентгеновским снимком. Малая берцовая была сломана и смещена. «Под хорошенькой же анестезией держал тебя твой кавалер», — ухмыльнулся Даниэль. Он был один. Иза еще не вернулась из японского посольства с урока икебаны. *Passé composé*<sup>1</sup> заставило ее вздрогнуть. Даниэль гремел льдом. «Скажи, сколько?» — спросил он. Протягивая руку за стаканом, она вопросительно взглянула на него. Он подождал, пока она опустится в кресло, потрепал ее по волосам. «Улетел утром», — сказал он. Джай рассматривала выложенные плитами дорожки сада. Ветер из пустыни сменился на ветер с океана, и они были занесены сухими лепестками глицинии. Поверхность бассейна тоже была замусорена мертвым цветом. «Завтра будут чистить, — Даниэль читал ее мысли. — Один дьявол, никто больше не купается...»

Кен был доволен, их новый проект давал отличную прибыль. Это была одна из типичных выдумок Валентина: ТВ-приемник с двенадцатью мониторами. Располагались они буквой Г над и сбоку от обычного экрана и размером были чуть больше сигаретной пачки. Выбирая основную программу, можно было следить одновременно за происходящим на двенадцати других. Учитывая американскую привычку бесконечно переключать каналы, невротизм современного зрителя, желание урвать наилучшее, Валентин попал в точку. Кроме прочего, дети могли смотреть свои мини-программы или футбол. Звук автономно выводился на наушники. На один из экранов можно было подать изображение из внутренней домашней ТВ-сети — лунное дрожание входной двери или лужайки перед домом. Американская фирма, купившая «знаю-как», приглашала Валентина на год. Деньги давали сказочные, но Валентин Нью-Йорк не любил, желтые страницы телефонных

---

<sup>1</sup> Прошедшее время (франц.).

книг этого города перечисляли почти все с детства ему знакомые фамилии, любая окраинная продовольственная лавка, широкие улицы, красный кирпич и огромное небо слишком напоминали другую жизнь, другой гигантский город, возвращение в который, даже в памяти, Валентин исключал.

Была осень, Сена уносила из города листья платанов и пустые бутылки, флаг над «Самаритеном» все еще был надежнее многих государственных флагов. Иза и Даниэль вернулись из своего комфортабельного изгнания и жили в наспех, но удачно купленном, свежей краской пахнувшем, особняке в четырнадцатом округе. Иза, к удивлению всех ее знавших, а больше всего Даниэля, выпускала книгу, и, судя по слухам, это было кое-что. Она не пила, прекрасно выглядела, словно вернулась с войны и отоспалась. «Человек,— определял воскрешение Даниэль, — самовосстанавливающаяся структура. Стоит лишь на время приостановить саморазрушение, из которого обычно состоит наша жизнь, и пожалуйста: взгляните на эту лань!» Сам он, по закону все еще сообщавшихся сосудов, сдавал. Было ясно видно, что то, откуда недавно вынырнула Иза, поглощало и засасывало его. Они часто устраивали обеды, и Валентин с удовольствием у них бывал. Гости, подобранные Изой, были всегда интересны. Уроки икебаны пошли ей впрок.

Два раза в неделю Валентин бывал теперь у психоаналитика. Если бы ему сказали об этом год назад, он захлебнулся бы смехом. Вена, по его мнению, могла поставлять миру лишь менуэты да вальсы. Однако он исправно посещал элегантную келью известного автора «Смерть до рождения». Лежа на холодной кожаной кушетке, со странным удовольствием слушая собственный низкий голос, он рыл ходы и окопы раскопок своей Трои. «Теория смерти до рождения» профессора Бразье заключалась в том, что огромное количество детей в мире рождалось случайно и против воли матери. Забрюхатевшая неудачница, нарыдавшись всласть, в зависимости от страны и эпохи тем или иным способом пыталась избавиться от закупорившего ее тело



плода. Описание этих способов составляло добрую треть книги, довольно жутковатые сто с чем-то страниц. Особенно впечатляли китайские процедуры времён империи Хань. В случае неудачи, а иногда слабого здоровья матери, её нерешительности или перемены ситуации на свет родился «полуабортированный», как характеризовал его профессор Бразье, ребенок — навсегда искалеченный психически. Добрых полтора десятка изощренных фобий сопровождали его взросление, оставляли на время в покое в период первой молодости и беспощадно терзали в эпоху зрелых размышлений. Полуабортированные Валентина не интересовали, он прекрасно знал, что его родители были счастливыми любовниками и он был результатом их любви. Его интересовало теперь лишь одно: мертвая собака на пустынном берегу, собака, вскинувшая ноги и обнажившая червивое чрево. Валентин заклинился на этом моменте своей жизни, словно в него вбили двадцатипятисантиметровый гвоздь. Все его попытки самостоятельно сдвинуться с места, разрушить чары смерти ни к чему не приводили. Он прекрасно понимал случайность происшедшего, примитивный символизм ситуации, голова его удачно раскладывала на составные элементы тот солнечный день, деталь за деталью, и — уничтожала. Но голова, он все яснее это осознавал, была лишь перископом сознания, наружным, почти придаточным органом. Конечно, он мог бы обойтись без профессора Бразье. В конце концов, тот же Даниэль был не глупее лощеного shrink<sup>1</sup>. Но Даниэль был лицом вовлеченным, он напряженно думал, как ему помочь. Профессор Бразье был не только остраненно чужим, он был профессионально чужим. Чужим нарочно и специально. Поэтому хлысты его вопросов заставляли Валентина двигаться, искать, продираться сквозь заросли самообманов, подтасовок в памяти и изрядное количество витков, как оказалось, колючей проволоки самоцензуры.

Он больше не спал с женщинами. То есть, наоборот,

---

<sup>1</sup> Психолог (разг. англ.).

он пытался, постоянно пытался, но из этого ничего не выходило. Он даже прожил чуть больше двух месяцев с взвинченным юным созданием, сбежавшим не то от родителей, не то из тюрьмы. Возрастная холодность Моника, полное отсутствие сексуального голода идеально устраивали его. Она жила в стадии необязательных объятий, поглаживаний, поцелуев. У нее были мужчины и до Валентина, но она была глубоко невинна. Он покупал ей сладости и тряпки, он водил ее в кабаре и на скачки, он отвечал на ее невероятные вопросы. Лишь однажды, заметив раздосадованность его объяснением, он укорил ее: «Дурацкие вопросы обычно влекут за собой идиотские ответы. Заметь это. Пригодится когда-нибудь...» В то же время она была вовсе не так наивна, из породы барракуд, умело кокетничала с мужчинами и, стоило Валентину отвернуться, набивала карманы случайными номерами телефонов.

Он бывал у проституток, но бросил. С ними почти получалось. Их обезличенность была гениальна. Они нянчили его, отвлекали, прекрасно зная, что секс раздваивает личность, если она несчастна, и соединяет ее воедино в противоположном случае. Они апеллировали не к нему, а к его увядшему отростку. В итоге от неразрешимых возбуждений у него началось воспаленное простаты, и он попал в руки урологов. Иногда он обрисовывал себе происходящее как опускание из высших сфер в низшие. Так, теперь он был на уровне обнищавшей плоти, лейкоцитных норм, унижительных анализов. Гийом, его лечащий врач, с которым они быстро подружились, уверял Валентина в противоположном. «Простата — второе сердце, — говорил он. — Психический тонус, эмоциональные бури, одолевающие мужчин, старение — все так или иначе зависит от этой железы. На Востоке это прекрасно знали две тысячи лет назад...»

Иглоукальвание, плавание, знаменитые тибетские «слезы камня», йога — ничто не помогало ему. И чем дальше задвигался его безнадежный случай, тем больше женщин валилось на него со всех сторон. Он отнекивался, он отбивался, но нет, его не принимали за

гэй<sup>1</sup>, и почти против его воли реестр оставшихся ночевать все удлинялся. С удивлением он узнал, что нет ничего легче, чем влюбиться в себя самый трудный, самый невероятный экземпляр женского пола, будучи, как он говорил, небоеспособным. Односторонняя природа секса открылась ему, одиночество и дикость. Женщины, не добившиеся его, пытались вновь и вновь, но не из-за страсти к нему, а из-за страха собственного поражения. Он был магнитом теперь, потому что был безопасен.

Смерть владела его вниманием. Он без труда обнаруживал ее присутствие повсюду. Она была не роковым порогом его личной конечной жизни, а чем-то вроде неназойливого консьержа, вуаера, клошара. Она была прочнее гленной жизненной ткани, из нее в действительности и состоял мир. Молния, попавшая в него, поразила его способность сопротивляться смерти физически, бежать прочь от нее в новом теле... Временами чувство бессмысленности, ненужности и бесцельности жизни пугало его своею неоспоримой силой. Он стал чувствителен к философским и религиозным идеям, но не мог справиться ни с символизмом образных систем от «Упанишад» до «Посланий Апостолов», ни с современным пересказом, выполненным на уровне супермаркета. Но он не думал ни о самоубийстве, ни о плоском марксовском мире. Его интуиция агностика увязла в языческом ощущении мира.

Время шло, и гнилая зима кончилась. Роман Изы выходил вторым тиражом, и она собиралась в Нью-Йорк — американцы купили книгу и затевали рекламную возню. Перед самым ее отъездом — стоял свежий распахнутый май — Даниэль позвонил: они устраивали обед. «Кстати, — сказал он, — новость не из веселых: вернулась Джой, у нее рак, ей дают месяц, не больше...» Они увиделись. Удивительно, но она не изменилась. Быть может, похудела. Но это была та же Джой! Загорелая, улыбающаяся, веселая. Позже Валентин заметил, что она двигается медленнее, что ее зрачки увеличены,

---

<sup>1</sup> От *англ. gay* — гомосексуалист (*разг.*).

словно она принимает атропин, но первое впечатление было — Джой... Не верилось, что она была больна. И лишь за обедом Валентин поверил. Она не могла есть то и это, она, правда, много пила вина, а за кофе, достав из сумки крошечную костяную табакерку, быстро занюхала понюшку белого порошка... На кухне — он вышел вместе с хозяйкой — Иза заплакала.

В кабинете профессора Бразье Валентин бесчисленное количество раз сосредоточивался на том, что его мучило. Это было слепое тактильное ощущение. Визуальный образ, фиксация на мертвой собаке, был лишь добавлением. В тот жаркий солнечный день, в момент безрассудной счастливой любви, раскинутые ноги собаки и нежные ложесна женщины поменялись для него местами. Он вбивал себя с убывающей силой в это мертвое, гноящееся нутро; он делал это ни с кем-нибудь, а с самой смертью.

Теперь, через год, в Париже, на своей неудачливой постели, он был опять с той же женщиной. Ее кожа все так же пахла солнцем, так же коротко были пострижены соломенные волосы, ее глаза были закрыты, и из-под лучей ее сморщенного глаза катилась слеза. Она была все та же, но в ней жила смерть. Не абстрактная, не спящая, которая живет в каждом человеке, а проснувшаяся, голодная, уверенная в себе. Джой была тиха и — не знай он ее ранее, — он бы сказал, безучастна. Лишь пот ее имел теперь какой-то новый запах.

Для Валентина круг замкнулся. Смерть переселилась из полуразложившейся собаки в эту в его руках беззвучно рыдающую женщину. Для нее он был все тем же любовником — сильным и нежным; для нее его неудачи, затянувшейся более чем на год, не существовало. Но последние месяцы изменили ее. Ее страсть не отзывалась в теле никак. Он был одинок с нею, как и она с ним. Двуполоый третий был между ними. Ее глаза были широко открыты, когда он взорвался. Тень листвы дрожала на потолке спальни. Смех поднимался

пузырями с бульвара и лопался, не долетая до окна. «Скорая помощь» тупой бритвой прошла по слуху.

Она умерла под Рождество. Крупные хлопья снега таяли на гранитных плитах. Какие-то дальние родственники, выглядевшие самозванцами, преувеличенно тупо скорбели в ожидании конца процедуры. Иза, прилетевшая из Рима, держала Валентина под руку, словно он мог упасть в могилу. Даниэля не было, он лежал на обследовании в американском госпитале. Беспризорная собака виляла хвостом за оградой соседней могилы, не решаясь приблизиться. Валентин испытывал унижительное чувство быть временно на свободе. «Во имя Отца и Сына...» — негромко выводил священник. Снег пошел сильнее, зачеркивая белым, летя наискосок, и под его некрепким покровом исчезали каменные скамейки, круглощекие ангелы, письмены эпитафий, асфальт, дорожки, черные плечи и шляпы присутствующих, и лишь постоянно встряхивающаяся мокрая собака выглядела живой и реальной.

1984

### *Низкие звезды лета*

Крошечное облако, одиноко дрейфующее в огромном небе, наехало на солнце, и сразу повеяло прохладой от воды. Это надо же, подумал Марк, столько в небе места, и все же они встретились... Облако словно прилипло к солнцу: пляж потемнел, потемнела вода и громоздящиеся над бухтой скалы. Но вдалеке, там, где скользил, не двигаясь с места, прогулочный катер, направляясь в Фео, все плавилось в волнах подвижного золота. Боб, которому на прошлой неделе исполнилось пятнадцать и которому, особенно вечером на танцплощадке, когда он небрежно смолил кубинскую «лихерос», можно было вполне дать и восемнадцать, Боб снял темные очки, аккуратно завернул их в рубашку и, потянувшись,

встал. «Я пошел за водой»,— сказал он хриплым ломким голосом и, перешагнув через белую, как курица, Лару, с двумя бутылками, зажатыми меж растопыренных пальцев левой руки, направился к расщелине, густо заросшей шиповником и кизилом. Там, в дрожащей тени, тошнотворно пахло всем тем, что человек оставляет после себя, а чуть выше, после трех метров крутого сыпучего подъема, пучком стрел рос дрок, черным зеркалом лежало топкое болотце и из трещины в скале сочилась ледяная родниковая вода.

Марк посмотрел вслед Бобу — Боб был цвета автомобильных покрышек. Настоящий негр. Лишь длинные, к загивку прилипшие волосы были как выгоревшая трава. Марк знал, что за огромным камнем, под самой скалой, загорает жена академика — гигантская, килограммов на сто, обгоревшая до розовых струпьев, лягушка. Боб уверял, что на закате она плавает голая. «Королева медуз»,— называл ее Боб. Марк знал, что Боб не врет. Медуза несколько дней назад, когда они остались вдвоем на пляже, сказала ему, пододвигаясь ближе, так, что ее огромные груди совсем вытекли из малинового купальника: «Есть такая загадка: мой рот — могила моих детей...» Ее взгляд прилип к плавкам Марка, Марк, вспыхнув под загаром, посмотрел на ее рот — густо обмазанный яркой помадой, он шевелился отдельно от лица. Ему было четырнадцать с половиной, но ребята рассказывали со знанием дела, что есть такие женщины, которые присасываются, как пиявки,— не оторвешь. С тех пор он с ужасом смотрел на толстые губы жены академика. Он еще никогда не видел по-настоящему, что у них есть. У женщин. Хотя Лара и предлагала. Но Лара предлагала всем. И она делала это со всеми. Боб говорил, что она чокнутая, но что со взрослыми женщинами интереснее. Ларе было уже шестнадцать.

Сухой звук осыпающейся земли заставил его повернуться. Боб возвращался, небрежно ступая по раскаленной гальке, — худой, широкоплечий, с лиловым двойным шрамом под ключицей: дача генерала на Морской поверх бетонного забора была обнесена колючей

проволокой. Генерал жил в Крыму лишь в августе, и Боб считал, что махровая сирень, тяжело прогибающаяся под восточным ветром, принадлежит всем. Боб остановился над Ларой. Несколько тяжелых ледяных капель из наклоненной бутылки обожгли ей спину. Лара с немым криком повернулась: Боб улыбался своей знаменитой улыбкой — оскаленные зубы, прищуренные глаза. На него оборачивались на набережной даже актрисы из съемочной группы! «Видел придурков? — говорил Боб. — Солнца им в Крыму не хватает...» Животастые дядьки в настоящих американских джинсах, в майках с иностранными надписями высвечивали раскаленную полуденную набережную огромными лиловыми прожекторами.

Облако наконец отклеилось и соскользнуло в сторону Турции. Марк, мягко вскочив на ноги, подтянул плавки и, разбежавшись, прыгнул в воду. Море было как теплое жидкое стекло. Тень электрического ската мягко проплыла под ним. Марк вынырнул, набрал воздуха и круто ушел под воду. Меж обросших синими водорослями скал стояли, дымясь, солнечные столбы. Длинные негритянские ноги Боба взмутили воду над его головой. Лара, утопленницей, распустив волосы и вытаращив глаза, опускалась на дно, выпуская изо рта лопающиеся серебряные пузыри. Был слышен глухой стук мотора патрульной лодки.

Вечером, когда крыши поселка и верхушки деревьев все еще полыхали на солнце, а сады уже стояли как на дне, в темном воздухе ночи, она поднялась по боковой деревянной лестнице на его чердак. Марк лежал на сеннике, читая страницу за страницей дореволюционный, тусклого золота, словарь Брокгауза. Том был на букву «М», и Марк, вступив в Мальтийский орден, переправился на Мадагаскар, обзавелся двадцатичетырехзарядным маузером и рассматривал высеченный из камня лик Медузы с прической змеи, когда Лара появилась на пороге. Она была в голубом сарафане с открытой спиной и босиком. Ее русые, начавшие выго-

рать волосы были зачесаны за уши. Она держала в руках банку с простоквашей и смотрела на Марка, улыбаясь серьезными серыми глазами. «Я вся обгорела. Ты видел?» — сказала она, поворачиваясь спиной. Под скрещенными бретельками сарафана воспаленно горела ее пунцовая кожа. «А здесь?» — сказала она, задирая подол. Под сарафаном на ней ничего не было. На мгновение у Марка перехватило дыханье. Шум террасы, где Борис Николаевич уже тренькал на своей семи-струнке, звякали стаканы и смеялась мать, перекрыл глухой шум крови. Хум-хум-хум, билось огромное сердце в голове. Лара сделала шаг в комнату и, быстро повернувшись, набросила крючок на дверь. «Софья Аркадьевна говорит, что простокваша — самое лучшее от ожогов...»

Она лежала на животе поверх сбитых простыней. Скворцы-пересмешники на все еще освещенном тополе в окне дразнили соседского кота. Марк осторожно размазывал простоквашу по ее горячей спине, стараясь не запачкать сарафан. Кожа была нежной, и при каждом движении руки Марка Лара ерзала всем телом. Бретельки были развязаны и сброшены вниз. Особенно горячими и темными были ее плечи. Марк, стоя на коленях, медленно водил мокрыми ладонями по худым лопаткам и лишь кончиками пальцев по шее — там, где были отбившиеся от зачесанных в пучок волос дымчатые завитки. Его колени и даже голова тряслись. Он сжимал зубы, потому что, как зимою на катке, у него мелко стучали зубы. Простокваша на Лариной спине высыхала моментально. Он начал смазывать спину уже в пятый раз, когда Лара, медленно шурша, повернулась. «Здесь тоже», — сказала она. Какая-то пуговица, что-то натянув, лопнула, сарафан исчез совсем. Марк, больно закусив губу, зачерпнув из банки голубой простокваши, осторожно, словно боясь обжечь или обжечься, коснулся горячей кожи. Лара вздрогнула и, подняв на него глаза, перехватила его мокрую руку и крепко положила ее на совершенно белую с темным соском грудь. Он услышал, как за его спиной в открытом окне с визгом и треском крыльев промчались стри-



жи. «Здесь тоже»,— с запозданием сказала Лара. «Там ничего не обгорело»,— шепотом возразил Марк. «Все равно...» Ее рука прижимала его руку все сильнее и сильнее, и ее грудь под его пальцами напрягалась, словно росла. Он услышал стрекот вертолета, возвращающегося из долины на заставу, стрекот перешел в ритмичное уханье, в грохот, и в следующий момент рука Лары уже вела его руку по горячему мягкому животу. Не в силах больше держать голову на весу, он уронил ее на подушку рядом с Лариной головой, прижавшись губами к ее шее, с ужасом чувствуя, как нежная шелковистая кожа переходит в нежные, почему-то мокрые волосы, затем был провал, лицо Лары повернулось к нему, ее глаза стали огромными, как тогда, под водою, и она, словно потеряв дар речи, выпучив губы, попыталась выдать какое-то слово, но только смогла простонать: «А-а-а-а! а-а...»

«Мавр! — прогремело под окнами.— Дрыхнешь, обормот? Давай спускайся. Пора. Слышишь?» Лицо Марка было покрыто потом. Он чувствовал, как щекотный ручеек пота змеится у него между лопаток. Лара смотрела на него невидящим взглядом. Пальцы Марка были в чем-то вроде раздавленных персиков. Персики эти ритмично пульсировали. «Мавр?» Тяжелые шаги начали подниматься по лестнице, остановились. «Еще!» — прошептала Лара. Ее дыхание было сухим и частым. «Борис! — услышал Марк голос матери.— Захвати сверху карты... На тумбочке или же в столике...» Шаги начали подниматься опять. Марк попытался высвободить руку, но Лара держала ее с такой жуткой силой, что он перестал сопротивляться. Ее ноги были вытянуты, и вся она ритмично двигалась, вжимая и вжимая его онемевшие пальцы в раздавленные персики. Шаги прошли мимо. Раздался скрип пола в соседней комнате. Лара дышала все быстрее и быстрее. Глаза ее опять закрылись, лицо скорчилось. Станный звук, словно она кого-то ненавидела, родился в ее груди, поднялся к губам, она раскрыла рот и тихо, почти плача, заскулила; тело ее, вздрогнув в последний раз, обмякло. «Ты идешь?» — спросил

голос совсем рядом. Марк попытался накрыть Лару, но сарафан и простыни были под нею. В потерявшей свечение заката темноте он видел по ее глазам, что ей все все равно. Удар ноги сбил крючок с двери. Майор Журба стоял, вглядываясь в темноту, светясь белым пятном рубахи. «Чем ты тут...» — начал его уже изменившийся голос. Пошарив по стене, майор нашел выключатель, ослепительно ярко вспыхнула голая лампа под фанерным потолком и тут же погасла. «Ну-ка,— сказал майор,— давай дуй отсюда... Сад пора поливать». И он медленно закрыл дверь за Марком.

Майор был кем-то вроде отчима Марку. Мать то хотела, чтобы они расписались, то обещала Борису Николаевичу, что выгонит его взащей. На что майор всегда одинаково громко, кривя рот и откидывая голову, хохотал. В Москве Борис Николаевич появлялся у них в квартире нерегулярно. Иногда — два раза в неделю. Иногда исчезал на месяц. Иногда — оставался и жил день за днем. Но в Крым, где у Лушиных была дача, он прикатывал на целый месяц. С гитарой, спидолой и своими неизменными шуточками. Марка он звал Мавр. Софью Аркадьевну — Марго, иногда королевой Марго. Боба — п/о, племенной осеменитель. И был страшно доволен.

Дача стояла между сухой солончаковой степью и морем. От шумного дачного поселка их отделяла в горы забирающая неширокая дорога. Дача принадлежала отцу Марка, для которого у майора, несмотря на все протесты матери, тоже была кличка. Отца он называл «еврейским вопросом». Отец жил на даче осенью или ранней весной, когда поселок был пуст и тих. Он был писателем, но последние годы его не печатали. Мать говорила — из-за дурацкого характера. Отец, с которым Марк в Москве виделся часто, объяснял по-другому: он хотел уехать. В Израиль. Или в Италию. Он бывал в Италии раньше, ездил с делегациями и просто туристом и говорил Марку, что ничего лучше в мире нет. «Белла, белла Италия!» — вздыхал он, и глаза его мутнели.

Марк размотал черный резиновый шланг за собачьей будкой и отвернул кран. Шланг вздрогнул и напрягся. Почти невидимая в уже густых сумерках струя зашуршала по листьям. В обязанности Марка входило поливать сад каждый вечер. Комары роились в темно-синем воздухе на открытых местах. Мать жарила картошку, и с кухоньки доносилось шипение масла и шкварок. Сквозь черные ветви корявого миндаля вершина Сюрюк-Кая, последнее освещенное место в округе, полыхала воспаленно-пунцовым. Как Ларина спина.

Мать уже два раза звала майора. Свежие огурцы нарезаны, посыпаны укропом. Сыроватый местный хлеб был накрыт салфеткой. «Борис! — кричала мать, пробираясь между кухонькой и террасой почти наощупь: сковородка с картошкой в одной руке, поллитровая банка светящегося в темноте молока в другой.— Бо-о-о-о-рис! Остынет!» Марк кончил поливать розы и пахнущие цветущим виноградом ирисы и перетащил шланг под лох. Где-то глухо простонала птица, мать подняла голову, вслушиваясь. В сомкнувшейся вновь тишине лишь был слышен густой стрекот цикад. Вода бесшумно лилась из шланга, глинистая земля впитывала ее с трудом. Тихо взвизгнула дверь на втором этаже, и фигура майора показалась на фоне неба. Он постоял, вслушиваясь, на верхней ступеньке лестницы и осторожно стал спускаться. Спустившись, он не повернул к террасе, а по траве, окаймлявшей гравийную дорожку, пошел к калитке. Возле самой ограды он остановился, расставил ноги и послышался легкий журчащий звук. Затем вспыхнула спичка, и майор, с сигаретой в зубах, направился в обход дома к террасе. Марк услышал, как мать что-то спросила и майор ответил и оба они громко рассмеялись. У матери смех был звонкий, рассыпчатый.

Струя воды теперь была направлена на бетонный блок соседнего дома. Мягко оплывая вниз, она орошала невидимые грядки петрушки, укропа, кинзы и сельдерея. Пошатнувшись, на верхней ступеньке лестницы показалась худая девичья фигурка. Звезды уже были

повсюду, и небо дрожало и перемигивало. Марк увидел, как поднялись руки, укладывая волосы в пучок, опустились, одергивая сарафан. Из подводной глубины сада он видел, что Ларе холодно. Она начала медленно спускаться, время от времени останавливаясь, словно боясь упасть. Босые ноги мягко ступили на гравий дорожки, она дошла до калитки, открыла ее, повернулась, вглядываясь в темноту, туда, где сидел на корточках Марк. Калитка закрылась, из высокой травы выбрался, отряхиваясь Чамб, соседский пес. Виляя хвостом, он засеменял за Ларой. Ее голова была закинута к небу, она что-то тихо напевала.

Борис Николаевич, густо заросший шерстью, с синими щеками и широкой лысиной, был не намного выше Марка, но грузен и широк в плечах. Боб, который был с майором на «ты», подкалывал его, спрашивая, бреет ли он пятки. Особенно заросла спина майора — настоящий свитер. Борис Николаевич знал много старинных романсов и пел неожиданно приятным голосом, перебирая короткими пальцами струны гитары. Знал он и массу похабных куплетов, на которые расщедрился не часто. Голос его в таких случаях нырял, мать махала рукою и отворачивалась, и майор выговаривал те особые жгущиеся слова мокро, словно смачивая их слюною. Марк подтянул шланг под черешни, подождал и пошел закрывать воду. Проходя мимо террасы, он бросил взгляд на освещенный низко висящим абажуром стол. Мать в открытом платье с крупными цветами и с такой же шалью на плечах улыбалась, перегнувшись, расставляя тарелки. Борис Николаевич, держа гитару почти что вертикально, тренькая настраиваемой струной, что-то шептал ей на ухо. «Да ну, ты придумываешь!» — громко сказала мать. «Я тебе говорю...» — майор резко хлопнул по грифу. Мать выпрямилась и внимательно посмотрела на заворачивающего за угол Марка. «Нет, я тебе не верю, Борис», — неуверенно сказала она.

Из распахнутой настежь кухонной двери лился

грязно-желтый свет. Подтаскивая шланг, Марк увидел, как из-под напывавшейся в досталь водою «глюриа деи» на дорожку выбежал черный ручеек и понес мелкий сухой мусор лепестков к ступенькам террасы. «Вы дома?» — послышалось от калитки, и долговязый Гольц, химик из Питера, блестя очками и поднимая над головой две бутылки местного белого, показался на дорожке. Борис Николаевич взял аккорд и запел нарочито фальшивым голосом: «Евреи, евреи, кругом одни евреи...» Майор водил с Гольцем летнюю дружбу и встречал его всегда одинаково — анекдотами про жигов, куплетами про Абрамчика или же последними новостями с Ближнего Востока. «Здравствуйте, Софочка,— сказал Гольц, поднимаясь на террасу.— Привет, Мавр!» — кинул он в темноту. «Ну-ка, Марго, соорудика нам...— откидывая гитару и потирая руки, сказал майор,— грибочков-огурчиков... Там копчущка была в холодильнике,— крикнул он матери вдогонку,— в самом низу!» Марк завернул кран, шланг обмяк, струя укоротилась, ослабла, распалась на капли. Он подтянул шланг, сложил кольцами между пустой конурой и малинником, вытер руки о штаны и пошел к террасе... Мать суетилась, то исчезая в комнатах, то появляясь у стола; двигалась она легко, как девочка, и Марку эта легкость, эта игривость не нравились. Ему было стыдно за мать, словно она делала что-то неприличное.

От картошки шел пар, и рядом стоящая бутылка водки, с почерневшей веткой полыни внутри, запотела. Помидоры были тонко порезаны кружками, политы постным маслом, посыпаны зеленым луком, малосольные, в пупырышках, огурцы плавали в трехлитровой банке. Борис Николаевич сдвинул рядком граненые стаканчики, аккуратно разлил зеленоватую водку. «Ну, чтоб нам с вами...» — сказал Гольц, показывая небритый кадык. «Чтоб нам всегда так жить!» — рявкнул майор. «На здоровье...» — сказала мать. Марк, причесанный, в чистой футболке, сидел за столом, намазывая на хлеб рыжее, как мед, топленое масло. Под абажуром вились мотыльки, время от времени глухо стучаясь об лампу. «Сема,— сказал майор, хрустя огурцом,— Марго

хочет знать — обрезан ли ты?» «Фу, Борис! — отвернулась мать. — Как тебе не стыдно! Всегда придумашь что-нибудь...» «Может, покажешь?» — заржал майор. Гольц полез в карман широких холщовых брюк, и Борис Николаевич, продолжая давиться смехом, ткнул мать локтем в бок: «Он у нас без комплексов!» Гольц даже привстал, возясь с карманом. Наконец он просиял и вытащил на свет большой тюбик зубной пасты, в толстой полиэтиленовой упаковке. «Как обещано, — сказал он, — только осторожно. Зазеваешься — пальцы склеит». Борис Николаевич взял тюбик и поднес к свету. «Тот самый? БФ-2000? А чего без этикетки?» Гольц закурил, оторвав фильтр у сигареты, и, выпустив дым, объяснил: «До сих пор засекречен. Зверский клей. Чего хочешь с чем хочешь сварит. Десять секунд — и с мясом не оторвешь. Хочешь, проверим?»

Откуда-то издалека ветер принес обрывки музыки и смех. Мать пошла за второй бутылкой водки. Когда она вернулась, ее московские босоножки красовались над столом, приклеенные Борисом Николаевичем к дощатому потолку. На пустой тарелке две виноградные улитки, склеенные боками, высовывали рожки. Хлопнула дверь машины у поворота в переулок. «Наш пижон идет, — сказал майор, — француз! Давай Рябову зад приклеем?» Гольц испуганно сверкнул глазами из-под очков и, быстро отвинтив конус тюбика, выдавил длинную прозрачную соплю на деревянную лавку. Рябов, приятель отца, критик из недавно закрытого журнала, снимал у них дальнюю комнату с отдельным входом. Он появился из тьмы улыбаясь, прижимая к груди стопку книг. «Это тебе», — протянул он Марку обернутую в газету книгу. Марк вспыхнул от радости — это была та самая, давно обещанная книга, которую невозможно было достать в библиотеке даже в Москве. «На две недели, — сказал Рябов, усаживаясь на свободное место, — из литфондовской библиотеки...» Марк, отодвинув банку с молоком, в которой уже плавала, вздрагивая, золотистая совка, открыл книгу. Книга разошлась на двадцатой главе. «Философствовать — это значит учиться умирать» — было написано наверху.

«Водочки?» — оскалился Гольц. «А чаю нет? — потянулся к чайнику Рябов. «Ой, я сейчас поставлю!» — опередила его жест мать, счастливая тем, что может покинуть стол и террасу. «Да что вы, Софья Аркадьевна, я сам!» — вскочил Рябов. Раздался треск, и майор с Гольцем затряслись над тарелками с копчушкой. Знаменитые кожаные шорты Рябова, которые он привез из Германии, были ободраны наискосок. И, словно продолжая ту же линию, светлая полоска крови расплывалась по его загорелой ляжке. «Не сердчай, тезка... — утирал слезы Борис Николаевич, — мы тут случайно новый клей размазали. Стратегический! Сиамских улиток видел? Неразлучные! А космические сандалетки?» Мать, вернувшись на шум, только теперь заметила свои сандалетки на потолке. «Ну, это ты, Борис, переборщил... — сказала она недовольным голосом. — Как дитя малое. Лучше бы себе глотку заклеил, меньше бы отравы проходило...» И, хлопнув дверью, она ушла в комнату. Рябов принял из рук майора граненый стакан с водкой, зачем-то обернулся, посмотрев в темный сад, и, не дожидаясь остальных, залпом выпил. «Будете полуночничать?» — спросил он незнакомым Марку голосом и, хлопнув Гольца по плечу, захрустел гравием в обход дома, к своей комнате. Борис Николаевич и Гольц все еще беззвучно давились смехом. Майор оттирал слезы рукавом рубахи. Лицо его было багровым. «Слушай, химик, а Рябов, по-твоему, не еврей? С таким-то рубильником, как у него?..» И, взяв короткий аккорд, майор, оскалась на Гольца, запел свою любимую: «Говорят, что главный жид в мавзолее том лежит! Евреи, евреи, кругом одни евреи...» «Мавр, — повернулся он к Марку, — ты у нас пятьдесят на пятьдесят, полтинник! Ну-ка, давай раздави стопаря! — Он плеснул в эмалированную кружку водки. — Посмотрим, в какую половину она у тебя просочится...» Мать, вернувшись с чайником, бросилась к столу, расплескивая кипяток. «Ай! — подпрыгнул на табурете Гольц. — Вы меня ошпарили, Софочка!» — «Ты что, Борис, — кричала мать, — с ума сошел? Парню четырнадцать лет, а ты его к водке приучаешь!» Глаза майора,

когда он повернулся к матери, были налиты кровью, рот скошен. «Именно,— медленно процедил он.— Ты его все еще за детский сад держишь? Ох, и удивит он тебя однажды... До чего же бабы слепы,— перевел он взгляд на Гольца,— без тумана в башке им не прожить; это у них вечный климат... Давай, Мавр, за общих знакомых...» Марк посмотрел прямо в глаза майора, но взгляда не выдержал и, опустив глаза, поднял кружку и, лязгая о металл зубами, быстро, как Рябов, опрокинул. Водка не проглотилась сразу, а тепло разлилась во рту. Он сделал несколько судорожных движений горлом, слезы выступили из-под ресниц, жидкое тепло потекло вниз, и в голове вспыхнуло. «Давай-давай, закусывай,— пододвигал обмякшему Марку тарелку с жирной колбасой Борис Николаевич.— Врежь по дефициту...» Марку вдруг стало безумно смешно — вытаращенные глаза Гольца за толстыми стеклами круглых очков плавали как две креветки. «Марк! — услышал он голос матери. Она смотрела на него через стол не отрываясь.— Давай-ка спать...» Марк взял кусок колбасы и, продолжая смеяться, протянул майору кружку. Жирная колбаса была вкусна до чертиков. «Силен! — сказал майор.— Наша русская половина в тебе перевешивает. Давай, наваливайся!» И он подвинул ему сковородку с остывшей картошкой, политой сметаной. В протянутую кружку, сбросив с плеча руку матери, он плеснул водки, плеснул себе и Гольцу и поднял свой стакан на уровень глаз. «За мир во всем мире!» — прохрипел он и выпил. Марк вдруг был зверски голоден. Он ел картошку, посыпая ее укропом, отламывая от буханки корки черного, тмином пахнущего хлеба. Когда мать, вздохнув, вышла в сад, майор плеснул ему водки в третий раз. «Спишь?» — хлопнул он вдруг по плечу Гольца. Гольц вздрогнул и чуть не свалился с табурета. «Пора в объятия Морфея», — сказал он. «С Морфеем одни лишь педерасты спят,— хмыкнул майор.— Чего ты себе телку не заведешь? В поселке этого товара хоть этой самой ешь...» Гольц сделал кислое лицо, встал, пошатнувшись, и попытался щелкнуть каблуками. «Местные дамы,— сказал он,—



стоцентное бактериологическое оружие. Так что — мерси...— Он чуть не упал, спускаясь по ступенькам.— Наше вам, Софочка!..— крикнул он в сад.— Спокойной ночи...» Марк допил водку, она прошла на этот раз без запинки, и, сбив в сторону неуклюжим движением абажур, попытался поймать лохматую мучнистую ночницу. «Закуску ловишь? — спросил майор и, понизив голос, придвинулся: — Пионеркам пистоны ставим?» — «Комсомолкам!» — рявкнул Марк. «Тише ты!» — сказал майор. «А чего тише? — Марк почти кричал.— Мать, что ль, услышит? Узнает, что ты...» Договорить Марк не успел — тысячи звезд вспыхнули у него в голове, майор ударил его плоско тыльной стороной руки. Мать поднималась по ступенькам террасы, ослепшими после темноты глазами вглядываясь и все еще не понимая. Марк проглотил тугой комок, разраставшийся в горле, и, достав бутылку, сам плеснул себе в кружку. Он выпил залпом и, сбив с бахромы ночницу, поймал ее, но не в кулак, а меж пальцев. Глядя прямо в глаза майора, он отправил ночницу в рот и сжал челюсти. Через секунду он уже летел со ступеней в сад, сотрясаемый рвотой.

Окно у Рябова слабо светилось. Наверное, он читал, поставив на стул, рядом с раскладушкой, настольную лампу. Марк лежал под вишнями на старом надувном матрасе. Поверх матраса было постелено лоскутное татарское одеяло и старый солдатский бушлат. Сквозь черные растопыренные ветви Млечный Путь стекал вниз на низкие крыши поселка. Антарес стоял неподвижно над темным силуэтом дальнего холма. Наконец окно Рябова погасло, и Марк встал — его круто шатнуло, желудок скорчился еще раз, но внутри было пусто и холодно. Прихватив банку с водой и книгу, он осторожно поднялся по лестнице. На последней ступеньке он остановился. Звезды были совсем рядом: над крышами, над степью, над холмами, над недалеким морем. Он открыл дверь и, стараясь не скрипеть, прошел к себе. Он ненавидел этот час, когда мать и Борис

Николаевич оставались одни в большой комнате внизу. Он слышал голос матери, чем-то недовольный, затем наступала тишина, и в ней нарастал, становясь все отчетливей, механический скрип кровати. Он слышал голос матери, словно ей было больно, словно ей делали операцию без наркоза или как если бы она была в бреду. Он помнил, как она однажды металась и скулила в бреду — у нее был рецидив малярии. Но самым ужасным было то, что мать стонала там внизу на фоне этого механического скрипа, который учащался, переходил в галоп, и вдруг, с переменной в голосе матери — она всхлипывала, словно освобождаясь от боли, — все замирало. Чуть позже всплывал смешок майора, шлепанье босых ног к окну, чирканье сырой спички о коробок. После этого Марк обычно засыпал.

Не зажигая огня, Марк попытался привести в порядок постель. Простыни были сбиты к стене, подушка была на полу. Слабый запах Лариной кожи и простокваши перебивал другой, густой и неизвестный запах. Марк лег лицом вниз, но тут же перевернулся. Горячо пел в темноте комар. Внизу вдруг что-то ухнуло, и протяжно застонала мать. По спине Марка промчались мурашки. Он зарылся под подушку с головой. Он лежал так недолго, полчаса быть может, быть может минут сорок. Наконец глухо стукнула дальняя дверь, и он выпростался из-под подушки. Это мать ушла к себе. Она всегда спала отдельно. Борис Николаевич храпел безбожно. Звезда в окне светила ярко, как луна. Марк усталился на нее, и комната перестала раскачиваться. Он лежал так, стараясь не думать ни о чем, до тех пор, пока Марс не переполз к самой раме, потерял весь блеск, отразился в противоположной створке окна — и исчез. Марк встал, натянул футболку, на цыпочках вышел на верхнюю площадку. Было слышно, как накатывается море на берег, как звенят уже редкие в этот час цикады в степи. Он спустился вниз, внимательно глядя под ноги, добрался до террасы. Тюбик клея лежал под грязной салфеткой. Он осторожно приоткрыл дверь в комнаты. Дверь попыталась завизжать — он распахнул ее резким движением — раз-

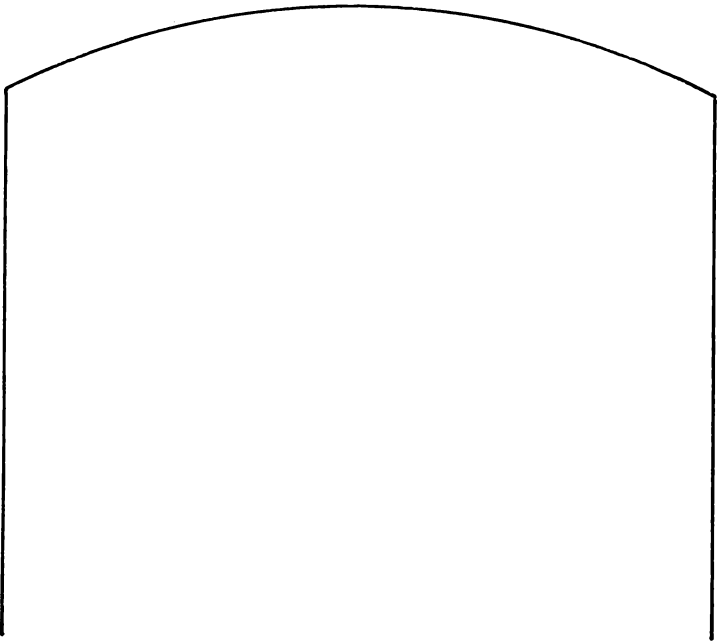
дался лишь короткий сухой звук. Дверь в большую комнату была открыта. Ступая бесшумно по вытертому ковру, Марк сделал несколько шагов к кровати. Майор, лежа на спине, негромко похрапывал. Место матери было пусто, но на подушке еще была видна вмятина от ее головы. В комнате пахло сигаретным дымом, пылью и чем-то кислым. Луна вышла из-за угла и лила свой голубой свет на разбросанные вещи, на приемник, стоящий возле кровати, на саму кровать. Но лицо майора, с высоко задраннным подбородком и открытым ртом, было в тени. Из открытого рта ритмично поднималось хриплое бульканье. Марк зашел за изголовье кровати. Между металлическим изголовьем с большими шарами и стенкой было около полутора метров. Рука майора вдруг ожила, поднялась, почесала волосатую грудь и упала на одеяло. Марк, стоя в тени, не отрываясь смотрел в открытый рот майора. Золотая коронка сияла тускло, как серебряная, волосы из носа торчали коротким пучком. Чуть подрагивала верхняя губа.

Марк отвинтил крышку тюбика не глядя и, взяв его во всю длину, как ручку теннисной ракетки, поднес к лицу майора. На какое-то мгновение ему показалось, что веки майора дрогнули, но вслед за этим раздался звук, словно заводили мотоцикл. Барахлило зажигание, звук угас, заскрежетал вновь, мотоцикл наконец завелся, майор захрапел в полную мощь легких. Одним движением Марк перевернул тюбик и, стараясь попасть точно между зубов, сдавил его изо всей силы. Он не видел струи, но тюбик похудел вполовину, и тут же голова майора, метнувшись в сторону, начала подниматься. Марк, стукнув по передним зубам тюбиком, выдавил оставшееся и, вытягивая изо рта майора длинные нити, отпрянул к стене. Майор сидел теперь в подушках, вертя головой, бодая лунный воздух. Его тело было напряжено, грудь начала разрастаться, раздалось что-то вроде кашля, и он упал назад, стукнувшись о металлические прутья изголовья. Из его набухших, вывороченных губ вдруг показался, раздуваясь, упругий пузырь, открылись глаза, но их выражение было слепо, прорвался кашель, и из лопнувшего пузы-

ря темно хлынула кровь. Второй пузырь начал набухать из месива рта, дорос до грецкого ореха, из носа выбежала кровь, разделилась на два ручейка, майор вцепился руками в кровать, пытаясь приподняться, сел опять, мотая головой, шипя, запустил руку в глотку и вытащил длинные нити клея. Он начал поворачивать голову, давясь, кланяясь кому-то, сползая набок. Марк услышал глухой кишечный выстрел под одеялом. Подушка была теперь черна от крови и липла, треща, к рухнувшей на нее голове. Внутри майора булькало, словно какая-то большая машина не могла остановиться. Совсем небольшой пузырь выполз из носа, раздулся и вдруг обмяк. Борис Николаевич, таща лицом подушку, завалился набок, сползая с кровати, ноги его вытянулись, он сильно вздрогнул, и Марк услышал, как что-то чмокнуло. Рука майора, сжимавшая железную раму кровати, разжалась.

Марк вышел на террасу. Лунный свет мертво лежал на виноградных листьях. Он стянул с веревки влажное полотенце, перекинул через плечо и вышел в переулок. Поселок спал, спали собаки, зарывшись в теплую пыль, и лишь лениво поворачивали головы, издавая глухое, на всякий случай, урчание. Галька пляжа остыла и холодила ступни. Но вода была парной и, когда он вошел в нее, нежно обняла его, обвилась вокруг коленей, бедер, мягко толкнула в пах. Он нырнул, и, когда вынырнул, живая черная вода вспыхнула под ударами его рук, засветилась, раскачивая в мелких волнах низкие звезды лета.

# Стухи





## *ИЗ РАЗНЫХ ТЕТРАДЕЙ*

А. С.

каждый вечер в полвосьмого  
Николай Васильич Гоголь  
с выражением суровым  
подступает к зеркалам

и стоит запрятав руки  
зябко в рукава халата  
то ль от скуки то ль от муки  
круглый лоб наморщив вкось

зеркало прилежно грея  
мертвым сумраком вечерним  
отражает стол и свечи  
и окно и книжный шкаф

но никак не повторяет  
в глубине зеленоватой  
напряженную фигуру  
мысли полное лицо

ни халата и ни тфель  
ни распахнутой рубахи  
на вздымающемся горле  
никого и ничего

в остальное время суток  
 Николай Васильич Гоголь  
 отражается прилежно  
 и лицом по-бабьи нежным  
 и халатом в огурцах  
 перышко грызя в сердцах

за собою это зная  
 никогда не забывает  
 Николай Васильич Гоголь  
 в полвосьмого  
 в полвосьмого  
 подойти и подглядеть

1967

\* \* \*

и старый воздух над землей  
 лежит прозрачною горой  
 и день разрублен пополам  
 на тень и свет на здесь и там  
 и ты из зеркала зовешь  
 двойник мой ласковый как нож  
 и крылья ласточка сложив  
 поет японский взяв мотив  
 и это все лишь хрупкий миг —  
 кричал ли кто иль снился крик

1969

\* \* \*

Но есть ли смысл у слов в болтливый этот век?  
 в натуге кесаря произнести заздравный тост  
 или в чириканье сомлевшей потаскушки —  
 разинутый от пяток до макушки  
 о чем кричит с трибуны человек?



глухое сотрясение пространства  
 узор из мелковышитых люблю  
 и окаянство подзаборной речи  
 а вот еще по памяти ловлю  
 в сухой степи свистящие слова  
 гремевших исстари псалмов царя Давида  
 и муэдзин — чей вопль сладок как халва —  
 весь сморщился до брызжущего крика

но все покрыто ржой и все сожрала ржа  
 .....  
 что мне тебе сказать в обманутое ухо?  
 ты не услышишь слов моих в упор  
 созвучья реют плещут волны слуха  
 но середину слов похитил ловкий вор

а посему — кричи не докричишься  
 шепчи сухую залатав гортань —  
 в словах парчовых нежная истлела ткань  
 и набухает горькое молчанье  
 и ты к нему со всеми вместе мчишься

1972

\* \* \*

раздевается город пора умирать тополям  
 опустело окно и засыпало с верхом скамейку  
 небо снова расчерчено косо в линейку  
 до зимы далеко и в природе пока по нулям

сыро пахнет земля разбегаются листья в испуге  
 то ли ветер тоскует а может быть просто пора  
 окна мыть и заклеивать кроме фрамуги —  
 чтобы детские крики зимою неслись со двора

тихо ходит старик натыкая на гвоздик окурки  
 тихо ходят часы полумертвая бьется пчела  
 тихо женщина в зеркало смотрит забыв про дела  
 в сквере дети играют в старинные жмурки

вечереет горчит тяжелеющий воздух  
как всегда под завязку далекий оркестр кружит:  
то ли Глюк то ли Брамс то ли прошлого отзвук  
и по-зимнему ярко звезда над Москвою горит

1972

\* \* \*

ветер гонит сухую пыль  
вдоль безликих белых домов  
за последним растет полынь  
подорожник чертополох

на веревке бьется белье  
в луже плавает детский мяч  
по скамейкам сидит жулье —  
карты плечи да спотыкач

с окружной кричит товарняк  
и идут облака стороной  
ни шлагбаумов ни гуляк —  
вяло виснет выцветший флаг  
баба дряхлой трясет головой

1973

\* \* \*

в чет и нечет сыграем судьба в чет и нечет  
в темноте под деревьями пьяная девка хохочет  
вот такая сивилла за медный пятак напророчит  
за двугривенный жарко и стыдно залечит

напророчит пустую квартиру и день безымянный  
оловянную тупость и облако в тихом окне  
напророчит словами текучими словно во сне  
полдень бледный и ветер обманный

что ж поди я и сам уж давно догадался  
 что пора перепутать квартиру столицу и век  
 что когда-нибудь скучный как смерть человек  
 тихим голосом скажет чтоб я собирался

до зевоты знакомая новость гадай не гадай —  
 все расписано в лицах пророчь не пророчь —  
не прибавишь
 в чет и нечет лукавством ребячьим едва ли обманешь  
 и как Осип едва ли прошепчешь: *пусти и отдай*

1973

\* \* \*

двойное имя тает на ветру  
 случайный окрик над водой канала  
 деревья голые стоят как на смотре:  
 и холодно и сонно поутру  
 и солнца мало

в застуженном пальто уткнувшись в шаль  
 вдоль грубо нарисованной решетки  
 бредет гетера с нею старый враль —  
 глаза слезятся скучно денег жаль  
 в смешке его — собачьи нотки

но воздух чист а грязная вода  
 какое ни на есть но небо повторяет  
 и там где мрачные сцепились провода  
 два ангела заплаканных всегда  
 исаакиевский светильник охраняют

1973

\* \* \*

чернильную не в силах процарапать мглу  
 плывет светляк велосипеда  
 дождь начался после обеда  
 дней семь назад — устроил нам тюрьму

провинциальная черна и вязка мгла  
шагнул и нет тебя пиши пропало!  
как в детстве — с головой под одеяло  
вот только два куста бегом из-за угла

вот только радио вдогонку причитает  
да тщится трель пустить скворец —  
но за калиткою всему и всем конец  
и как любовница холодный дождь кусает

сирень набрякшая и море вдалеке  
выходит что опять дана отсрочка  
и то что было несомненной точкой —  
лишь сигарета в мокром кулаке

1973

\* \* \*

что мне твой мелкотравчатый упрек  
когда как кость торчу я поперек  
разинутого горла государства  
и сумерки и бедность и коварство  
опричников — мне право впрок

не мудрствуй лукаво не мудри  
но равнодушно зри как январи  
обвешенные пьяным людом  
за годом год как грязную посуду  
сдают поштучно за потертые рубли —

эпохи целые так разгребают место  
суду последнему где всем нам будет тесно  
на переключке мертвецов  
вот где источник страха — прах отцов  
душа дрожит пред тем что неизвестно

страстей земных некрепкая водица  
 сладка но тошно в ней топиться  
 так поспеши покуда время есть  
 безумный мир хоть по складам прочесть  
 и самому себе уже не сниться

1974

\* \* \*

застенчивый нахал на горло взявший мир  
 кумир ленивой крови генеральских  
 распухших дочек вкрадчивый вампир  
 внимания извне и маломальских  
 простудных сквознячков ума —  
 усвоив опыт галльский  
 Бретона — все же дважды два  
 затверженное в Харькове однажды  
 спасает ли на 23-й стрит от жажды?

вода открытая для пения на кухне  
 течет пока мы в зеркале стареем  
 пока мы пьем и с перепоею пухнем  
 и у сосцов волчицы млеем  
 вода поет свиваясь серебром  
 пока мы жирным дымом тлеем

но ты-то? ты! жить отказавшись в паутине  
 российских дрызг — в какой ты грязнешь тине  
 кому грозишь обломанным веслом?

1974

\* \* \*

есть в воздухе растерянном подтеки  
 и белой ниткой сшит некрепкий мир  
 просвечивает дом — видны поляны  
 и девочка казнит пищащие цветы

лишь стоит отвернуться на мгновенье —  
 коты клубятся и вода бузит  
 кусты жасмина сладко строят рожи  
 скворец с газеты склевывает шрифт

и ты растешь на дрожжах удивленья  
 мелькаешь платьем пенистым в саду  
 то за спиной стоишь и детское дыханье  
 мне волосы бессонниц шевелит

1975

\* \* \*

зима империя замшелый чернокнижник  
 зовет на чашку чая красная  
 сошлись и в жаркой тусклой кухне  
 пьют водку за окном текут снега  
 льют струи снега дом трясет подземка  
 в шесть рук жестикулирует рассказчик  
 а чернокнижник мочит ус в стакане  
 народонаселение справляет  
 пред синими экранами вечерю  
 кресты антенн поставив крест на прошлом  
 плывут над православными церквами

зима метель окончен разговор  
 допита водка между фонарями  
 к метро крадется пьяный краснойбай  
 а чернокнижник фолиант открыв  
 в девятый раз впустую тянет строчку —  
 слова звучат но смысл отсутствует  
 в окне бежать пытаются раздетые кусты  
 часы за сутки накопив терпенья  
 теперь когда пора бы спать  
 двенадцать пушечных отвесили поклонов  
 и чернокнижник оскользнувшись умом  
 попал в колени Богу и молчит  
 и терпит ужас

1975?

\* \* \*

не мы подводим времени черту  
сама черта как уровень ненастья  
нас гонит прочь от набережных — счастье  
что старый город жив с цветком во рту

бубни урок переводы часы  
в столетье времени осталось на затяжку  
чем день длинней — тем небо нараспашку  
простреленное пулею осы —

лень продолжать затылок и плечо  
нагреты солнцем черный рант ботинка  
от городского рыжего суглинка  
пожух у баб там горячо

помилуй нас: растратить столько лет  
чтобы на выходе так честно растеряться?  
канал колонны сухоньякая пьязца  
каракули о том что на обед

есть воля к жизни воля к смерти есть  
открытие заслуживает порки  
два воробья вокруг размокшей корки  
вопят и ссорятся и как ни глянь но несть

зацепки глазу — словно все ползет:  
от зыбкого размытого пейзажа  
до слова Я такая вышла лажа  
почтарь плетется шавка кость грызет  
1981

### *Тема без вариаций*

Утро. Замшелый Париж, натянув одеяло до игл соборов,  
Дрыхнет клошаром Европы после удачных сборов  
Мелких денег на литр вина. Громоздкая тишина,  
Набитая, словно чучело, тряпьем дешевейших звуков,  
По осипшим кафе рассадивши любовью измученных  
внуков

Эпохи, оседает сама с последним приглушенным стоном.  
 Буддистский монах, крепко сбитый и чисто одетый,  
 бормочет: ОУМ...

И по вздутой вене реки, пуская ей кровь рассвета,  
 Приползает баржа из старого фильма Карне, и эта  
 Часть Парижа, часть жизни иль как там еще зовется,  
 Будучи вне меня, настойчиво бьется  
 В клетке ребер. Добыча, как думают, беса.  
 Я бреду восвояси под каменным сводом

парижского леса:

Мимо лавок разделщиков мяса, где кровь как водица  
 Желобами стекает к жлобам на улицу; там, где птица  
 Раздевается не перед смертью — кому охота,— а после  
 смерти.

Здесь становится ясно, чем был занят Господь после  
 создания тверди.

Вся фламандская живопись — от перламутра

розовых жабер

До лоснящихся туш, изумрудных мух и того, что Фабер  
 И сам Брем описать не успели,— разлеглась

на прилавках,

Присыпанных колотым льдом и траурной хвоей.

Детвора, переспав, как всегда безвинно, с Оле Лукойе,  
 Натекает уже переулками к скучнейшим

казармам лицеев.

Шлюхи утром на Сен-Дени и дешевле, и с виду добрее.

И пока кукушка часов неизвестно кому и откуда кукует.

В витрину уставясь, ажан в пелерине бубнит, что власть  
 существует

И после выборов. Ключья тумана. Собачье дерьмо.

Моча подворотен.

Грохот тележки развозчика хлеба и несколько сотен  
 Лотерейных билетов, уносящихся вдаль от дверей

ресторана.

Солнце бьет теперь косо, и застарелая рана

Парижа — гной и лимфа, разверстое мясо и белая пыль  
 стрептоцида,—

Подсыхая от снов, дыша, уверяет, что бита

Карта ночи, крапленная сыпью созвездий.



\* \* \*

Прыщавый флейтист со старой каргою плетется.  
 У входа в метро в пиджачных объятиях бьется  
 Изможденная простеньким счастьем девица.  
 И сливаются в целое, но не читаются лица.  
 И как горло паломы, гулит воронка подземки.  
 Попрошайка в одежде из ящичков вылупил зенки,  
 Собирая на жизнь. И в кошачьей походке  
 Проплывает хребет пресыщенной жизнью красотки.

1981

\* \* \*

Нога в лиловом чулке выползает из двери лимузина.  
 Из всех тираний лишь одна, по имени Мнемозина,  
 Способна затискать душу, защекотать до смерти.

Земля — сумма трав и птиц, хляби сумма и тверди —  
 На партийной стоит черепахе и полицейских слонах.

Время теряет тот, кто не живет во снах.

За ногой выползает вторая и шелковый кокон юбки.  
 Продавец воздушных шаров, искры пуская из трубки,  
 Снимает шляпу: Дождь, мадам... Европа, которую бык...  
 Домчал до Ла-Манша... «Роллс» выпускает рык  
 Трубы Майлса Девиса. Меломанша уже показалась вся.  
 Плечи укутаны мехом. Давится в пустоту округлым  
 сиротским смехом.

Пробует на плече тугой чулок перчатки:  
 «Наша любовь преступленье... И оставлять отпечатки...»  
 Собака, задрав лапу, поливает спицы мочою.  
 Официант выплывает из мглы с желто горящей свечою:  
 «В проводах кончился ток — подвох филиппинца  
 с кухни».

Но через пять минут брюхо «Свиньи» набухнет  
 Светом цвета «Клико». Уводит их под опекой свечки.

Память танцует как хочет, а совсем не от печки.

В несущейся электричке старик, воспрянув от спячки,  
Ищет очки или спички. Хипарь ищет заначки  
Чинарик в карманах солдатской куртки.

Почем нынче трава? Не трава нас дурачит, а турки,  
Продающие нам траву и выжимки первых маков.

Электричка несется вспять — из Сен-Клу

в Салтыковку, — мраком

Одетая как плащом. Старик, уткнувшись носом в газету,  
Спать продолжает. Вагон — всем хребтом — въезжает

в все ту же Лету.

В сентябре, в пятом часу пополудни, у решетки

Люксембургского сада

Хорошо сидеть, попивая кальва, глядя, как сада ограда  
Меняет золото на тусклую медь. В итоге приходишь

к мысли,

Что жизнь — это место, где вовсе не к месту скисли

Лучшие годы. Но кто сверху капнул лимоном —

Так же трудно узнать, как вернуться в лоно

Женщины, хоть мы и вбиваем себя с разновеликой силой

Обратно туда под мантрам, под заклинанье: «Милый,  
Наша любовь преступленье, и наказанье грянет...»

Кончив, она смеется, плачет и быстро вянет.

Каштаны давно пожухли. Сиречь мы въезжаем в осень.

Меж облаков рисует рекламную цифру восемь

Игла самолета. И то, что зовут на востоке судьбою,

Уныло визжит неизвестно откуда ржавой резьбою.

1981

\* \* \*

я не знаю как тебя называть — дорогая?

слово в котором дорога нагая

как ты знаешь сама — не ведет никуда

любовь умещается в тихом «да»

в согласье ведущем к клетоту гласных

и ты и .я перепробовав разных

сладчайших врагов на измятом ложе  
 можем сказать что дальше кожи  
 увы никто не может проникнуть  
 иная просто не в силах пикнуть  
 соскальзывая туда куда соскользнуть не может  
 иной живет отсутствием кожи  
 не в смысле голых вопящих нервов  
 а тем что вовсе не знает — во-первых  
 смысла ладони крадущейся слепо  
 от колена к плечу создавая слепок  
 ожога озноба короче — боли  
 во-вторых — не труднее хлопка и моли  
 добывание ртути летящей к затылку  
 для мужлана иным заменяет прививку  
 сие против парчовой патины жизни

но для тех для кого любить как в отчизне  
 жить тем для кого отрада  
 умение выжать до капли яда  
 все сто раз убитое тело  
 тому право какое дело  
 до облаченья в рубаху слова  
 географии впадин того что готово  
 разорвать наконец мысль о мысли

для таких двоих что всерьез повисли  
 между снов дневных и полночных снов —  
 вещи приходят еще до слов

и рука измученная лепкой груди  
 не удержит стакана вина и будет  
 медленно словно все снято рапидом  
 струя бордо завиваясь с видом  
 смерча падающего назад в пустыню  
 опускаться во взмокшую свалку простыней

и плечо колена и рана лона  
 назовут се никак как во время оно

простить — простит но вот сойдет с ума  
с которого давно сойти охота  
с которого давно б сошла сама  
да подвернулся друг с которым плохо

с которым поначалу так взвилась  
что думала судьбою послан в милость  
с которым до себя же дорвалась  
самой с которым снов не снилось

с которым кончено который — сукин сын  
из-за которого конечно же не стоит  
который сам и может лишь один  
который воз девиц себе нарое...

и прочее по нотам наобум  
сморкаясь в телефон всерьез икая  
в ушах с усмешкой замечая шум  
пинк-флойдовский таблетки разбирая

на полке в ванной представляя как  
он будет здесь — когда совсем уж поздно —  
вжиматься мордою в растерзанный бардак  
белья прокисшего не веря что серьезно...

я перепутал роли: пьет и ест  
как будто мы обречены на вечность  
как будто нам в ковчеге хватит мест  
как будто страх и есть сама беспечность

бретелька сбилась нос напудрен так  
что... впрочем, что я? не простит? не надо!  
сойдет с ума? куда ж сойти, чужак!  
взойдет назад... напрасная досада!

река — не правда ль — вечером лежит  
из города каким-то новым боком?  
вина, мой друг? вино, мой друг, горчит...  
но бьет в упор все тем же алым током

*Из окна*

время платить по счетам а не сводить счета  
 вой горластых машин соседней пожарной роты  
 за сутки июльской жары доводит до рвоты  
 но распорки жары держат оконные рты

продащица лотерейных билетов в фанерной будке  
 торчит весь день городской незабудкой  
 гремя в колокольчик терзая и вправду жуткий  
 разорванный воздух шаткой бредет походкой

хмырь с кокоткой — единственной в переулке  
 тянет сгоревшей в тостере булкой  
 визжит мотопед расшатанной втулкой  
 бледные дети гоняют в салки

жизнь продолжается как по ошибке невежи  
 ветер измят и издерган а только что свежим  
 ворвался в город различного сорта нежить  
 скучает у трубочиста запасы сажи

спаржи связку тащит с рынка старуха  
 бьется в припадке счастья на персике муха  
 и кровоточит забитое воплями ухо  
 ставшее эпицентром к вечеру страха

плаху свою отмывает мясник от крови  
 младенец бузит и брыкается в жаркой утробе  
 обложка журнала изображает брови  
 «брови мира» — как написано ниже

время платить по счетам и уносить ноги  
 стыд завернув в срам смыться не зная дороги  
 бритый буддистский монах в рыжей холщовой тоге  
 садясь в «мерседес» достает курс биржи  
 на синей бумаге

## ИЗ «ПОСЛАНИЙ НА БЕРЕГ ГУДЗОНА»

осенний полдень на берегах Коцита  
вода чернее чем антрацита  
блеск лениво полощет изнанку неба  
бродяга делит остатки хлеба  
с вислоухим псом не пьющим — увы — фалерно  
бродяга трубит в бутыль отпивая наверно  
чуть больше того что вмещено в бутылки  
на расстоянье одной расплывшейся мили  
знаменитый собор впился иглами в мякоть  
грубо подкрашенной вечности —  
мысль от которой слякоть  
выступает в подгнивших глазницах клошара

корзина раздувшего щеки воздушного шара  
из королевских садов взмывает под крики народа  
уродка держась за плечи уroda  
уменьшается до размера слезы застилающей зренья  
колокол Сен-Сюльпис теряя терпенье  
охает голуби смех скончавшийся лист платана  
плывущая прочь из города пачка «житана»  
воздух первых календ ноября когда сонные осы  
слепо втыкаются в окна когда вопросы  
оппадают как листья платана на рыжий песчаник корта  
обнажая суть дела суть тела когда аорта  
корчится от перебоев когда над волной Коцита  
стоя — не веришь что все-таки бита  
лучшая карта каких-то там дней что держал в заначке

в свете тьмы этих мыслей город в виде подачки  
последней — тогда вылупляется из тумана

огрызок сигары достав из кармана  
и Прометеем огня заняв у бродяги  
уходишь туда где плещутся флаги  
спасательной станции имени Лорелен  
чувствуя слишком голым то место что шейей  
зовется и что соединяет дыханьем  
на подпорках надежд живущее зданье

тела с мозолью мозгов заметив на яхте блондинку  
 глазаешь под ту же судьбы сурдинку  
 на процесс поливанья цветов  
 отпечаток ее лица на зрачке готов  
 вместе с тобою протиснуться в вечность  
 воровство да и только! оно же — беспечность  
 как и осенний полдень на берегах Коцита  
 переизбыток в крови лейкоцита  
 воспаленные мысли рождают в итоге горячку  
 аминь точка съезжаем в зимнюю спячку

1982

### ИЗ «СЕНЕГАЛЬСКОЙ ТЕТРАДИ»

пустырь что напротив затопленной солнцем виллы  
 засеян ржавым железом и ржавой травой в полсилы  
 с террасы звучит «Кёльнский концерт» Кит Джарретта  
 Valley of Shitters зовется пустырь и это  
 орлу сидящему на макушке катальпы вестимо  
 ибо если не научиться пляиться мимо  
 видишь орлами сидящих хозяин в шезлонге лежа  
 сам с собой рассуждает о шелковистости кожи  
 местных двуногих противопо-ложного пола слуги  
 чистят бассейн кошка оскалась в испуге  
 уставилась на змею обвившую ветвь бугенвиллеи

все глушит «конкорд» клювом глядящий в Бразилию

Африка время года долженствующее быть зимою  
 час сиесты в волнах жаркого зноя  
 жена хозяина в одной из просторных спален  
 мычит в подушку поспешно свален  
 на пол ворох поспешно снятой одежды  
 друг дома — уместно сказать — устроился между  
 разведенных ног неразведенной супруги —  
 застарелая новость в издохшей от скуки округе  
 свежая лишь для неревнивого — вслух утверждается —  
 мужа

«сумма объятий дает всего лишь навсего лужу  
океан называют здесь — настойчиво — море  
рыбы столько что можно прожить без горя  
в толпе лиловых лиц плечи блондинки  
выглядят как дешевый трюк рекламной картинки»

ход мысли если мыслимо ходом  
называть то что скорее кодом  
смотрится подзывая пальцем боя  
он заказывает еще — не забудь — сухое  
мартини естественно что с — маслиной

окрестность— забавное место если с хорошей миной  
при самой плохой игре наблюдать с террасы  
как представители навсегда засвеченной расы  
делают то же самое что жена и ближайший друг  
с поправкой конечно на —

не паралакс а мук  
моральных пропуск выраженных в третьем глухое дело  
лице  
ухо сверлит полет мухи — как бишь? — цеце

деликатнейший всхлип означает перемирие но не мир  
жизнь представляется как провинциальный тир  
где горячий от счастья свинец — попав в молоко  
ранит не вечность — картон — неправильной буквой О



## СОДЕРЖАНИЕ

<i>От издательства</i> .....	5
<i>От автора</i> .....	6
НИОТКУДА С ЛЮБОВЬЮ. Роман .....	9
ВАЛЬС ДЛЯ К. Повесть .....	269
РАССКАЗЫ	
Западный берег Коцита .....	309
Музыка в таблетках .....	322
Петр Грозный .....	330
Лора .....	343
Бодлер, стр. 31 .....	356
Низкие звезды лета .....	379
СТИХИ .....	395

**Дмитрий Петрович Савицкий**

**НИОТКУДА С ЛЮБОВЬЮ**

**ИБ № 5599**

Редактор русского текста Н. Матяш  
Художник Э. Зарянский  
Художественный редактор С. Барабаш  
Технический редактор И. Дергунова  
Корректоры В. Пестова, Н. Лукахина

Подписано в печать 15.08.90. Формат 84x108/32. Бумага офсетная.  
Гарнитура баскервиль. Печать офсетная. Усл.печ.л. 21,84.  
Усл.кр.-отт. 22,36. Уч.-изд.л. 19,19. Тираж 100000 экз. Заказ № 565  
Цена 3 р. Изд. № 7329

Издательство "Радуга" В/О Совэксспорткнига Государственного  
комитета СССР по печати.  
119859, Москва, ГСП-3, Зубовский бульвар, 17

Отпечатано с готовых пленок ордена Ленина и ордена Октябрьской  
Революции типографии имени В.И. Ленина издательства ЦК КПСС  
"Правда", 125865, ГСП, Москва, А-137, ул. Правды, 24  
на Можайском полиграфкомбинате В/О Совэксспорткнига  
Государственного комитета СССР по печати.  
143200, Можайск, ул. Мира, 93



# РУССКОЕ ЗАРУБЕЖЬЕ



# РУССКОЕ ЗАРУБЕЖЬЕ

Дмитрий Савицкий (1944, Москва) до отъезда на Запад работал токарем, рабочим сцены в "Современнике", грузчиком, ночным экспедитором, красил заборы и крыши, показывал детям и пенсионерам кино, отслужил три года армии в Сибири, вел четвертую полосу в московской многотиражке, работал внештатником на радио и телевидении... Был исключен с четвертого курса Литературного института за повесть об армейской жизни. С 1978 года живет во Франции, где выпустил четыре книги: "Раздвоенные люди" (1979), "Антигид по Москве" (1980), "Ниоткуда с любовью" (1982), "Вальс для К." (1985). Переведен и издан в США, Англии и Италии. Пишет для французских журналов; печатается в зарубежной русскоязычной прессе.

# РУССКОЕ ЗАРУБЕЖЬЕ